

**Т.П.Савченкова**

**Ишим  
и литература**

□□□ XIX-□

**Ишим  
2004**

УДК 82.09: 908 (571.12)  
ББК 83.3 (253.3) 5  
С 137

*Приношу искреннюю благодарность за финансовую поддержку в издании книги депутату Тюменской областной Думы, мэру г.Ишима Виктору Александровичу Рейну.*

Савченкова Т.П. Ишим и литература. Век XIX-й. Очерки по литературному краеведению и тексты-раритеты. Ишим: Издательство Ишимского государственного института им. П.П. Ершова, 2004, 312 с.

*В этой книге, составленной из очерков и художественных текстов, рассматривается роль Ишима и Ишимского округа в жизни и творческом сознании писателей XIX века. Издание иллюстрировано рисунками, фотографиями из архивов и фондов редкой книги и рассчитано на читателей, интересующихся литературной историей края.*

Рецензенты: профессор ИГПИ им П.П. Ершова **М.Ф. Калинина**;  
старший научный сотрудник Ишимского краеведческого музея **Н.Л. Проскурякова**.

! Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова  
! Савченкова Т.П., 2004.

ISBN 5-700142-47-7

Администрация г.Ишима  
Ишимский краеведческий музей  
Ишимский государственный педагогический институт  
им.П.П.Ершова

Библиотека альманаха  
"Коркина слобода"

**Т.П.Савченкова**

## **Ишим и литература. Век XIX-й**

*Очерки по литературному краеведению  
и тексты-раритеты*



**Ишим  
2004**



*Светлой памяти  
моего мужа Леонида Фролова,  
ишимского врача и краеведа,  
посвящаю*

## От автора

В литературной истории Ишима, начинающейся с первых десятилетий XIX века, есть немало интересных страниц. С этим небольшим городом, бывшей Коркиной слободой, основанной еще в XVII столетии на юге Западной Сибири, оказались связаны судьбы многих писателей. Одни из них жили в Ишиме достаточно долго, другие проезжали через него, а третьи узнавали о нем из кратких газетных и журнальных заметок. Но благодаря их творческим усилиям образ города навсегда запечатлелся в словесном искусстве.

Ишим вдохновлял писателей на создание значительных в эстетическом отношении произведений разных видов и жанров. Некоторые из них, не переиздаваясь по разным причинам долгие годы, стали библиографическими раритетами. Теперь же, впервые сведенные в данной книге в единый ряд, они дают возможность увидеть общую основу художественного образа Ишима и Ишимского края, в котором совместились черты севера и юга, Европы и Азии, угрюмого глухого места ссылки и бескрайнего вольного мира степей.

Многолетние поиски в архивохранилищах и фондах редкой книги Москвы, Санкт-Петербурга, Тобольска, Омска, Тюмени, а также переписка с зарубежными и отечественными историками литературы позволили выявить новые и малоизвестные факты в биографиях писателей, имевших отношение к Ишиму. И сейчас читатели этого издания могут узнать о том, как строил храм автор «Конька-горбунка», как стала героиней романов, повестей, пьес сибирячка Прасковья Луполова, каким представляла себе Ишимский край французская романистка М.-С.Коттен, при каких обстоятельствах польский поэт Адам Мицкевич рассматривал план города Ишима, а американец Д.Кеннан увидел крестный ход на сибирском тракте, у

кого останавливался А.П. Чехов, следовавший на Сахалин, и многое другое.

Наряду с очерками и текстами книга включает также разнообразные фотоматериалы. Среди них особое место занимают виды Ишима XIX – начала XX веков и современные фотоснимки, представляющие те уголки города и его окрестностей, которые были отражены в литературных произведениях.

*Автор благодарит за помощь в подготовке книги председателя комитета по культуре Нину Петровну Кузовкову, директора музея литературы им. Адама Мицкевича в Варшаве Януша Одровонж-Пененжска, преподавателя польского языка Дороту Кузавиньску (Бяла-Подляска), директора Ишимского архива Надежду Николаевну Шпилевскую, краеведов Федора Максимовича Пашкова (Москва), Геннадия Андреевича Крамора, Лидию Александровну Сарафанникову и свою маму – Варвару Фирсовну Савченкову, славную представительницу старинных сибирских семейств Каргополовых-Сысолятиных*

*Особую благодарность автор выражает коллективу филиала "Ишимская типография" ГУП ТО "Тюменский издательский дом", осуществившему выпуск книги.*

□□□□□□□□ □□□□□□□□

□ □□□□□□□□□□□□□□□□

□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

Ишим вошел в историю литературы прежде всего благодаря Прасковье Григорьевне Луполовой, известной всей России и Европе под именем Параша Сибирячки. Ее простая, но исполненная высокого нравственного смысла судьба в первой половине XIX столетия получила отражение в романе, повести, драме, оперных либретто, а во второй половине XIX века стала достоянием издателей «лубочных» или «народных» книг.

Биография девушки, явившейся прообразом героинь многочисленных беллетристических произведений, в самых главных ее моментах была запечатлена в журналах и газетах начала века еще при жизни П.Луполовой во многом на основе ее собственных рассказов. В заметках и статьях «Северного вестника»<sup>1</sup>, «Друга просвещения»<sup>2</sup>, «Сионского вестника»<sup>3</sup>, «Московских ведомостей»<sup>4</sup> сообщались следующие сведения: П.Луполова родилась в Елисаветграде (ныне Кировоград, Украина) в 1784 году. Ее отец, отставной прапорщик Григорий (отчество неизвестно) Луполов служил в Венгерском и Черном гусарских полках, затем с русской армией участвовал в нескольких турецких кампаниях, был при взятии Измаила и Очакова. «По несчастию» оказался в ссылке в Сибири. Его жена и дочь последовали за ним.

В Сибири Парашу не оставляла мысль об освобождении отца. Она долго умоляла родителей отпустить ее в Петербург к царю. И, добившись благословения, отправилась 8 сентября 1803 года, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, в далекий и опасный путь с одним рублем и образом Божией Матери. От Ишима до Камышлова она шла пешком, испытывая страх, голод, холод, и обогрива-



*Богоявленский собор  
XVIII-го века в Ишиме.*

лась словами: «Жив Бог, жива душа моя». От Камышлова до Екатеринбурга ехала на подводах. В Екатеринбурге была принята «доброй барыней» Татьяной Дмитриевной Метлиной и ее подругой Агафьей Федоровной Горбуновой, у которых прожила до весны, обучаясь грамоте.

В дальнейшем она плыла водою на барках до Вятки, шла пешком до Казани, останавливалась на месяц в Крестовоздвиженском монастыре Нижнего Новгорода, игуменьей которого была в то время Дорофея Михайловна Новикова, провела две недели в Москве у госпожи Стрекаловой и в 1804-м, 5 августа, накануне праздника Преображения Господня, пробыв в дороге почти год, достигла Санкт-Петербурга. Там в ее судьбе приняли участие княгиня Дарья Александровна Трубецкая, Авдотья Ивановна Голицына, Татьяна Васильевна Юсупова, Екатерина Ивановна Вадковская. Она была представлена императрице Марии Федоровне, матери Александра I, и супруге царя – Елизавете Алексеевне.

Царь поручил рассмотреть дело отца Прасковьи сенатору Осипу Петровичу Козодавлеву, назначенному им незадолго до этого членом комиссии по пересмотру прежних уголовных дел. В итоге отец Прасковьи получил возможность вернуться из мест поселения «на прежнее жилище», но без возвращения ему чинов и дворянства. Об этом постановлении Правительствующего Сената от 27 декабря 1804 года информировали газеты «Санкт-Петербургские ведомости» в январе следующего года. А 12 апреля 1805 года император разрешил Луполову проживать, где он хочет, кроме столиц. Покровительство императорской фамилии сделало Луполову знаменитой. Ее приглашают в богатые дома, с ней ищут встреч министры, ей посвящают вирши. Один из таких стихотворных образцов, возможно, к портрету Луполовой (в одной из газет говорилось, что «местные рафаэли» пишут ее портреты) приводится в журнале «Друг просвещения»:

Для добродетели какой прелестный вид!  
Нам сердцем дочери она в нем говорит;  
Родителей своих сраженная судьбою  
Для них решившись пожертвовать собою.

Одна из дальних стран спешила в град Петров.  
 Нежнейша дочь! Твоя увенчана любовь.  
 Тобой в преклонном веке родитель оживился  
 И нравов образец твой вид изобразился.

Но она решила посвятить себя монашеской жизни и в 1806 г. после паломничества в Киев уехала из Петербурга в Крестовоздвиженский монастырь Нижнего Новгорода. Здесь она находилась до 1809 года, а поздней осенью этого же года, уже будучи больна чахоткой, перебралась в Десятинный монастырь Новгорода, где и умерла 4 декабря 1809 года. Данное событие нашло отражение в «Северной почте или Новой Санкт-Петербургской газете» под рубрикой «Известия внутренние»: «Из Новгорода, от 14 января. В прошлом месяце скончалась здесь известная всему свету добродетелями своими девица Прасковья Луполова. Шесть лет тому назад пришла она пешком из Тобольска в Санкт-Петербург, пройдя около 4-х тысяч верст, сопровождаемая однако бедностью и состраданием человечества; пришла повергнуться к престолу Милосердного Государя <...>»<sup>5</sup>.



*Десятинный монастырь в Новгороде.  
 Фото Е. Гордюшенкова. Начало XX в.*

В некролог вкралась ошибка: вместо Ишима, откуда и отправилась в свой нелегкий путь юная сибирячка, был назван Тобольск. Эта неточность «перейдет» в «Словарь достопамятных людей русской земли» Д.Н.Бантыш-Каменского<sup>6</sup>. И даже в «Русской истории» С.Н.Глинки, написанной всего через восемь лет после смерти Луполовой, конкретное место ссылки ее отца уже не называется и речь идет только о Сибири как таковой<sup>7</sup>.

После смерти П.Луполовой ее биография стала забываться, а точнее, реальная личность оказалась «заслоненной» или даже «замещенной» литературными героинями. Впервые к судьбе сибирской девушки обратилась французская писательница Мари-

Софи Коттен (1770-1807), создавшая еще в 1806 г. роман «Елизавета, или Ссылные в Сибири». Переведенный на русский язык в 1807 г. он имел большой успех в России. В 1815 году появляется повесть еще одного французского автора – Ксавье де Местра (1760-1852). Его «Юная сибирячка» переиздавалась в русском переводе на протяжении



*Десятинный монастырь. Подцерковье собора Рождества Богородицы. Надгробная плита и картина, на которой Прасковья изображена на фоне монастыря.*

*Фото Е. Гордюшенкова. Начало XX в.*

всего XIX столетия. В 1840 году русский писатель Н.А.Полевой (1796-1846) представляет для сцены Александринского театра свою пьесу «Параша Сибирячка». Сюжет «подвиг девушки-сибирячки» будет варьироваться в литературе и театре всей Западной Европы, а история П.Луполовой домысливаться и «расцветиваться» все новыми подробностями, которые не имели места в реальности, но были значимы для развития романической и драматургической интриги. И когда в середине XIX века историки вновь обратились к личности Прасковьи Луполовой, то оказалось, что отделить «реальную» Луполову от «литературной» было уже не очень просто. Так, в 1853 году в газете «Новгородские губернские ведомости» появляется сообщение Р.Г.Игнатьева: «В Нове-городе в Десятинском девичьем монастыре в подвале под церковью Рождества Богородицы, что по здешнему называется подцерковьем, находится каменная могильная плита с надписью, что здесь погребена девица Лупалова, скончавшаяся 11 мая 1802 года, 20 лет от рождения. Елизавета Лупалова есть та самая дочь сосланного в Сибирь чиновника, которая нарочно пришла из Сибири, чтобы испросить у Государя помилования несчастливому отцу. Подвиг Лупаловой послужил впоследствии сюжетом для произведений Коттен, де Местра, Полевого, Струйского. Но почему погребена здесь в Новгороде. Передаем со слов

тех, кто еще помнит о Лупаловой. После коронации Александра I, когда ее отец был прощен, Лупалова почему-то должна была из Москвы отправиться в Санкт-Петербург. Будучи в Новгороде Лупалова пользовалась уважением настоятельницы Десятинского монастыря игумении Паллады, урожденной Бутаковой. Возвращаясь из Санкт-Петербурга, Лупалова снова гостила у игумении, но заболела и 11 мая 1802 г. скончалась.

Настоятельница и сестры монастыря пожелали, чтобы тело Лупаловой было погребено здесь в обители, но так как монастырь в черте города, кладбища нет, то, как видно из монастырских документов, было особое разрешение духовного начальства. Так девица Лупалова уже не видела родителей...»<sup>8</sup>.

Примечательно, что кроме неточно написанной фамилии и неверно указанной даты смерти, здесь фигурирует имя Елизавета. Именно так была названа героиня романа француженки М.С. Коттен, которая в одной из финальных сцен данного произведения присутствует на коронации Александра I в Москве. И в пьесе Н.А. Полевого героиня добивается прощения своему отцу в том же самом городе.

С Руфом Игнатьевым вступает в полемику историк Иван Куприянов, опубликовавший три статьи в журнале «Москвитянин»<sup>9</sup>. Он опровергает изложенные Игнатьевым сведения, обращаясь к газетам и журналам начала века, а также к документу о принятии Луполовой в монастырь, найденному им в монастырском архиве. В нем отмечено: «По данным Преосвященному Антонию Епископу Старорусскому и кавалеру Нижегородской губернии умершего отставного поручика Григория Луполова девица Прасковья Луполова и Нижегородского же архиерейского служителя Петра Павлова сына Беруина дочь девица Агриппина прошениям просили определить их в оный Десятинский Девицкий монастырь. По резолюции Его Преосвященства велено определить, буде по справкам сомнения не откроются <...> ноября 5 дня 1809 года, подлинный подписали: Амвросий, Архимандрит Антониева монастыря, губернский секретарь Журавлев, № 4700»<sup>10</sup>.

Эти публикации всколыхнули интерес к судьбе Луполовой, воспринимавшейся в России 2-й половины XIX века уже как прототип литературных героинь. Не случайно в заметке «Параша-

Сибирячка», опубликованной в журнале «Русская старина», редакция предваряет воспоминания чиновника И.П. Пономарева замечанием: «В конце 30-х гг. текущего столетия на русской сцене имело громкий успех известное драматическое произведение Николая Алексеевича Полевого «Параша-Сибирячка». Приводим рассказ лица, знавшего действительную героиню этой пьесы»<sup>11</sup>.

Сам же рассказ интересен тем, что раскрывает сибирский период жизни Прасковьи и ее родителей: «В 1800 году, бывши еще мальчиком\*, я знал довольно коротко поселенца Лупалова и дочь его, впоследствии столь известную, Парашу-Сибирячку. Расскажу о них, что могу припомнить.



*Жилияковка. Фото автора.  
1998.*

Григорий, - отчество забыл, - Лупалов, родом малоросс, служивший когда-то драгунским поручиком и полковым казначеем, был разжалован и сослан в Сибирь за растрату казенных двадцати тысяч рублей, вверенных ему по должности казначея, состоял на поселении, несчастный проживал в деревне Жилияковке, что ныне предместье Ишима. Здесь он имел собственный домик, просто лачугу. Кормился Лупалов частью от убогого хозяйства, которое вели его старушка-жена и единственная дочь, девушка лет восемнадцати; частью содержал себя и семью платою за переписку бумаг в Ишимском земском суде. Канцелярия последнего была местом наших общих занятий: я, почти ребенок, служил в качестве штатного копииста, а старик трудился, как помню твердо, за 3 рубля 50 копеек в месяц. Дорожа милостью начальников, старик Лупалов являлся на должность раньше всех нас, между тем, как жил версты чуть не две от суда, и зимою, в морозы и бураны, ходил одетый крайне бедно.

Дочь Лупалова, Прасковья, впоследствии героиня, была девушка так себе, очень недурна лицом, честная и рукодельница. Мне не редко случалось видеть ее в Жилияковке, куда мы, народ

приказной, хаживали летом, в праздники, посмотреть деревенские хороводы, и дело прошлое, поплясать с молодыми крестьянками. Как сейчас вижу, Прасковья играет в горелки, пошумски в разлуку – и на бегу вяжет чулок. Бывало, когда завечереет, отец и мать Лупаловы выйдут за ворота, поищут взглядом, прикрыв худые глаза ладонью, дочь, затерявшуюся в толпе, и найдут ее, окликав по-хохлацки: «Праскута, Праскута! Ходя до дому». Добрая девушка немедля оставляла все и шла на зов без ропота, тогда как подружки ее всегда надували губки при подобном возвращении».

Сообщил Ив.В. Вологдин.

\* Рассказывал чиновник (масон)

Иван Петрович Пономарев в Томске Ф.А. Прядильщикову<sup>12</sup>.

С 60-х гг. XIX века история П.Луполовой переходит в низовую или лубочную литературу. Издатели и анонимные писатели-«лубочники» адаптируют для народа произведения Коттен и де Местра, а также создают «свои» сюжеты. Роман Коттен «Елизавета, или «Ссылные в Сибири» получает название «Параша Сибирячка. Истинное происшествие»<sup>13</sup>. В нем усилен русский колорит и «исправлены» неточности, допущенные французской в описании сибирского быта главных героев. При этом исчезает с обложки и имя самой писательницы. А текст де Местра «дополняется» новыми биографическими фактами о Прасковье и ее родителях, взятыми из журнальных и газетных сообщений<sup>14</sup>.

В 1875 году в двух московских типографиях: Ф.Иогансона и бр. А. и В.Абрамовых выходит книга: «Параша Сибирячка, или «До Бога высоко, а до царя далеко» с подзаголовком «Историческая русская былина из времен царствования императора Александра I». Она будет издаваться с некоторыми изменениями в названии («Параша Сибирячка, или Несчастный «Ох!», а за несчастного – Бог. Русская народная историческая былина») до конца века у М., Е., И.Коноваловых и Е.А.Губанова. Героиня



Обложка лубочной книги  
"Параша Сибирячка".  
1915.

«былины» Прасковья Григорьевна Луполова, в отличие от реальной Парашы, совершает свое длительное путешествие дважды. Первый раз она совсем небольшой девочкой идет в Сибирь, чтобы соединиться с родителями, находящимися в Ишимской ссылке, а второй раз – из Ишима в Петербург, чтобы испросить царской милости для отца. При этом создается впечатление, что сам сюжет лишь повод для рассказа безымянного автора о далеком крае за Уралом: «В нашей обширной России, далеко, на севере, в пределах Сибири находится городок Ишим, в Тобольской губернии. Чтобы ознакомить читателей с неизвестной в то время местностью (рассказ происходит в 1784 году) я познакомлю их с очерками Сибири в исторических и экономических отношениях»<sup>15</sup>.

«Вольное» обращение с историей Парашы в «народных романах» не исключает установки на «достоверность», проявляющуюся в точном обозначении места ссылки ее отца. Так, «историческая повесть» «Параша Сибирячка», изданная в типолитографии А.В. Васильева (Москва), открывается описанием Жиляковки, действительного места проживания Луполовых, но при этом следует заметить, что в начале XIX столетия, рядом с этой деревенькой, находившейся почти в черте города, не было густых лесов: «В Сибири, в Тобольской губернии близ города Ишима, среди непроходимых, дремучих лесов, приютилась маленькая деревушка Жиляковка. Деревушка эта сплошь населена была ссылными. Люди, совершившие на своем веку преступление, наказанные за это, отверженные всеми честными людьми, уныло коротали здесь остаток дней своих. Невесело было житье ссылных; жили они впроголодь, занимаясь охотой в лесу на пушных зверей и сбывая добычу за гроши в городе Ишиме»<sup>16</sup>.

А далее рассказывается мелодраматическая история ссылного Ивана Николаевича Лупалова, который живет здесь уже 20 лет вместе с женой своей Марьей Петровной и дочерью Пара-



Обложка лубочной книги  
"Параша Сибирячка"  
(по Ксавье де Местру).  
1893.



шей. Некогда он был дворянином, служил «в военной службе», имел свое поместье во Владимирской губернии, но страсть к картам и дружба в разгульным помещиком Сергеем Сергеевичем Васильцовским сгубила его. Кто-то убил ростовщика, а подозрение пало на Лупалова. После суда он оказывается в ссылке, где через два года у него рождается дочь Параша. Зимой 1801 года в его доме появляется странник, им оказывается Васильцовский, сообщаящий бывшему своему другу о преступлении некогда им совершенном – убийстве ростовщика и бегстве своем во Францию. Теперь он странствует по монастырям, замаливая грехи. Параша, узнав всю правду, решает облегчить участь родителей и отправляется к самому царю. Остальные события повести развиваются в русле «Юной сибирячки» Ксавье де Местра.

История П.Луполовой была увидена создателями лубочной литературы и через призму «Капитанской дочки» А.С. Пушкина. «Параша Сибирячка. Роман в 2-х тт. из времен Екатерины Великой» был издан в 1876 году (Москва) Н.Шараповым, подготовившим до 1888 года еще четыре издания этой книги. Она издавалась также О.Лузиной (Москва, 1886, 1888 гг.), Минковым, Т.Ф. Кузиным (С.-Петербург), а с 1892 по 1915 гг. одним из наиболее известных издателей России – Иваном Дмитриевичем Сытиным (Москва). Издание 1915 г. с цветной обложкой в духе лубочной картинки, на которой изображена девушка в простом крестьянском платье с письмом в руке, а также царица Екатерина в роскошном одеянии, хранится в Российской государственной библиотеке.

Завязкой этого романа становится встреча семьи Лопуловых в оренбургской степи с беглым казаком, которому грозит гибель во время бурана. В дальнейшем этот незнакомец, оказавшийся Емельяном Пугачевым, из благодарности оставляет в живых коменданта крепости Каменной Григория Федоровича Лопуло-

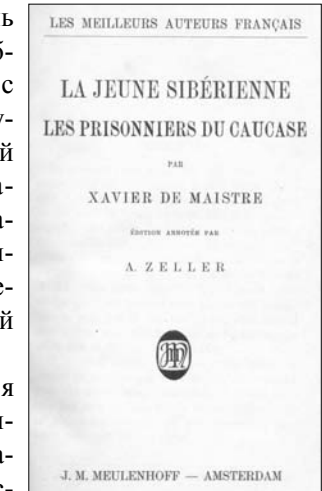


*Ксавье де Местр. "Юная сибирячка". Бельгийское издание. 1941.*

ва, его жену Марью Егоровну и их дочь – Парашу. Характерами и внешним обликом своим Лопуловы соотносятся с Мироновыми. Есть в этом романе и другие «двойники» героев «Капитанской дочки». Например, возлюбленный Параша, прапорщик Владислав Станиславович Потоцкий «дублирует» Петра Андреевича Гринева, а верный спутник семьи Лопуловых, «нянька» маленькой Параша капрал Петр – Савельича.

Принцип «зеркала» распространяется и на фабулу романа. К главным моментам этого произведения относятся нападение Пугачева на крепость, ее героическая оборона, расправа мятежников с жителями крепости, разгром пугачевцев императорскими войсками, казнь Пугачева. Основная коллизия романа также перекликается с пушкинской «Капитанской дочкой»: помилованного Пугачевым Лопулова обвиняют в государственной измене и отправляют в Сибирь, а дочь приходит к императрице и добивается прощения своему родителю. При этом отдельные сцены романа: пребывание семьи Лопуловых в Ишиме, «трудной дороги» Параша в Петербург, ее ухода в монастырь соответствуют эпизодам другого произведения – повести Ксавье де Местра «Юная сибирячка».

Соединение Маши Мироновой с Парашей Луполовой – литературной героиней и реальной личностью, в этом лубочном романе не представляется нарочитым. Анонимный автор, рассчитывающий на читателей из народа, вер-



*Ксавье де Местр "Юная сибирячка". Нидерландское издание середины XX века.*



*Ксавье де Местр. "Юная сибирячка". Париж. 2001.*

но уловил их сходство. Оно в совпадении судеб: дочь военного в своем стремлении помочь близкому человеку обращается к высшей власти и находит понимание и милосердие, а также родственности характеров, заключающейся в нравственной цельности, силе духа и смирении, в подчинении судьбе и понимании того, что за любой случайностью скрыт Высший Промысел.

В XIX веке П.Луполова под именем Параши Сибирячки вошла в круг наиболее известных женщин России и Европы. Д.Мордовцев в своей книге о русских женщинах XIX столетия рассматривает ее биографию наряду с историей жизни кавалерист-девицы Дуровой, указывая и на то, что Луполова на своем пути из Сибири в Петербург прошла через Сарапул, где в то время жила юная Дурова<sup>17</sup>. А англичанка Шарлотта М.Янг в «Книге золотых дел» сопоставила судьбу П.Луполовой с судьбой шотландской девушки Элен Уокер, которая в начале XVIII века отправилась пешком из Эдинбурга в Лондон, чтобы просить помилования для приговоренной к казни сестры. Впоследствии она стала прообразом Джини Динс – героини романа В.Скотта «Эдинбургская темница». При этом Янг отмечала, что поход Элен Уокер в сравнении с путешествием П.Луполовой, также явившейся прототипом героини Елизаветы из романа французки Коттен, это всего лишь «летняя прогулка по парку»<sup>18</sup>.

Были и примеры подражания подвигу П.Луполовой. К примеру, известная детская писательница, автор «Истории России в рассказах для детей», последний адресат А.С.Пушкина, А.О.Ишимова (1804-1881) в своей «Автобиографии» писала о том, как «обнадеживала» ее история Параши Сибирячки» когда она в январе 1825 года обратилась за помощью к Александру I, прося смягчить участь ее отца, попавшего в ссылку<sup>19</sup>.

Таким образом, на протяжении целого столетия П.Луполова занимает душу и воображение множества людей, не иссякает и поток произведений ей посвященных. А в начале XX века, в пору популярности канонизированных и неканонизированных святых, связанных с представителями дома Романовых и в особенности с Александром I (Благословенным), игуменья Новгородского Десятинного монастыря Людмила устанавливает плиту в подцерковьи Рождественского собора, где по одной из версий историков (вторая версия – захоронение близ храма – Т.С.) и

была похоронена П.Луполова<sup>20</sup>. В 1930 г. собор был закрыт, а во время Великой Отечественной войны разрушен, но в фондах Новгородского государственного музея сохранился стеклянный негатив фотографа Е.В. Гордюшенкова с запечатленной на нем надгробной плитой и картиной, на которой изображена Прасковья на фоне монастыря<sup>21</sup>.

С 20-х гг. XX века, когда начинается утрата православных святынь, забывается и имя Параши Сибирячки, а книги, отражающие ее историю, лишь в единичных экземплярах оседают в фондах редкой книги библиотек и музеев нашей страны, а поэтому публикацию романа С.Коттен, повести К. де Местра и драмы Н.Полевого в данном издании следует рассматривать в качестве первой попытки возвращения произведений о героине из Ишима современному читателю.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

1. Истинный анекдот // Северный вестник.-СПб., 1805, ч.5, январь, с.75-81; Неустрашимая русская путешественница девица // Северный вестник.-СПб., 1805, ч.7, сентябрь, с.348-357.
2. Нечто о девице Парасковье Григорьевне Луполовой // Друг Просвещения.-Москва, 1805, ч.2, апрель, с.39-40.
3. История девицы Луполовой // Сионский вестник.-СПб., 1806, январь, с.93-110.
4. Постановление Сената // Московские ведомости. –1805, № 6, 21 января.
5. Северная почта, или Новая Санкт-Петербургская газета.-СПб., 1810, № 23, 19 января.
6. Бантыш-Каменский Д.Н. Словарь достопамятных людей русской земли.-М., 1836, ч.3, с.222-224.
7. Глинка С.Н. Русская история. –М., 1817-1818, ч.8, с.323.
8. Игнатъев Р.Г. Могила девицы Луполовой, известной под именем Параши Сибирячки // Новгородские губернские ведомости, 1853, № 8, отдел 3-й, часть неофициальная, с.42.
9. Куприянов И. Письмо к редактору из Новгорода // Москвитянин, 1853, т.3, № 10, май, кн.2, с.106-111; Куприянов И. Новые сведения о девице Луполовой (письмо редактору) // Москвитянин, 1853, т.4, № 13, июль, кн.1, с.31-34; Еще справка о девице Луполовой // Москвитянин, 1853, т.5, № 18, сентябрь, кн.2, с.71-72.
10. Куприянов И. Еще справка о девице Луполовой // Москвитянин, 1853, т.5, № 18, кн.2, с.72.
11. Русская старина, 1873, т.7, № 5 (май), с.727.
12. Там же, с. 727.
13. Параша Сибирячка. Истинное происшествие. Пер. с французс-

кого. Москва. В типографии Александра Семена, 1862. 2-е издание (1867 г.) выходит в типографии Л.И. Степановой. Один из немногих сохранившихся экземпляров первого издания можно видеть в библиотеке Тобольского музея.

14. Ксавье Де-Местр Параша Сибирячка. Рассказ. С-Петербург, типография А.С. Суворина, 1893. Издание четвертое. Серия «Дешевая библиотека». Экземпляр данного издания находится в библиотеке ТГИ-АМЗ.

15. Параша Сибирячка, или до Бога высоко, а до царя далеко. Историческая русская былина из времен царствования императора Александра I. –М. Изд. Книгопродавца А.А. Абрамова, 1889, с.1.

16. Параша Сибирячка. Историческая повесть. Москва. Типография А.В. Васильева, Петровка, дом Обидиной, 1899, с.1.

17. Мордовцев Д. Русские женщины нового времени XIX-го века. СПб., 1874, с.77.

18. A Book of Golden Deeds of all Times and all Lands. London: Blackie and Son, 1864.

19. Автобиография А.О. Ишимовой // Археографический ежегодник за 1998 год. –М., 1999, с.366.

20. Кузьмина Н.Н., Филиппова Л.А. Десятинный монастырь в Великом Новгороде. – Великий Новгород, 2000, с.25-26.

21. Фотография с этого негатива, сделанная в 2002 г., была выслана в Ишим научным сотрудником Новгородского музея Л.А. Секретарь вместе с ее статьей о П.Луполовой: Секретарь Л.А. Прообраз пушкинской Маши // Чело (краеведческий журнал). –Новгород, 2002, № 2, с.29-31.

7. Одровонж-Пененжек Я. Пушкин и польский романтик Густав Зеллинский // Пушкин. Исследования и материалы. - М.-Л., 1958. - Т.2. - С.362-368.

8. Стеклова Ф. Густав Зеллинский и его поэма // Альманах библиофила. - М., 1975. - Вып. 2. - С.177-182.

9. “Киргиз”. Отрывок из повести в стихах г. Г.З. // Денница. Словянское обозрение. - Варшава, 1843. Ч.1. - С. 85-89.

10. Дело, 1872, № 6. - С.215-217.

11. 11 Детское чтение, 1901, № 5, май. - С.180-183.

12. Зеллинский Густав. Киргиз. Поэма. Пер. с польского Г. Гребенщикова. - Томск: Изд-во т-ва “Бытовая Сибирь”, 1910. С. 4.

13. Там же.

М.-С. Коттен

## Елизавета Л., или Ссылные в Сибири

Мари-Софи Коттен, урожденная Ристо (1770-1807) - французская писательница. Родилась в Гаскони, городе Тонненсе, воспитывалась в Бордо. В шестнадцатилетнем возрасте была выдана замуж за бордоского банкира Коттена, с которым приехала в Париж, после его смерти поселилась в деревне, где написала пять романов: "Клэр д'Альб", "Мальвина", "Амелия Мансфилд", "Матильда, или Крестовые походы", "Елизавета, или Ссылные в Сибири". Напряженная творческая деятельность была прервана преждевременной смертью. Произведения Коттен имели всеевропейский успех, были переведены на множество языков, а мусульманский военачальник, храбрый воин средневековой эпохи Малек-Адель из романа "Матильда" оказался в ряде самых известных мужских образов первой половины XIX века.

В своем последнем романе "Елизавета Л., или Ссылные в Сибири", созданном в 1806 году, она обращается к новой для французской литературы сибирской теме и создает образ отважной девушки, преодолевающей все опасности ради блага своих родителей. Роман открывается описанием Ишимского округа, природа которого воссоздана в духе модного для той эпохи "оссиановского" северного пейзажа с характерными для него приметами: скалами, бурями, туманами, мхами. Подобная мрачная картина соответствовала основной ситуации романа: изгнания, отверженности героев. В то же время Коттен пытается выйти за пределы условного пейзажа, включая в свое произведение и некоторые реалии, свидетельствующие о ее знакомстве с документальными источниками об ишимском крае. Она рассказывает о древних курганах, кочующих киргизских племенах, обилии озер и даже основной рыбе этих мест - карасях.

В России о появлении этого романа первыми узнали читатели журнала "Вестник Европы" (1806 г., ч. 30, № 21, раздел "Смесь"). В небольшой заметке сообщалось: "В Париже вышел новый роман "Елизавета, или Ссылные в Сибирь", 2-й Коттен, известной сочинительницы некоторых романов и между прочим Матильды. Многие читатели помнят историю девицы Луполовой, которая из Сибири пришла пешком в Петербург, будучи движима детской любовью. Г-жа Коттен из его анекдота составила полный роман, вместо девицы Луполовой сделала героиней своей девицу Елисавету, дочь Польского Вельмо-



М.-С. Коттен.

жи, будто бы сосланного в заточение по некоторым политическим причинам. Елисавета приходит также пешком, но не в Петербург, а в Москву, в самое время коронации - получает прощение своему родителю. Хотя Парижские романы хвалят сие новое произведение романтического пера, однако же мы осмеливаемся думать, что оно не понравится нашей публике. Происшествия, обстоятельства, лица и места всем нам более известны, нежели 2-же Коттен, которая писала по воображению и не могла согласить вымысла с исторической верностью..." Завершалась рецензия фразой о "романе, без которого обойтись весьма не трудно".

Отзыв этот, далекий от хвалебного, не помешал появлению первого издания романа на русском языке уже в следующем году. В Москве, в Университетской типографии, этот роман был напечатан под заголовком: "Елисавета Л., или Несчастия семейства, сосланного в Сибирь и потом возвращенного. Истинное происшествие. Соч. Г-жи Коттен". Первое издание повторят и в 1808 году. Второе будет осуществлено в Губернской типографии А. Решетникова в 1810-м, третье - в типографии Н.С. Всеволожского в 1816-м, четвертое - в типографии А. Семена в 1824-м. Переводчик ни в одном из изданий не указан.

В Европе роман Коттен будет издаваться в Штутгарте, Лиможе, Лейпциге, Стокгольме, Ганновере, Кведлинбурге, Брюсселе, Берлине, Милане, Неаполе, Вене, Тюбингене, Данициге, Лондоне, Балтиморе, Бостоне, Мадриде, Барселоне, Лейдене, Вроцлаве. В каталоге "Россика" (Санкт-Петербург, 1873) можно видеть 75 названий изданий этого романа на разных языках.

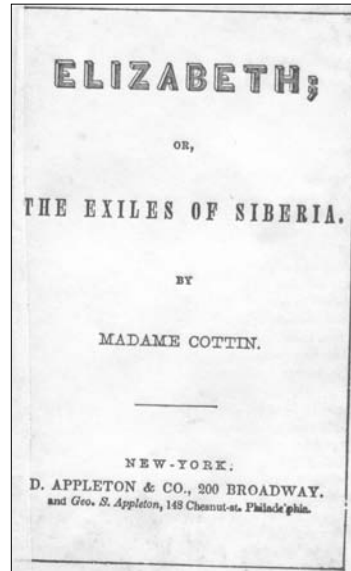
На основе романа будут создаваться драматические и музыкальные произведения, в числе которых опера известного итальянского композитора Гаэтано Доницетти, созданная в 1827 году по пьесе Пиксерекура "Восемь месяцев за два часа, или Ссылные в Сибири". Первое представление оперы состоялось в театре "Нуово" в Неаполе.

Главный город в Сибири, Тобольск, находится на берегу Иртыша; с северной стороны окружают его огромные леса, простирающиеся до самого Ледовитого моря, в некоторых местах сего пространства, составляющего около тысячи верст, встречаются горы дикие, каменистые, покрытые вечным снегом. Там расстилаются бесплодные голые равнины, на которых в самые жаркие дни земля оттаивает не более как на один фут; там текут реки, которые, будучи под оковами льда, никогда не орошали лугов и не украшались цветами, распускаящимися на берегу. Далее к северу кедры, ели и вообще все высокие деревья исчезают; кусточки, едва приметные на земле, березы и лиственницы составляют единственное украшение сих бедных стран; наконец, болота, обремененные мхом, представляют последнее усилие умирающей природы, за которыми нет более растительной жизни. Однако посреди ужасов вечной зимы природа еще имеет величественные сцены: под сим небом часто различаются Северные сияния в виде пламенного круга, в которых играют волнующиеся колонны света; они представляют картины, которых чудесная красота неизвестна южным народам. - На

полуденной стороне Тобольска лежит Ишимский округ; степи, усеянные могилами и прерываемые горькими озерами, отделяют его от киргизцев, народа кочующего и неозаренного христианскою религиєю. По левую сторону его границы составляет Иртыш, после бесчисленных излучин, теряющихся в странах китайских; по правую - река Тобол. Берега сей последней сухи и бесплодны; они представляют глазам одни обломки разрушенных временем скал, одну выше другой, и на которых зеленеет несколько елей. У их подошвы, при одном изгибе Тобола, находится деревня Саимка, принадлежащая русскому боярину, в расстоянии шести сот верст от Тобольска, - это на отдаленной границе Ишимского округа; посреди пустоши все, что окружает ее, мрачно, подобно тамошнему солнцу, и мертво, подобно тамошнему климату.

Однако Ишимский округ называют Италией Сибири, потому что летом бывает несколько теплых дней, и зима продолжается только восемь месяцев; но она жестока до высочайшей степени. Северный ветер, беспрестанно веющий, приносит из арктических пустынь снег. Тобольск в сентябре уже погребен под сим снегом и не выходит из-под него до мая. Правда, когда солнце возвратится на север, и начнет таять, то деревья и мох покрываются зеленью с удивительной быстротою; довольно двух или трех дней весенних, и все цветы развиваются. Кажется, можно слышать скорое и сильное движение жизни в растениях; ветви берез издают запах розы; косматый трилистник покрывает все влажные места; стада гусей, пестрых уток, сибирских гусей играют на поверхности озер; белые журавли прячутся в тростник уединенных болот, свивают из травы гнезда; белки, прыгая с дерева на дерево и рассекая воздух посредством лап и пушистого хвоста, грызут еловые шишки и мягкие листья берез. И так для сих живых существ, обитающих в отдаленных холодных странах, еще есть счастливые дни - но нет для бедных изгнанников!

По большей части они живут в деревнях, рассеянных по берегам от Тобольска до пределов Ишимского округа, а некоторые в хижинах, брошенных среди пустых полей. Правительство дает многим съестные припасы; те, которые лишены сего, питаются охотою; почти все они влачат жизнь жалкую и имеют одно название - несчастных. В двух или трех верстах от Саимки, посреди леса, растущего на болоте, на берегу круглого глубокого озера, на берегах которого возвышаются белые и черные тополи, - поселилось несчастное семейство. Оно состояло из



*Нью-Йоркское издание романа. XIX век.*

одного мужчины около 45 лет, из его жены и их дочери, бывшей в лучшем цвете возраста. Заключение в сей пустыне, оно не имело никакого сообщения с людьми. Отец ходил один на охоту; никогда он не приближался к Саимке, никогда не приближались к ней его жена и дочь, кроме бедной татарки, им служившей, никакое существо не посещало их хижины; никто не знал отечества их, ни происхождения, ни причины наказания. Один тобольский Губернатор только знал тайну и не открывал ее даже саимскому комиссару. Поручив сих несчастных его присмотру, Губернатор приказал дать им покойную хижину, сделать маленький сад, снабдить их пищею и платьем; но строго наблюдать, чтобы они не имели ни с кем сообщения и в особенности не посылали никуда писем.

Столько внимания с одной стороны и такая жестокость и тайна с другой заставляли думать, что простое имя Петра Спрингера, которым называли сего изгнанца, скрывало имя знатное и несчастье чрезвычайное. Но когда тщетны были все старания проникнуть в сию тайну, то скоро погасло любопытство, а с ним и участие. Все перестали заниматься несчастными, которых не видят, и наконец совсем забыли их; только тогда, как охотники, заблудившись в лесу и приближались к озеру, спрашивали имена живущих в сей хижине, отвечали им: это несчастные! Охотники не старались знать более; тронутые сожалением, говорили во глубине сердца: дай им Бог возвратиться на свою родину! Петр Спрингер сам построил хижину из сосновых деревьев и покрыл ее соломою, обломки скал защищали ее от жестоких северных ураганов и наводнений озера. На сих горах нежного гранита играли солнечные лучи; в первые дни весны они покрывались грибами, из которых одни имели цвет бледной розы, другие цвет серый или голубой лазоревый, подобно байкальским; а в тех расселинах, куда ветры занесли несколько земли, выростали кусточки сосновые и рябиновые. На полуденной стороне озера редкий лес показывал бесконечные степи, покрытые могилами, из которых многие были разрыты и кости мертвых разбросаны по полю: это остатки одного древнего небольшого города, который вечно оставался бы в покое, если бы золото, с ним погребенное в недрах земли, не открыло корыстолюбиво его бытия.

На восточной стороне сей великой равнины возвышалась церковь, построенная руками христиан, около нее могилы были пощажены. Крест, возбуждающий все добродетели, заставлял каждого человека не прикасаться к праху сих мертвых. В сей-то стороне, во время продолжительной и жестокой зимы, Петр Спрингер каждое утро ходил на охоту. Он стрелял оленей, питающихся молодыми листьями грабника и тополей; иногда он ловил бобров, которых очень мало в сей стране, и горностаев, которые тут бегают стадами. За сии меха привозили ему из Тобольска мебель и книги для дочери. Долгие вечера проходили в учении молодой Елизаветы. Часто, сидя посреди своих родителей, она вслух читала им историю. Спрингер останавливал ее на всех местах, возвышающих душу; а Федора, ее мать, показывала те черты, которые трогают сердце. Один показывал всю красоту славы и геройства, другая - всю прелесть нежных чувств и кротости. Отец говорил, что добродетель имеет великого, а мать, что она имеет утешительного

и любезного; отец учил, как ее почитать, а мать, как ее любить. Сие взаимное попечение образовало в ней характер твердый и чувствительный, который, соединяя необыкновенную энергию Спрингера с ангельскою кротостью Федоры, был в то же время благороден, горд, как все проистекающие от чести и нежности, как все проистекающее от любви.

Когда снег начал таять и нежная зелень покрывала землю, несчастные работали в саду. Спрингер копал борозды, Федора приготавлила семена, а Елизавета поверяла их земле; их сад был окружен палисадом.

Род маленького дерева в Сибири весьма любят, ибо только одно оно издает приятный запах. На южной стороне Спрингер сделал род оранжереи, в которой он лелеял некоторые цветы, неизвестные в холодном климате; и когда они распускались, он прижимал их к своим губам, показывал их своей жене и украшал ими свою дочь, говоря ей: Елизавета! Полюбуйся цветами твоего отечества; они подобны тебе: как ты, они прелестны. Ах! не умри ты, подобно им, в сей пустыне!

Кроме сих минут сладостной чувствительности, он всегда был молчалив и важен; целые часы он проводил в глубокой задумчивости, сидя на той же скамье, обратив глаза в то же место, испуская глубокие вздохи, которых не могли остановить ласки Федоры, и которые становились тяжелее при виде дочери. Спрингер часто брал на руки Елизавету, крепко прижимал ее к своему сердцу и потом с поспешностью отдавал ее матери, говоря: возьми сие дитя! Его несчастье, а твоя горесть сведут меня в гроб! Ах! для чего вы следовали за мною? Если бы я остался один в ссылке, если бы ты не взяла на себя половины моих несчастий, если бы я знал, что ты живешь спокойно в твоём отечестве - мне кажется, я был бы менее жалок!

Сии слова извлекли слезы из глаз нежной Федоры. Все в ней показывало пламенную любовь, которая привязывала ее к супругу. Она не могла жить ни одного дня далеко от него и знать горе, когда они в счастливые дни всегда были вместе. Может быть, его великие достоинства, знатные и опасные должности часто разлучали их; но в ссылке они уже не оставляли друг друга. Ах! если бы она могла не трогаться несчастием супруга, может быть, она любила бы сибирскую пустыню.

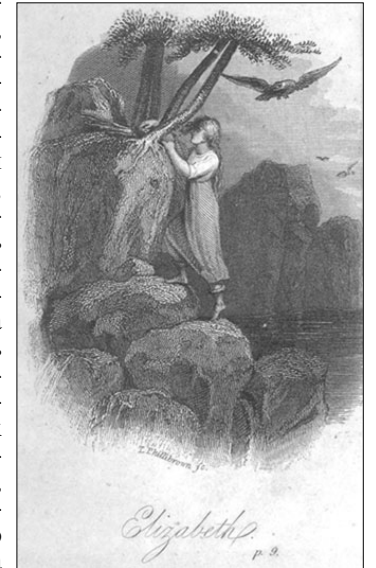
Федора имела более тридцати лет, но была еще прекрасна, любила своего супруга, свою дочь - и боялась Бога: сии три чувства изображали на ее лице те прелести, которых время не истребляет; в ее чертах написано, что она сотворена любить с невинностью и что она исполняла сие определение небес. Она сама приготавливала те блюда, которые нравились ее супругу. Будучи внимательна к его малейшим движениям, она замечала из глаз его желания, чтобы исполнить их прежде, нежели он скажет что-нибудь. Порядок, чистота и даже некоторые удобства царствовали в их бедной хижине: в самой большой перегородке жили два супруга; большая печь согревала оную; закопанные стены были украшены рисунками и работою Федоры и их дочери; оконницы у них были из стекла - роскошь, очень редкая в сей стране, и которую они одолжены ловле Спрингера. Два кабинета составляли остальные части хижины, из которых в первом спала Елизавета, а в другом моло-

дая татарка; в сем последнем также были поваренные вещи и садовые инструменты.

Вся неделя проходила в домашних трудах, то есть: они или ткали материю из оленьей шерсти, или красили ее березовой корою, или уже готовой материей покрывали шубы. Но когда настанет воскресенье, Федора тайно вздыхала, что не может в церкви приносить молитвы и повергалась в хижине пред образом Святого Василия, на которого она полагала великую надежду. Она молилась за супруга и за дочь; ее набожность каждый день становилась живее; ибо она чувствовала, что после сии чувства обогащали ее новыми мыслями и выражениями для утешения супруга.

Воспитываемая в сих диких лесах с четырех лет, молодая Елизавета не знала другого отечества; она около своей хижины находила те красоты, которых природа несколько бросала там, и те простые удовольствия, которые невинное сердце вкушает повсюду. Она, взбираясь на утесы, окружающие озеро, собирала там яйца ястребов и коршунов, свивающих в ущелинах гнезда; иногда ловила силками диких голубей и сажала их в птичник; иногда ловила карасей, которые стадами проходили по мелкому месту; сквозь воды пурпуровая чешуя их представляла слои огней, покрытые текучим серебром. В счастливые дни ее детства она не думала, что ее участь могла быть приятнее. Ее здоровье получало крепость от сурового воздуха; ее стан делался гибче и правильнее от телесных упражнений, а на лице, на котором изображалось спокойствие невинности, каждый день появлялись новые прелести. Таким образом, в удалении от всего света и людей, возрастала ее красота только для глаз родителей, для утешения только их сердца, подобно цветку в пустыне, который развивается пред одними лучами солнца и тем не менее украшается живейшим блеском, хотя его не видит никакой путешественник.

Чувства бывают там нежнее и пламеннее, если они обращены на один или немногие предметы. Таким образом, Елизавета, зная только одних родителей, любила их страстно: они были для нее все; они были покровителями в слабости ее, товарищами в играх; они составляли единственное ее общество. Она знала только то, чему научилась от них; они доставляли ей забавы, раскрывали ее таланты, она всем этим была одолжена им. Видя, что все проистекало от них, что сама по себе она не могла ничего иметь, она любила сию зависимость, которую чув-



*Иллюстрация нью-йоркского издания романа XIX века.*

ствовала по одним благодеяниям родительским. Однако когда миновали детские лета и начал раскрываться разум, она примечала слезы матери и увидела, что ее отец был несчастен. Часто Елизавета просила их открыть причину своей горести и всякий раз получала один ответ, что они отыскивают свое отечество. Что касается до названия сего отечества и до своего состояния, они скрывали от нее, как тайну, желая предупредить чувствительность, с какою она представляла сие извержение с подобной высоты в ужасную бедность. Но с той минуты, как Елизавета познакомилась с печалью своих родителей, ее душа и ее жизнь совершенно переменялись: забавы, которые занимали ее, лишились уже в ее глазах всей прелести; она забыла свой птичник; она не поливала своих цветов; когда выходила на берег озера, это было уже не для того, чтобы удить рыбу или кататься в маленьком челноке, но чтобы предаться размышлениям, чтобы думать о своем плане, который сделался единственным занятием ее ума и сердца. Иногда, сидя на остром камне, с глазами, обращенными на поверхность озера, она мечтала о слезах своих родителей и о средствах прекратить их течение. Они оплакивали отечество; Елизавета не знала, что это за страна, но она почитала несчастием своим удаление от нее - нежная дочь старалась не о том, чтобы узнать сию землю, но и возвратить ее. Тут она обращала свои взоры к небу, просила его помощи и погружалась в задумчивость столь глубокою, что часто падал на нее крупный снег, дул сильный ветер, и она не чувствовала сего. Между тем родители искали ее, произнося ее имя; услышав их голос, она сходила с вершины скалы, возвращалась к своим урокам или помогала матери в домашних трудах. Но и подле родителей и в отсутствии, читая книгу и занимаясь шитьем, даже во сне она всегда имела одну мысль; она скрывала ее во глубине сердца, не говоря о ней ни с кем - она решилась сделать это тогда уже, как будет готова удалиться.

Так! Она хотела удалиться от родителей, хотела вырваться из их объятий и пешком идти в Петербург, чтобы просить прощенья своему отцу. Таков был ее отважный план, столь безрассудно было ее предприятие. Тщетно представлялись ее мыслям великие препятствия; ее твердое желание, ее мужество, ее упование на Бога ободряли ее и отвечали ее сердцу, что она будет торжествовать над всем. Между тем, когда ее план получил некоторое совершенство и когда она занималась одним исполнением его, - незнание пути несколько поколебало ее; ей дорога неизвестна была даже к самой ближней деревне; она никогда не выходила из лесу. Каким же образом она может дойти до Петербурга? Каким образом будет изъясняться с этими разными народами, с которыми должна встречаться и которых языка она не понимает? Ей надобно питаться милостыней; чтобы решиться на сие, она призвала в помощь христианское смирение, которому научила ее мать, но она столько слышала от своего отца о варварстве людей, что без страха никак не могла помыслить о несчастии прибегать к ним с просьбами. Она слишком знала нежность своих родителей, надеялась на их согласие в рассуждении своего предприятия; она не могла говорить им о сем. Но к кому же обратиться в такой пустыне, где она была удалена от всего света? И в сей хижине, к которой не приближается ни один смер-

тний, - какой помощи ожидать? Однако она не отчаивалась найти ее; она вспомнила случай, которого едва не сделался жертвою ее отец. Нет места столь дикого, где Промысл не услышал бы молитвы несчастных и не послал бы им облегчения.

За несколько лет, во время зимней ловли, на вершине острых скал, окружающих Тобол, Спрингер был освобожден одним неустрасимым молодым человеком от великой опасности. Это был сын г. Смолова, тобольского Губернатора; он каждую зиму ездил за оленями, бобрами на Ишимские степи, и за белыми медведями на Уральские горы в окрестностях Саимки. В сем-то последнем случае он встретился со Спрингером и спас ему жизнь. С сей минуты имя Смолова не иначе произносимо было в хижине несчастных изгнанников, как с почтением и благодарностью. Елисавета и ее мать всегда сожалели, что не знают своего благодетеля; зато они всякий день молились за него; всякую зиму, когда начиналась ловля, они надеялись, что случай приведет Смолова в их хижину. Но надежда их не сбывалась; приближение к сим несчастным было запрещено ему, как и всем; к тому ж он не почитал жестоким для себя сие повеление, ибо еще не знал, какое существо заключено в бедной хижине.

Когда Елизавета почувствовала всю трудность выйти из своей пустыни без посторонней помощи, то ее мысли часто обращались к молодому Смолову. Такой покровитель, без сомнения, избавил бы ее от всякого страха и от всех препятствий; кто лучше его, думала она, может рассказать ей все подробности пути от Саимки до Петербурга, показать ей самое надежное средство подать просьбу Государю? И если ее побег раздражит Губернатора, то кто лучше сына может обезоружить его гнев, тронуть его сердце и отвлечь от мщенья над родителями?

Таким образом она вычисляла сама себе все выгоды подобной помощи и когда настала зима, она решилась узнать, не будет ли Смолов на охоте в их окрестностях, - она решилась видеть его и говорить с ним.

Спрингер так был тронут страхом своей жены и дочери, произведенным тою опасностью, какой он подвергался на охоте, что дал им обещание не ходить более за медведями и ловить недалеко от лесу только белок и горностаев. Несмотря на сие обещание, они всегда провожали его с боязнью и не могли быть спокойны до самого его возвращения, как будто сие отсутствие угрожало новым подобным несчастием.

Высокий и крепкий снег покрывал землю, мороз простирался тридцать градусов, зима была в самой середине, как Спрингер взял ружье и поутру рано пошел в степь на охоту. Он обнял жену и дочь и обещался возвратиться к вечеру. Но пришел этот час, настала ночь, а Спрингера еще нет. С того несчастного случая еще в первый раз он не сдержал своего слова; страх Федоры превосходил все пределы. Елизавета старалась утешить ее, но сама не менее беспокоилась; она хотела идти искать его и не могла оставить мать в слезах. До сего времени Федора была слаба и робка, и никогда не ходила далее берегов озера; но любовь и беспокойство уверили, что она может следовать за дочерью навстречу своему любезному.

Они обе пошли через редкий лес в степь. Погода была самая холодная; ели казались ледяными деревьями; густой иней покрывал их вер-

шины и висел на каждом сучке; мрачный туман покрывал горизонт; ночь разливалась на все предметы вид еще ужаснейший, и снег был гладок, подобно зеркалу; и слабая Федора падала на каждом шагу. Елизавета, выросшая в сем климате и привыкшая к самым ужасным морозам, поддерживала ее. Так дерево, пересаженное в чужой климат, сохнет и слабеет, между тем как молодая отрасль его корня, привыкшая к новому воздуху, возвышает крепкие ветви и в короткое время делается способною поддерживать сучья пня, ее питавшего и защищавшего своею тенью. Приблизившись к равнине, Федора не могла держаться уже на ногах; тогда Елизавета сказала ей: “Милая матушка! Уже ночь настала, отдохните здесь и позвольте мне добежать до края леса; если мы потеряем еще несколько минут, ночь сделается еще темнее - тогда не могу увидеть батюшку на степи. Федора оперлась на ель и отпустила свою дочь; Елизавета вышла на степь. Могилы, которыми она покрыта, представляют холмы довольно высокие. Ставши на один из них, Елизавета с растерзанным сердцем, с глазами, плавающими в слезах, смотрела на все стороны, не увидит ли своего отца; но она не видит ничего; везде царствовало молчание и глухая тишина; в темноте уже небо сливалось с землею; - но в близком расстоянии раздался ружейный выстрел и оживил ее надежду. Сей звук, который она слышала только, когда стрелял ее отец, ей показался верным знаком, что это он. Она бросается в ту сторону, за каменною горою видит приклонившегося человека, который, кажется, искал чего-то на земле; кричит ему: “Батюшка! Батюшка! Это вы?” Незнакомый оглянулся. Это не Спрингер, это человек молодой, прекрасный. - Он при виде Елизаветы показал великое удивление. “Ах! Я почла вас за батюшку, сказала она с горестью; но не видали ли вы его в степи, не знаете ли, где могу найти его?” - Я не знаю вашего батюшки, отвечал он; но знаю, что в такое время вам нельзя оставаться одним в сей пустыне: вы подвергаетесь многим опасностям, вы должны опасаться... - “Ах! - прервала его Елизавета, - я боюсь только одного, что не найду своего батюшки!” Сказав сие, она обратила к небу взоры, которых гордость и нежность, твердость и кротость столь живо изображали ее душу, и, кажется, предвещали ее судьбу. Молодой человек тронулся ее положением; он не мог двинуться с места; он не видел и не воображал ничего подобного Елизавете. Наконец он спросил имя ее отца. “Петр Спрингер”, - отвечала Елизавета. - “Как! - вскричал он, - вы дочь изгнанца, живущего в сем лесу подле озера? Успокойтесь, я знаю его; не прошло еще часа, как я расстался с ним: он пошел к своей хижине, и, думаю, что он уже дома”. Елизавета ничего не слушала более, она бежит к тому месту, где оставила свою мать; произносит радостный крик, чтобы голос ободрил ее прежде, нежели она скажет ей приятную весть. Но она не находит ее подле ели; в отчаянии наполняет криком весь лес; наконец с той стороны, где находится озеро, отвечают ей два голоса. Она ускоряет шаги, видит у порога своей хижины отца и мать; они простирают к ней свои объятия, и Елизавета повергается в них. Они рассказывают друг другу, каким образом пришли к своему домику: они все вместе - и спокойствие возвратилось в их душу. Елизавета только тут приметила, что незнакомый молодой человек следовал за нею; Спрингер, взглянув,

узнал в нем Смолова. “Уже поздно, - сказал Смолову с глубоким вздохом, - а вы знаете, что мне не позволено дать убежища ни даже на одну ночь”. - “г. Смолов! - вскричали Елизавета и ее мать, - наш избавитель! Это он! Он!” Обе падают к его ногам; Федора орошала их слезами. Елизавета говорила: “Уже три года, г. Смолов, как вы спасли жизнь моего родителя; мы не провели ни одного дня, не прося у Бога вам награды за сие”. - “Ах! Он услышал вас, пославши меня сюда, - отвечал с великою чувствительностью молодой человек, - ибо малая услуга, которую оказал я, не стоила такой цены”.

Между тем уже было очень поздно, черная ночь покрывала лес, и нельзя было дойти до Саимки, не подвергая себя опасности; почему Спрингеру трудно было отказать в ночлеге своему избавителю; но он поклялся чествовать тобольскому Губернатору, что не будет принимать никого в свою хижину, и для него было очень, очень тяжело нарушить свое обещание. Он предложил молодому человеку проводить его до самой Саимки. “Я зажгу лучину, - сказал он, - Мне известны все уголки леса, все болота, топи, которых надобно будет убежать; я пойду впереди”. Устрашенная Федора бросается к дверям, чтобы не пустить его; между тем Смолов старался успокоить Спрингера. “Позвольте мне, - говорил он, - остаться в вашей хижине до утра; мне известны повеления, к вам относящиеся; я знаю самые причины, побудившие моего отца к такой строгости, и ручаюсь вам, что он не оскорбится подобным нарушением вашего обещания; он даже пришлет меня к вам с благодарностью за ваше великодушие”. Спрингер пожал руку у молодого человека; они оба сели подле печи, а Федора и Елизавета между тем занимались приготовлением к ужину.

Елизавета была одета по обыкновению простых татарок в короткую юбку, внизу видны были лосиные панталоны; волосы лежали в косе на плечах; узкий корсет с пуговицами открывал красоту стана, а засученные до локтя рукава белизну рук; бедный костюм, кажется, более возвышал величественную поступь; все движения были сопровождаемы прелестями, которым Смолов удивлялся с величайшею чувствительностью, и к которым и глаза, и его сердце беспрестанно были прикованы. Елизавета смотрела на него с меньшим удовольствием; в ее взорах все было чисто; ее чувство происходило от признательности за спасение отца и от надежды, которую она полагала на него.

Сам Бог, который испытывает тайны и отдаленнейшие изгибы сердца, не нашел бы в Елизавете ни одного чувства, которого не был бы предметом отец. Во время ужина молодой Смолов сказал, что он в Саимке был только три дня, что волки бегают по всем окрестностям, и что, собравшись, охотники могли бы их истребить. При сих словах Федора побледнела и прижалась к груди своего супруга. “Вы не пойдете, - сказала она, - на сию опасную ловлю; вы не захотите подвергнуть опасности свою жизнь, это единственное богатство, которое мне осталось на земле!” - “Ах, Федора! Что ты говоришь? - отвечал с горестью Спрингер. - Что вам в моей жизни? Без меня испытали ли бы вы сии несчастья? Знаете ли, что могло бы возвратить вам свободу, знаете ли?...” Федора остановила его горестным криком. Елизавета вскочила со своей скамьи, подбежала к отцу и, взяв его за руку, сказала: “Ба-



тюшка! Тебе известно, что, выросши в этом лесу, я не помышляю о другом отечестве; здесь, подле вас, матушка и я, мы обе счастливы; я ручаюсь за ее сердце, как за свое, что без вас ни в какой стороне мы не можем жить, - ни в самом отечестве. - “Слышите ли, г. Смоллов? - сказал Спрингер. - Вы думаете, что сии слова утешают меня, напротив, они, подобно кинжалу, пронзают мое сердце: добродетели, которые должны бы составлять мою радость, приводят меня в отчаяние, когда воображаю, что для меня они будут погребены в сей дикой пустыне, и что для меня Елизавета останется в неизвестности, без любви”. Елизавета прервала его следующими словами: “О, батюшка! Я посреди вас и матушки, а вы говорите, что останусь без любви!” Спрингер с прежнею горестью продолжал: “Никогда не насладишься ты тем удовольствием, которое я нахожу в тебе, никогда не услышишь столь милого голоса дитяти; ты будешь здесь жить без супруга, без семейства, подобно слабой птице, заблудившейся в дремучем лесу. Невинная жертва судьбы: тебе неизвестны радости, которых лишаешься, и я, который не могу тебе дать их, я потерял все!..” В продолжение сей сцены молодой Смоллов несколько раз утирал слезы. Он хотел говорить, но вздохи останавливали его голос; наконец, успокоившись, сказал: “Милостивый государь! Вы должны поверить, что в этой стране, где начальник мой отец, мне известны несчастья; я часто проезжал разные округа его обширной губернии: сколько слез видел я, сколько стонов поражали меня! Я видел, так, я видел в ужасных березовских пустынях несчастных, которые живут без друзей, без семейства; никогда ни не получали нежной ласки, никогда приятное слово не услаждало их сердца, уединенные в мире, отделенные от всего, они несчастны во всем пространстве. - “А когда Небо оставило тебе дочь, - прервала его Федора, говоря тоном упрека и любви, - ты говоришь, что лишился всего; если бы Небо ее похитило у тебя, что сказал бы ты тогда?” Спрингер затрепетал; он взял руку своей дочери и, прижимая ее к сердцу и взглянув на Федору, сказал: “Ах! Чувствую, слишком чувствую, что я еще не всего лишился!”

Когда показался день, молодой Смоллов уже готов был оставить Спрингерово семейство. Елизавета смотрела на него с сожалением, ибо она с нетерпением желала открыть ему свой план и просить у него покровительства; она не нашла ни одной минуты, в которую можно было бы с ним говорить наедине; родители везде следовали за нею, а при них она не хотела изъясниться; оставалась надежда, что он будет часто посещать их хижину, и что тогда она найдет, может быть, лучший случай. И так прощаясь с ним, Елизавета с живостью спросила: “Возвратитесь ли вы к нам? Ах! Обещайте, что этот день не был последним, в который я видела спасителя своего отца”. Спрингер удивился сим словам, особенно тому виду, с которым они были произнесены; тайное беспокойство овладело его сердцем. Он напомнил Елизавете приказания Губернатора и решительно сказал, что в другой раз не нарушит их. Смоллов отвечал, что он надеется выпросить у своего отца исключение для себя, и что он сегодня же возвратится для сего в Тобольск. Но присовокупил: “Прося за самого себя, что мне сказать в вашу пользу? Могу ли иметь счастье служить вам? Какой милости же-

лаете от Губернатора?” - “Никакой”, - отвечал Спрингер с важным видом. Молодой человек печально потупил глаза в землю, потом оборотился к Федоре и повторил ей тот же вопрос. - “Попросите мне и Елизавете, - сказала она, - позволения ходить по воскресеньям в Саимку к обедне”. Смоллов обещался сие исполнить и удалился среди благодарности несчастного семейства и тайного желания Елизаветы, чтобы он скорее возвратился к ним. На пути Смоллов занимался Елизаветою и не имел другой мысли. Сия девица, показавшаяся ему в степи столь прекрасно, сначала поразила его воображение; потом, когда он увидел ее ближе, его сердце совершенно было пленено. Он приводил себе на память малейшие ее слова, ее вид, ее взоры и в особенности то, что слышал от нее при прощании. Может быть, без сей нежной просьбы священное почтение не позволило бы любить ее; но эта живость, с какою Елизавета изъяснила свое нетерпение видеть его в другой раз, сия просьба, которая выражала в ее тоне такую нежность, - это привело его к сладостной мысли, что Елизавета имеет к нему те же чувства. Пламенное воображение представило ему, что встреча в степи происходила не от случая; он почитал ее действием взаимной симпатии; он горел нетерпением читать в сердце подтверждение всего, на что он надеется. Ах! Как далеко он не угадал, что должен прочесть некогда в нем.

Между тем со времени посещения Смоллова Спрингер сделался гораздо мрачнее. Сей молодой человек, столь любезный, столь великодушный, столь неустрашимый, беспрестанно приходил ему на мысль, что он желал бы своей дочери такого супруга; но в то же время его несчастное положение напоминало ему, что он далеко простирает свои надежды, и он не только не желал, но уже начинал бояться возвращения Смоллова в его хижину; ибо Елизавета чувствительна, и это было для него последним пределом несчастья, если бы он увидел, что его дочь получила горестную любовь, не имеющую никакой надежды.

Однажды ввечеру, погруженный в сии размышления, он стоял, опершись локтем на печь и, склонив голову на руку, испускал глубокие вздохи. Федора, взглянув на него, уронила из рук иголку; устремив глаза к небу, она просила у него своему истерзанному сердцу того красноречия, которое способно утешить ее супруга и заставить его забыть свое несчастье. В некотором отдалении Елизавета смотрела на них обоих и утешалась только той мыслью, что, может быть, настанет день, в который прекратятся их слезы. Она была уверена, что Смоллов согласится помочь ей в том намерении, которое она предприняла; тайное предчувствие говорило ей, что сей молодой человек одобрит его и сделается ее покровителем. Но не переставала опасаться противоречия своих родителей и в особенности думала таким образом о своей матери. Однако как предпринять такое путешествие без их согласия, не зная ни их отечества, ни преступления, за которое они томятся? Она чувствовала, что должна открыться им и что уже настало сие время. Преклонив колена, она просила Бога, чтобы дал им сердце выслушать ее; потом приблизилась с робостью к отцу и стала позади него, опершись на спинку стула, на котором он сидел. Минута прошла в молчании. Елизавета ждала, чтобы он первый стал говорить; но, уви-

дев, что он не выходит из задумчивости, она сама начала: “Батюшка! Позвольте вас спросить, когда Смоллов хотел узнать от вас, не имеете ли нужды в его услугах, вы сказали нет; справедливо ли это? - Потому что он не может ничего для нас сделать. - Кто же может помочь вам? - Одно правосудие! - Где же искать его, батюшка? - На небесах, без сомнения; на земле его нет!”

Тут черная горесть свирепее стала грызть его сердце, его лицо сделалось мрачнее; он опять склонил свою голову на руку. После короткого молчания Елизавета опять начала говорить; ее голос был живее:

- Любезные родители! Послушайте: сегодня мне минул семнадцатый год; в этот день я получила от вас жизнь, которая будет мне драгоценнее, если могу вам посвятить ее; в этот день получила от вас сердце, которое в вас любит живой образ Небесного Отца. С самого рождения каждый день моей жизни был ознаменован вашими благодеяниями; я не могла их чувствовать иначе, как в признательности моей к вам и нежности. Но что значит моя признательность, если дела ее не оправдывают? Что в моей нежности, если опытом не докажу ее?.. О любезные родители! Простите мою смелость: ваша дочь хочет для вас сделать один раз в жизни то, что вы делали для нее с самого рождения. Ах! Разделите с ее сердцем тайну ваших несчастий!

- Дочь моя! Чего требуешь от меня? - с живостью прервал ее Спрингер.

- Чтобы вы сказали мне все, что нужно для моего намерения, уверить вас в своей беспредельной любви; Бог видит, для чего спрашиваю об этом. При сих словах она стала на колени перед отцом и с видом ожидания устремила на него глаза. Чувство великое и благородное блистало в ее взорах, несмотря на слезы, которые омрачали их; героизм ее души разливал на ее смиренном лице нечто столь божественное, что Спрингер уже наполовину понял намерения своей дочери. Его дыхание сперлось; он не мог ни говорить, ни плакать: он хранил молчание, был неподвижен, как в присутствии Ангела. Самая полная мера горести не имела столько силы тронуть его сердце, как потрясли его слова Елизаветы. Эта твердая душа, которой не могли устрашить Государи и которая всегда была выше рока, - смягченная голосом милой, добродетельной дочери, тщетно искала силы противиться ее просьбе.

Между тем Спрингер еще хранил молчание; Елисавета лежала у его ног; мать приблизилась к ней, чтобы поднять. Федора не видела, как Елисавета упала на колени перед отцом; она не заметила ни ее движений, ни ее взоров, которые открыли благородную ее тайну; она не знала несчастия, которое угрожало ее нежности. - Для чего, - сказала она своему супругу, - для чего не хочешь поверить ей своих бедствий? Неужели ее молодость устрашает тебя? Неужели думаешь, что ее душа даже до слабости огорчается нашею судьбою? - Нет, - отвечал Спрингер, взглянув пристально на Елизавету. - Нет! Я не боюсь ее слабости. После сего Елизавета не сомневалась более, что отец понял ее; она пожала ему руку, но в молчании, чтобы мать не отгадала ее намерения; ибо она знала ее сердце и не хотела прежде времени нарушить ее покоя. Милосердный Боже! - вскричал Спрингер, - забудь мое роптание; я чув-

ствовал только то, чего лишился; и не умел ценить тех благодеяний, которые Ты определил мне. Елизавета! Ты усладила двенадцать лет моей жестокой ссылки. - Батюшка! - отвечала Елизавета, пусть другие произносят подобные жалобы: вы не говорите, будто нет счастья на земле; скажите, отвечайте, заклинаю вас, скажите мне истинное свое имя, назовите свое отечество, сообщите мне свои несчастья. - Несчастья? Они уже миновали; мое отечество там, где живу с тобою; мое имя - счастливый отец Елизаветы. - О, моя дочь! - сказала Федора, - и так моя любовь к тебе могла еще возвыситься? Ты утешила своего отца! Твердость совершенно оставила Спрингера; он прижал к сердцу Федору и Елизавету и прерывающимся голосом повторял: Милосердный Боже! Прости мне, если я был неблагодарен, не наказывай меня за неблагодарность! Когда сие сильное движение несколько успокоилось, Спрингер сказал Елизавете: “Любезная дочь! Обещаюсь рассказать тебе свои несчастья, но подожди несколько дней, теперь я забыл все”.

Послушная Елизавета не смела принуждать его и с почтением ожидала той минуты, когда он откроет ей свою судьбу, но ожидала тщетно; Спрингер, кажется, боялся ее и избегал ее присутствия; он проник в намерения своей дочери и никакой язык не может изобразить удивления и признательности сего нежного отца. Он чувствовал, что не может отказать ей в подобной просьбе; но столько же чувствовал, что недостает твердости дать свое согласие. Без сомнения это единственное средство, которое подавало надежду освободиться от ссылки и возвратить Елизавете прежнее состояние; но когда он представлял себе неслыханные трудности, все ужасные опасности сего путешествия, то страх колебал все существо его. Он отдал бы свою жизнь за возвращение в отечество и за счастье своего семейства, но как ему расстаться со своею дочерью?

Молчание Спрингера говорило Елизавете, что ей остается предпринять; она уже была уверена, что ее желания известны, что он был тронут ими; но если бы он одобрял их, то мог ли с таким старанием убежать от разговора с нею? В самом деле ее план столь необыкновенный, что родители не могли иначе почитать его, как нежною безрассудностью. Чтобы получить согласие родителей, необходимо нужно было представить им свой план в самом выгодном виде, надобно было уменьшить в нем все препятствия, и уверить в помощи и советах Смоллова, без сего они не станут слушать ее. И так Елизавета решила еще хранить молчание, решила ждать, пока не найдет случая прежде говорить о сем со Смолловым.

Елизавета также предвидела, что одни из главных препятствий родители будут представлять ей; невозможность в ее лета пройти такое ужасное расстояние и притом в климате самом суровом. Чтобы иметь готовый ответ на сие возражение, Елизавета решила каждый день испытывать свои силы в Ишимских степях; никакая погода не удерживала ее; дул ли сильный ветер, наносил ли сугробы снега, скрывал ли густой туман от ее взоров все предметы, Елизавета оставляла хижину и часто против воли родителей, чтобы привыкнуть таким образом к нуждам и терпению, в то же время приучить свою мать к их разлуке.

В Сибири зимой бывают ужасные бури; часто в ту минуту, когда небо ясно и чисто, вдруг ураганы помрачают его. Устремляясь с двух противных сторон, один несетя обремененный холодом Северного моря, другой крутит снег с Каспийского моря; когда они спираются, то тщетно ели им сопротивляются своими крепкими пнями и высокими пирамидальными вершинами, тщетно березы преклоняют к самой земле свои гибкие ветви; все с ужасным треском низвергается; глыбы снега катятся с верху скал, влекомые их быстрым падением, великие льдины разрываются на острых камнях, а ветры, поднимая обломки рассыпающихся гор и поднимая хижины, в бездну падающие, животных, которые не могут более противиться, мечут все в разные стороны и наконец погребают их в сих развалинах.

В одно январское утро Елизавету застигла подобная буря; она была на степи гробниц, неподалеку от часовни. Едва увидела она, что небо начинает темнеть, то немедленно немало укрывается в сем священном убежище; свирепые ветры разбиваются об сие утлое здание и, потрясая его до самого основания, каждую минуту грозят его разрушить. Но Елизавета, склонившись пред образами, не чувствовала никакого страха; и буря, гремевшая вокруг ее, колебала все, кроме ее сердца. Она думала, что ее жизнь еще нужна для избавления родителей, и была уверена, что Бог не даст ей умереть прежде исполнения ее намерений. Сие чувство, которое многие, может быть, назовут суеверным, но которое было ничто другое, как голос небесный, говорящий в ее сердце, - сие чувство давало Елизавете мужество столь спокойное, что посреди хаоса стихий и даже под ударами грома она не могла не предаться усталости, ее обременявшей, и там, где молилась, она уснула, подобно дитяти в объятиях матери или подобно отшельнику, твердо уповающему на защиту Всемогущего.

В этот самый день Смоллов приехал в Саимку, где первая его мысль была посетить наше несчастное семейство. Он привез Федоре желанное позволение, т.е. она и Елизавета были свободны ходить по воскресеньям в Саимскую церковь. Что касается Спрингера, то от двора получены повеления поступать в рассуждении его строже, и тобольский Губернатор позволил сыну увидеть его еще раз, повиновался более своему сердцу, нежели должности. Смоллову надлежало дать клятву, что это посещение будет последним. Смоллов чрезвычайно огорчился сею жестокостью, но, приближаясь к жилищу Елизаветы, нечувствительно его печаль превратилась в радость; не предчувствуя сожаления, что должен оставить ее навеки, он восхищался только тем, что ее увидит. В первой молодости, в первой любви наслаждение настоящим счастьем заключает в себе столько прелестей! Оно столь велико, что затмевает все будущее; тут очарование так наполняет сердце, что страх не имеет более в нем места. Но, вошедши в хижину, Смоллов тщетно искал глазами Елизавету; ее не было, он видел, что, может быть, принужден будет оставить Спрингера, не дождавись Елизаветы, и откровенный молодой человек не мог таить своего горя. Тщетно Федора благословляла руку, которая отворила ей храм и которая спасла жизнь ее супруга; он не трогался нежными знаками признательности. Тщетно

Спрингер называл его щитом несчастных, он не слышал его и, желая говорить о несчастном отце, против воли говорил о его милой дочери. Его смущение открыло половину тайны его сердца; может быть, сия неосторожность сделала его тем любезнее в глазах Федоры. Любовь, предметом которой была Елизавета, льстила ее суетности, - а гордость материнская не бывает ограничена. Спрингер, будучи неприступен для сей нежной слабости и опасаясь только того, чтобы его дочь не приметилась чувства, могущего нарушить ее покой, - просил Смоллова повиноваться своему отцу и скорее оставить несчастное жилище. Молодой человек под разными предлогами медлил. Тут-то раздалась буря, которая заставила Елизаветиных родителей трепетать за свою дочь. - Елизавета! Что теперь будет с милою Елизаветой! - повторяла отчаявшаяся мать. - Спрингер, взявший в молчании свою трость, идет искать ее; Смоллов бросился за ним вслед; ветер свирепствовал со всем ужасом; со всех сторон валились деревья и угрожали опасностью тому, кто ходит в лесу. Спрингер представлял это Смоллову, но тщетно: молодой человек видел опасность, но он видел ее с радостью; он почитал счастьем подвергаться ей для Елизаветы. Любовник с жадностью ищет случая уверить любезную в своей нежности; ему это нужно, когда он не смеет сказать о своей любви. Они оба в лесу. "Куда нам идти?" - спросил Смоллов. - На большую степь, - отвечал Спрингер, - я думаю, что она укройлась в часовне". После сего они не говорят ни слова, одно беспокойство терзает их; они идут с одинаковой неустранимостью, в ином месте прыгая, в другом - наклоняясь, чтобы избежать удара падающих деревьев. Вокруг их носился снег и каменные обломки, носимые бурейю.

Когда они вышли на равнину, то сей опасности миновали; но там, на открытом поле, ветер их метал и не давал им идти; но они все преодолели и достигли маленькой часовни; приблизившись к ней, увидели, что она готова рассыпаться при одном сильном ударе ветра, они трепетали за Елизавету. Смоллов, - страсть любовника сильнее родительской нежности, - бежит вперед, входит первый и видит... ужель это место?.. Он видит Елизавету не в страхе, не бледную, не трепещущую, - он видит ее в объятиях кроткого сна при подножии алтаря. Пораженный увиденным, он останавливается, указывает на нее Спрингеру, не говоря ни слова; они оба падают на колени перед Ангелом, покоящимся под щитом Неба. Отец наклоняется к лицу своей дочери; молодой человек потупляет глаза с кротостью, отступает назад, как будто не смея смотреть вблизи на божественную невинность. Елизавета, пробудившись, узнает отца и бросается в его объятия с криком: - Ах! Я знала, что ты успокоишься обо мне! - Несчастливая дочь! - сказал Спрингер, крепко ее прижимая к своей груди, - в какую горечь повергла ты свою мать и меня! - Батюшка! Простите мне ее слезы и поспешим осушить их. Она встает и видит Смоллова. "Ах! - сказала она с сладостным удивлением, - и так все беспокоились обо мне, все - Бог, родитель и вы!" Тронутый молодой человек едва удержал сердце, стремящееся излиться. "Безрасудная! - отвечал Спрингер, - ты хочешь идти к матери, не воображая, возможно ли это в твоей усталости и при такой буре, от которой и нас

со Смоловым спасло одно чудо!” - “Посмотрите, батюшка, не больше ли я имею сил, нежели вы? Я рада сему опыту; посмотрите, что могу сделать для опечаленной матушки!” При сих словах такое мужество блистало в ее взорах, что в Спрингеровой душе в ту же минуту возобновились намерения Елизаветы: она подала одну руку отцу, другую Смолову; они оба поддерживают ее, оба прикрывают ее голову своими плащами... Ах! В эти минуты был приятен гром и свист ветров, колеблющих Елизавету и заставляющих ее прижиматься к нему. Он не заботится о своей жизни; он тысячу раз пожертвовал бы ею, чтобы продолжить сие упоение; он спокоен в рассуждении Елизаветиной жизни, ибо чувствует силу спасти ее от всего: воспламененное сердце почитает себя выше всего.

Между тем свирепость неба слабеет; облака теряют ужасную свою быстроту и становятся реже; ветер утихает; сердце Спрингера бьется спокойнее, но у Смолова оно терзается: ибо Елизавета берет от него руку и хочет идти одна; она хочет в глазах своего родителя презирать остатки бури, которая еще волнует воздух; она хочет уверить его, что может отважиться искать помилования, хотя бы ей должно было идти для сего на другой край света.

Федора приняла их всех трех в свои объятия, благодаря Бога, спасшего их, и просит свою дочь забыть слезы, которых она была причиною; она сушит обмоченное ею платье, снимает с нее сапоги и чешет ей волосы. Сии попечения материнские, столь простые и столь нежные очень тронули Смолова; он чувствовал, что, любя Елисавету, нельзя не полюбить ее матери, и что счастье владеть сею девицею неразлучно должно быть со счастьем столь же великим - быть сыном Федоры.

Буря прошла совершенно, небо было ясно, и приближалась ночь. Спрингер, пожав руку у Смолова с горестным и нежным чувством, напомнил ему, что уже пора им расстаться. Елизавета узнала, что это посещение было последнее: ее щеки покрылись румянцем, и она пришла в замешательство. - Как? - спросила она, - я не увижу вас более? - Ах! - отвечал с живостью Смолов, - пока я свободен и пока сия пустыня будет заключать вас, я не оставлю Саимку, буду видеться с вами в церкви, когда придете вы к обеду; буду видеться в лесу, на степи, на берегах реки, везде буду видеться с вами... Он вдруг останавливается, сам удивляется тому, что происходит в его сердце и что он говорит; но Елисавета не понимала его; в его словах она видела только надежду, что может сообщить ему свои намерения, и провожает его с меньшим сожалением.

Когда пришло воскресенье, Елизавета и Федора поутру рано начали приготавливаться идти в Саимку; Спрингер прощался с ними в некотором беспокойстве, ибо еще в первый раз за все время ссылки расстался с ними; но он умел скрыть от них свою чувствительность и благословлял их в глубине души, препоручая их воле Бога, Которому они пошли помолиться в часовне.

Время было прекрасно, дорога показалась им недалекою; молодая крестьянка из татарок провожала их через лес до самой деревни Саимки. При входе в церковь они обратили на себя взоры всех, но их взоры обращены были к одному Богу.

Движимые равным благочестием, склонив головы, приблизились они к образам, повергшись перед ними с благоговением, произнося одни и те же молитвы за одного и того же человека; и если молитвы Елизаветы были гораздо продолжительнее молитв ее матери, то Бог не менее им внимал.

Во все продолжение церковной службы прекрасная Елизавета не снимала с себя покрывала; мысль о Боге и о ее отце наполняла всю ее душу - о Боге, от которого она ожидала единственной помощи. Духовные гимны, восплаемые Божеству, произвели в ней сильное, чрезвычайное впечатление. Она никогда не слыхала ничего подобного; она, казалось, видит отверзтые небеса и самого Бога, посылающего своего Ангела для показания ей пути. Это видение кончилось вместе с духовною музыкой; тогда Елизавета приподняла голову, и первый предмет, встретившийся ее глазам, был молодой Смолов, который, прислонившись к столбу, стоял в нескольких шагах, смотря на нее с нежной выразительностью. Елизавета подумала, что видит Ангела, недавно обещанного Богом, - Ангела, который должен ей помочь освободить ее отца; она смотрела на него с живейшею признательностью. Смолов сим был тронут; взоры ее, казалось, были согласны с чувством его сердца; он чувствовал также признательность к счастью, которым наслаждался, видя Елизавету и воображая ее к себе любовь.

Выходя из церкви, Смолов предложил Федоре проводить ее на своей повозке до самого леса. Она приняла с радостью такое предложение, потому что скорее могла увидеть своего супруга; но Елизавета была весьма недовольна. Идучи пешком, она надеялась выбрать минуту, поговорить наедине со Смоловым: в повозке сего сделать было невозможно. Могла ли она открыться при матери, которая, не имевши никакого понятия о предпрятии своей дочери, отвергла бы его с ужасом, запретив молодому человеку способствовать исполнению его? Несмотря на сие, Елизавета не хотела лишиться этого благоприятного случая, и, может быть, единственного, открыть свое намерение Смолову. Замешательство и неизвестность волновали ее душу, между тем повозка уже приближалась к лесу; Смолов сам напомнил, что не может далее ехать. Однако, не хотя столь поспешно оставить Елизавету, проехал он до берегов озера; тут надлежало ему остановиться. Федора первая вышла из повозки; Смолов, подавая ей руку, сказал: “Не будете ли вы когда-нибудь здесь прогуливаться?” Елизавета, выходя после своей матери, отвечала тихо прерывающимся голосом: “Не здесь, а завтра, завтра близ часовни, стоящей в долине”. Елизавета, назначая место свидания, не имела никакого понятия о предмете оно; она думала, что говорила только о своем отце, и приметя в глазах Смолова согласие на ее предложение, тихая радость заблестала в ее собственных.

Между тем как она с матерью пошла к своей хижине, Смолов возвращался лесом один, погруженный в самые сладостные мечтания.

После слов, которые недавно произнесла Елизавета, мог ли он сомневаться в ее к нему любви, не восхищаться своим счастьем? Она прелестнее всех красавиц, которые встречались ему в жизни: она набожна, он видел ее с благоговением стоящую пред Богом; она чувстви-

тельна, он знал привязанность ее к родителям; имея столь нежное сердце, неужели она не могла быть тронута человеком, которому обязана жизнью своего отца? Неужели, будучи откровенна и простосердечна, какой надлежало быть девушке, воспитывающейся в пустыне, она могла иметь искусство скрывать свои чувства? - Смолова привело в удивление только то, что Елизавета решилась тайно от своих родителей иметь с ним свидание; - впрочем, такое забвение ему понравилось, он приписывал его сильному впечатлению страсти. Ах! Это справедливо, Елизавета в самом деле давно уже питала сию одну страсть в своем сердце.

На другой день приходит она к часовне с робостью, которую производит отважный поступок, но с тихим спокойствием невинности. Она шла гораздо легче, гораздо быстрее обыкновенного; это были первые шаги к освобождению ее отца. Солнце бросало свои лучи на снежную долину; в тысячах льдинах, висевших на деревьях в разных видах; в разных зеркалах, изборажался прелестный ее образ: но эта божественная, совершенная красота не могла равняться с чистотою сердца Елизаветы. Наконец она входит в часовню; Смолова там нет. Такая медленность встревожила ее; черное облако печали помрачило ее прекрасное лицо. Ах! Не тщеславие, не любовь привели туда Елизавету; в эту минуту никакая слабость, никакая страсть не могли овладеть ею; она одно боялась - боялась, чтобы нечаянный случай, непредвиденное обстоятельство не остановили человека, которого она ожидала. Смущенная в своих мыслях, Елизавета молит Бога о прекращении мучительной неизвестности. В эту самую минуту является Смолов; он удивился, видя себя упрежденным, несмотря на всю его поспешность. Нет сомнения, что мы быстро стремимся к предмету, когда нас влечет к нему страсть; но Елизавета доказала в этот день, что добродетель стремится гораздо быстрее к исполнению своих обязанностей.

Увидев Смолова, Елизавета поднимает глаза и руки к небу, потом, обращаясь к нему, сказала с нежною и трогательною ласкою: - "Ах! Милостивый государь, с какою нетерпеливостью я вас здесь ожидала!" Сии слова, трогательность взглядов, место свидания, точность, с которою она исполнила данное слово, - все уверяло молодого человека в ее к нему любви. Он начинает изъяснять свою любовь, но Елизавета, не давая ему времени, вскричала: "Выслушайте меня, г-н Смолов! Мне нужна ваша помощь, чтобы спасти моего отца. Обещайте мне ее!..." Сии слова расстроили молодого человека: в замешательстве и со стыдом он скрывает свою ошибку; но это не уменьшило его любви к Елизавете. Он падает на колени не перед Богом, как думала Елизавета, нет - это пред нею, и клянется быть послушным. Елизавета продолжала: "С того времени, как я стала себя понимать, все мои мысли заняты были родителями; их любовь была единственным моим сокровищем; их благополучие - цель всей моей жизни. Они несчастны! Бог призывает меня к ним на помощь; Бог послал тебя сюда разделить судьбу со мною. Г-н Смолов! Я хочу идти в Петербург, просить прощения моему родителю". Тут Смолов сделал движение, показывающее удивление и как бы не одобряющее сего предприятия. Елизавета тотчас начинает опять говорить: "Я не могу сказать, с которого времени сия мысль

поселилась в моей душе; кажется, что я получила ее вместе с жизнью и впитала с молоком моей матери. Она первая приходит мне на память и никогда не выходит из головы: сплю ли, пробуждаюсь ли. Всегда думаю об одном; находясь с тобою, ею одной занимаюсь. Сия мысль заставляет меня презирать все беспокойства, бедность, оскорбление и саму смерть; она произведет во мне непокорность к моим родителям, если они захотят меня удержать. Вы видите, г-н Смолов, что бесполезно противиться мне, и что подобная решимость не может поколебаться".

После сего исчезли все лестные надежды молодого человека; чувство удивления заступило их место, и героизм нежной дочери заставил его пролить слезы, может быть, столь же сладостные, как и слезы любви. - Ах! Как я счастлив, - сказал он ей, - что ты признала меня достойным своей доверенности, избрала своим помощником! Но тебе неизвестны все те препятствия... - Два препятствия только меня беспокоят, - прервала Елизавета, - которые, может быть, ты один в состоянии отворотить. - Говори, говори, - сказал ей Смолов, желая с нетерпением повиноваться, - я готов исполнить все то, чего от меня ни потребуешь. - Вот препятствия, - отвечала Елизавета, - я не знаю дороги, по которой мне должно идти; не могу быть уверена, что мое отсутствие не причинит никакого вреда моему отцу; итак ты должен показать мне дорогу, города, на ней находящиеся, гостеприимные дома, в которых могла бы найти убежище для своей бедности; самое верное средство доставить просьбу в руки Государя. Но прежде всего ты должен меня ободрить, что твой отец не будет наказывать моего батюшку за побег, мною сделанный. Смолов ободрил. - Но знаешь ли, - спросил он, - Елизавета, до какой степени разгневан Император против твоего отца; знаешь ли, что он почитает его жесточайшим своим врагом? - Я не знаю, - отвечала она, - какое преступление сделал мой отец, мне неизвестно ни подлинное его имя, ни отечество; я знаю только одно то, что он невинен. - Как! Ты не знаешь ни достоинства, ни имени своего отца! - Нет, не знаю. - О, дочь, достойная удивления! Твое пожертвование не основывается на гордости, на тщеславии; ты, помышляя о своих родителях, решилась быть избавительницею того, который тебе совсем неизвестен. Что значит высота твоего происхождения пред высотой твоей души? Что значит пред благородством твоих чувствований имя... - Остановись! - прервала с живостью Елизавета, - это тайна моего отца, и я должна узнать ее от него самого. - Она говорит правду, - сказал в энтузиазме Смолов. - Для нее не довольно того, чтобы поступать хорошо, когда она в состоянии поступать гораздо лучше. Елизавета спросила Смолова, когда он сообщит сведения, нужные для ее дороги. - Я об этом постараюсь; но можешь ли ты перейти 3500 верст, которые лежат между Ишимским уездом и С.-Петербургскою губернией? "Ах! - вскричала Елизавета, повергаясь пред образами. - Тот, который посылает меня на помощь моим родителям, даст мне силы". Смолов, помолчав несколько со слезами на глазах, сказал: "Нельзя думать о подобном предприятии, пока не настанет хорошее время; теперь невозможно привести его в действо; теперь наступило время, в которое дороги скоро испортятся, теперь ты потонешь во влажных лесах Сибири. Через

несколько дней я с тобой увижусь, милая Елизавета, тогда узнаешь мои мысли о сем предприятии; теперь, чувствуя сильное волнение в душе, не могу судить о нем. Я поеду в Тобольск и переговорю с моим батюшкой. Батюшка мой самый чувствительный человек: число несчастных увеличилось бы гораздо больше, если бы он не был здесь начальником; великодушие любезно его сердцу. Впрочем, он не волен тебе помочь, его должность удерживает от того; но я клянусь, что твой отец не будет им наказан за то, что произвел на свет столь добродетельную дочь; ах! напротив того, мой отец возгордился бы тем, если бы мог назвать тебя своею... Прости мне, Елизавета; мои чувства против воли обнаруживаются; я знаю, что никакое другое чувство не может иметь места в твоём сердце, кроме того, которое его наполняет; и так я ничего не ожидаю, ни на что не надеюсь, ни о чем тебя не прошу; вспомни только, если настанет то благополучное время, когда твои родители, возвращенные в свое отечество, будут счастливы и ты спокойна, вспомни тогда, что Смолов в этих степях тебя увидел, почувствовал к тебе любовь и, обожая Елизавету, дочь одного изгнанца, предпочел бы уединенную, бедную жизнь всем блестящим достоинствам, которые мог бы ему доставить свет. Смолов не мог продолжать далее, слезы прервали его голос; он сам удивлялся столь необыкновенному движению сердца; он никогда еще не был столь слабым, но никогда еще и не любил.

Елизавета была неподвижна; мысль о другой любви, а не к родителям, показалась ей столь необыкновенною, что едва могла ее понять; может быть, она казалась бы меньше странною, если бы в ее сердце оставалось для нее место; может быть, она почувствовала бы любовь к Смолову, если бы ее родители наслаждались счастьем, и, может быть, она почувствует ее, когда в самом деле они будут им наслаждаться: но пока несчастье будет их сопровождать, Елизавета не изменит священной к ним любви. Человеческое сердце, сколь ни обширно в своих желаниях, не может однако же вмещать в себя двух равно сильных страстей.

Елизавета никогда не жила в свете, она не знала его обыкновений и благопристойностей; несмотря на это, некоторая стыдливость, которую можно почесть инстинктом добродетели, внушила ей, что молодая девушка не должна оставаться одна с молодым мужчиной, дерзнувшем открыть перед нею свою страсть. Она подходит к дверям, намереваясь уйти. Смолов, приметив ее намерение, сказал: Елизавета! Неужели я оскорбил тебя? Ах! Бог, который здесь присутствует, - Бог свидетель, что мое сердце, если пылает любовью, тем не меньше чувствует к тебе почтение; я могу, если велишь, молчать и умереть: чем же, милая Елизавета, мог я тебя оскорбить? - Ничем, - отвечала она с ласковым видом, - я пришла сюда поговорить с тобой о пользе своих родителей, теперь, кончивши все, спешу к ним возвратиться. - Великодушная дочь! Спешу к своей обязанности; я достоин тебя; ты разделяешь ее со мною; не только никогда не подумаю отвлекать тебя от нее, но все мои мысли будут обращены на то, чтобы помогать тебе исполнить этот священный долг.

В следующее воскресенье, в Саимской церкви, Смолов обещался доставить Елизавете все нужные сведения и замечания для приведения в действие ее предприятия. Тут они расстались.

Наступило воскресенье. Елизавета с радостью пошла вместе с матерью в Саимку, желая нетерпеливо видеть Смолова и получить от него все наставления, которые могли быть полезны во время ее пути. Обедня оканчивается, а Смолова нет. Елизавета беспокоится. Когда мать ее еще молилась, она спросила у одной старушки, в церкви ли г-н Смолов? "Нет, он уехал два дня тому в Тобольск", - отвечала старушка. Эти слова повергли Елизавету в глубокую печаль; предмет милых ее желаний, казалось, всегда удаляется от нее по мере ее к нему приближения. Тысячи ужасных беспокойств тревожили ее: если Смолов, выезжая из Саимки, забыл свое обещание, то кто поручится, что он вспомнит о нем в Тобольске? Эта мысль терзала Елизавету день и ночь. Отягченная горестью тем несноснейшею, что одна должна была переносить всю ее тяжесть и скрывать всячески от своих родителей, она заранее удалась в маленькую свою спальню, чтобы предаться беспокойству, ее терзавшему.

Как скоро она вышла, Федора, склонив свою голову на грудь супруга, сказала: "Почувствуй беспокойство, которое тяготит мое сердце! Не приметил ли ты перемены в нашей Елизавете? Подле нас она сидит в задумчивости; при имени Смолова ее лицо покрывается румянцем, его отсутствие ее беспокоит; ныне поутру она совсем не молилась в церкви, ее глаза блуждали во все стороны; она спрашивала у меня, в Саимке ли Смолов? При слове своем он уехал в Тобольск, она побледнела, как смерть. О, милый мой! Я помню, что в те дни, когда я не была еще твоею счастливою супругой, точно таким же образом мои щеки краснели при твоём имени; точно так же мои взоры искали тебя повсюду, и я плакала, когда они не встречали тебя... Ах! Могу ли без ужаса видеть те же признаки любви в душе моей дочери: ей не судили небеса быть счастливою, подобно матери. - Ты счастлива, - прервал ее с горестью Спрингер, - ты счастлива в пустыне, в ссылке? - Так, я счастлива и в пустыне, в ссылке, во всяком месте, где любовь может жить..." Она обвила руками его шею и прижимала его к сердцу.

Но тотчас, возвратившись к прежней мысли, которая занимала ее, она продолжала: "Боюсь, чтобы Елизавета не любила Смолова больше, нежели спасителя своего отца. Хотя бы она обладала всеми прелестями своего пола, но молодой Смолов всегда будет смотреть на нее как на дочь бедного изгнанника; он презрит ее, и моя единственная дочь умрет с сею любовью". Она заливалась слезами, и вид супруга, который утешал ее во всем, не мог ее утешить в несчастье ее дочери. Спрингер предался на минуту размышлению, потом отвечал: - Милая Федора! Умерь свой страх, я столько же старался узнать свою Елизавету; может быть, я видел ее душу даже прежде твоего. Ее занимает мысль другая, очень далекая от Смолова, я уверен в этом; я уверен также, что если бы мы захотели отдать ее руку сему молодому человеку, он не отверг бы ее, несмотря на наше несчастье, - это чувство сделало бы его достойным нашей дочери, если бы... Нет! Елизавета не останется навсегда в сей пустыне; она не останется в неизвестности, она не будет несчастна, это невозможно! Такие добродетели на земле предвещают правосудие Неба, которое рано или поздно благословит их.

Со времени своего изгнания Спрингер в первый только раз не отчаивался в будущем. Федора, ощутив самые сладостные его предчувствия, положила на слова своего супруга и спокойно на руках его заснула.

Елизавета два месяца кряду каждое воскресенье ходила на Саимку, всегда надеясь найти Смолова; но надежда ее была напрасна - Смолов больше там не являлся; Смолова уже, как она после узнала, не было и в Тобольске. С этого времени Елизавета всю надежду потеряла получить успех в предприятии своем. Она вообразила, что Смолов ее забыл, и в сей мысли не один раз заливалась горькими слезами. Самая непорочнейшая невинность не могла бы ее упрекнуть в сих слезах: ибо источник их был не любовь, но другие благороднейшие, другие священнейшие чувства. В конце апреля солнце, с большою блистательностью сияя над холодным сибирским горизонтом, растопило и последний зимний снег. В это время острова начали покрываться нежною зеленью; тамошние сосны распускали большие белые листья, подобно пушистым ключьям нового зимнего снега; колокольчик развивался в бледно-лазоревых почках; полевая горчица пускала свои листочки в виде копытец, а мягкий чернобыльник, подобно хлопчатой бумаге, расстилался во всей красоте по кустарникам. В это время тучи черных скворцов стадами садились на деревья и первым радостным чириканьем своим прерывали печальное молчание зимы. Прекрасные персидские утки, цветом своим похожие на алую розу, с черными носами и хохолками на голове, везде летали по берегам реки; везде, убивают ли их из ружья, спасаются ли от смертоносного его выстрела, везде они поднимают пронзительные крики. Везде по болотам, по ростам, тростникам уже видели всякого рода бекасов, иных черных с желтыми носами, других долгоногих, у которых ноги все в перьях. Все, все в это время, казалось, возвещало в Сибири раннюю весну, и Елизавета, предчувствуя во всем пространстве, чего бы она лишилась, если бы пропустила время, столь благоприятствующее ее путешествию, отважно решилась исполнить свое предприятие, и в успехе его надеялась только на себя и на одного Бога.

В одно утро Спрингер занимался обработыванием своего сада; Елизавета, сидя близ его, смотрела на него в молчании. Спрингер до сего времени еще не объявлял ей причины своего несчастья, и она больше не любопытствовала об ней; - в душе ее родилась благородная гордость - она по внушению ее хотела узнать несчастье не прежде своего отъезда, она хотела услышать историю, чего они лишились, в ту минуту, когда могла им сказать: я иду все вам возвратить!

До сего времени она полагалась только на одни обещания Смолова и на них одних основывала свои надежды; но с сими надеждами она питала в душе своей другие, которые одни только могли заставить ее говорить не прежде, нежели начала свой разговор; она в мыслях своих представляет все возражения, которые ей будут делать, все препятствия, которые ей скажут. Она знала, сколь препятствия сии страшны: Смолов это ей сказал. Она была уверена, что нежность ее родителей еще больше их увеличит. - Что ей отвечать на их страхи, на их повеле-

ния, на их просьбы? Что отвечать ей, когда они скажут, что веселье и приятности отечества для них ничего не значат в сравнении ее разлуки и ее оставления своих родных? Елизавета в сих мыслях забывает, что ее отец стоит возле нее; она вся в слезах падает на колени и просит у Бога нужного ей красноречия для убеждения своих родителей. Спрингер, услышав, что она плачет, оборачивается, бежит к ней, прижимает к своей груди и говорит: - Елизавета! Что с тобой сделалось? Чего тебе хочется? Ах! Если сердце твое раздирается от горести, по крайней мере ты плачь в объятиях своего отца. - Батюшка! - отвечала она, - не держите меня здесь; вы знаете, что я хочу идти, позвольте мне исполнить свое намерение, я чувствую, что сам Бог меня призывает к сей священной должности. Елизавета от горести и слез не могла больше продолжать. Тут вдруг молодая татарка прибежала к Елизавете и кричит: "Вот г-н Смолов! Вот Смолов!" Елизавета при имени Смолова поднимает радостные крики, прижимает руки отца к своей груди и говорит ему: "Батюшка! Вы видите, видите - сам Бог меня зовет! Он посылает человека, могущего мне показать все пути, теперь для меня нет больше никаких препятствий. Батюшка! Ваша счастливая дочь снимает с вас цепи". Тут, не дожидаясь от него ответа, она побежала навстречу Смолову; встречается со своей матерью, прижимает ее к своему сердцу, ведет ее и с сердцем, полным радости, вскрикивает: "Матушка! Подите, приехал Смолов, Смолов здесь!" Они, вошедши в комнату свою, находят в ней человека лет пятидесяти, одетого в мундир, и при нем многих офицеров. Мать и дочь в удивлении останавливаются. Вот г-н Смолов! - говорит им молодая татарка. При сих словах все надежды снова оставили Елизавету, - она бледнеет, глаза ее наполняются слезами. Федора, пораженная сею неожиданной сценой, подходит к своей дочери и садится против нее, чтобы не видели ее замешательства. Федора думала, как бы она была счастлива, если бы дочь свою могла избавить от пагубной страсти, которою она, по мнению ее, горела к Смолову.

Тобольский Губернатор приказал удалиться свите, сопровождавшей его. В минуту, как он остался один с несчастным семейством, обратился к Спрингеру и начал ему говорить: "Государь мой! Со времени, как Российский Двор отправил меня сюда, я в другой раз только осматриваю этот дальний округ, - эту обязанность я почитаю самую приятнейшею, ибо она доставила мне случай показать вам все участие, какое я принимаю в несчастье вашем. Мне больно, очень больно, что сия же самая обязанность не велит мне вам помочь, и сколько можно вам покровительствовать". "Государь мой! Я от людей ничего не ожидаю, - прервал его с холодным духом Спрингер, - я не хочу того, чтобы они обо мне сожалели и не надеюсь от них правосудия. Я очень счастлив тем, что меня в сии места удалили от себя: здесь, в сей пустыне, я проведу остаток дней моих, нимало не жалуясь на них". "Ах! - отвечал губернатор с нежной чувствительностью, - как жить такому человеку, как вы, в таком удалении от своего отечества?" "Это страшное определение, Ваше Превосходительство, еще страшнее умереть в таком отдалении от него. Тут Спрингер не мог больше говорить; если бы он промолвил хоть одно слово, может быть, из глаз его полились бы слезы

ручьями: изгнанец не хотел показать, что несчастье выше его духа. Елизавета, скрывшись за свою мать, с робостью смотрела ей через плечо на вид и физиономию Губернатора; смотря так на него, она хотела узнать, можно ли ей открыться ему в своем намерении. Елизавета в эту минуту походила на робкую голубку, которая прежде нежели выходить из гнезда, высовывает свою голову из-под перьев и долго смотрит, обещает ли ей ясность неба день веселый.

Губернатор ее заметил: он ее узнал; сын его часто ему говорил о ней - описание его точно ему показало Елизавету. “Сударыня! - сказал он ей, - мой сын вас знал; он вас помнит и никогда не забудет”. “Сказал ли он вам, как он спас жизнь ее отца? - с торопливостью прервала его Федора. “Нет, сударыня, - отвечал губернатор, - он только мне говорил, как ваша дочь подвергала жизнь свою опасности за своего отца и за вас”. “Так это правда, - отвечал Спрингер, - и эта ее к нам любовь есть единственное добро, которого никогда не могут нас лишить люди”. Губернатора эти слова тронули до глубины души; он отвернулся и после некоторого молчания начал говорить с Елизаветою: “Сударыня! Уже два месяца, как сын мой в бытность свою в Саимке получил от государя повеление в скорейшем времени отправиться в армию, собирающуюся в Лифляндии: надобно было повиноваться без всякой отсрочки. Прежде нежели с ним я расстался, он просил меня отправить к вам одно письмо: этого сделать я никак не мог, не мог доверить его никому, не подвергнув себя опасности; поэтому я решился сам вам его доставить - вот оно”. Елизавета, покрасневшись, его взяла; Губернатор, увидев при сем удивление ее родителей, вскричал: “Счастлив отец, счастлива мать, дочь которых скрывает только подобные тайны!” Тут он позвал к себе свою свиту и пред нею сказал Спрингеру: “Государь мой! Я имею повеление от Императора, чтобы вы здесь никого не принимали; но до меня дошли сведения, что бедные миссионеры, возвращаясь с китайских границ, должны непременно проходить чрез сии горы; если они будут стучаться у вашей хижины и просить гостеприимства, то вам будет позволено их принимать”.

Когда губернатор уехал, Елизавета стояла, потупив глаза в землю, смотря на письмо и не смея его развернуть. “Милая моя дочь! - сказал ей Спрингер, - если ты ожидаешь позволения от матери и от меня его прочесть, мы тебе его даем”. При сих словах Елизавета дрожащими руками распечатала письмо и прочитала его про себя; несколько раз отец и мать слышали ее радостные восклицания. Наконец, не могши больше владеть собою, она бросилась в объятия к своим родителям. “Пришло время, - сказала она им, - теперь все благоприятствует моему намерению!”

Провидение открывает мне путь надежный, Небо само благословляет мои намерения. Милые мои родители! Неужели вы не одобрите их? Неужели не благословите их, подобно небесному общему нашему Отцу? При сих словах Спрингер вздохнул, ибо он понимал, что они значат: но Федора, которая ничего не знала, просила Елизавету открыть ей свою тайну и что написана в бумаге. Она сделала было уже движение, чтобы ее до сего не допустить: “Милая моя матушка! - сказала она ей. - Простите меня, я боюсь говорить в присутствии вашем, вы нимало не

отгадали: ваша горесть меня беспокоит; теперь это единственное для меня препятствие - единственное препятствие, которого я боюсь... Ах! Позвольте мне открыться одному моему батюшке; вы еще не приготовлены, так как он”. “Нет, дочь моя! - прервал ее Спрингер, - не делай ты того, чего не могли с нами сделать изгнание и несчастья; не разлучай ты нас. Поди сюда, милая моя Федора! Поди, приблизься к моему сердцу; если тебе нужны силы выслушать слова нашей дочери, то это сердце их тебе даст”. Федора в замешательстве, видя себя как бы угрожаемо страшным поражением грома, вскричала с ужасом: “Станислав! Что это значит? Не все ли наши несчастья я переносила терпеливо? Так великодушные всегда останутся со мною, - примолвила она, прижав крепко к сердцу своему супруга и дочь свою, - оно меня никогда не оставит - никакое несчастье не может быть выше мужества моей души...” Елизавета хотела было отвечать, но мать ей не позволила: “Милая моя дочь! - сказала она трогательным голосом, - проси моей жизни - я готова ею для тебя пожертвовать; но не проси ты у меня позволения оставить нас”. Эти слова показывали, что она все поняла - нечего было ей говорить. Елизавета, заливаясь слезами и видя мать свою в такой горести, ничего не могла больше сказать, задушаясь вздохами, кроме сих слов: “Матушка! Если я у вас попрошу несколько дней для благополучия моего батюшки?” “Нет, ни одного дня, - прервала ее огорченная мать, - я присутствия твоего со мною не променяю ни на какое лестное счастье, - нет, ни одного дня не проси. Бог мой! Отврати ее мысли от ее намерения!” Эти слова поколебали весь дух Елизаветы. Будучи не в состоянии произнести того, что должно столько огорчить ее мать, она в молчании отдает отцу своему письмо от тобольского губернатора и делает ему движением знак, чтобы он его прочел. Спрингер в это время прижал свою жену к груди и сказал ей: “Милая моя Федора! Надейся на меня - я всегда буду твоим утешением и твоею защитою”. После, собравшись с духом, начал вслух читать следующее письмо, писанное из Тобольска молодым Смолыным:

“Милостивая государыня! С горестью я оставил Саимку. Больно было сердцу моему, что я не мог вас уведомить о необходимой моей с вами разлуке. Я не мог к вам приехать, не мог написать, ни послать к вам изъяснений, вами от меня требуемых; я боялся прогневать батюшку, боялся навлечь на него неудовольствие высшего начальства. Может быть, несмотря на это, я все поступил бы вопреки его воле, если бы не имел пред глазами примера... Я знаю, сколько вы слушаетесь вашего батюшки: смотря на вас и уважая ваш характер, могу ли я не повиноваться своему? Но признаюсь вам, я не столько люблю свою обязанность, сколько вам. Я возвратился в Тобольск с растерзанным сердцем. Здесь батюшка мне объявил волю императора: отправиться отсюда за тысячу миль. - Итак, милая моя Елизавета! Повинуйся судьбе - я еду. Вы не можете знать, не можете представить себе моих страданий, и дай Бог, чтобы вы их никогда не знали. Бог тогда только будет справедливым, когда вы будете счастливы!

Я открылся моему батюшке и рассказал ему о вас. У него ручьями слезы полились, когда он услышал от меня о вашем намерении. Он



хочет вас видеть, и я уверен, что он нарочно поедет осматривать Ишимский округ, и если можно будет, доставит вам это письмо. Милая моя Елизавета! Я теперь отправлюсь отсюда со спокойным духом, ибо я вас оставляю под покровительством моего батюшки; но заклинаю вас, не пускайтесь в путь до моего отъезда: я надеюсь возвратиться в Тобольск прежде году - я буду вашим путеводителем в Петербург, я вас представлю Государю, и буду охранять во время долговременного пути. Не бойтесь моей любви; я не стану вам больше о ней говорить. Я буду вашим другом и братом, и если стану вам служить, то заклинаю вас говорить со мной языком, каким говорит невинность, каким говорят ангелы, каким вы говорили со мною прежде”.

Внизу сего письма был написан постскриптум собственною рукою губернатора:

“Нет, милостивая государыня, вы не должны отправляться в путь с моим сыном. Я уверен в его честности, но вашу честь не должно омрачать никакое подозрение. Вы хотите отправиться в Петербург, чтобы защитить невинность; вам там не должно говорить, что вашим путеводителем во всем был ваш любовник; вы не должны помрачить блеск вашей нежной к родителям любви, которою всяк может гордиться в таком несчастном положении. Достоинейшие покровители вашей невинности суть один только Бог и ваш батюшка. Батюшка не может вам следовать, но Бог вас не оставит - религия в пути будет и вашим вождем и подпорою; предайтесь ей во всем совершенно. Вы знаете о моем позволении пускать к себе в хижину бедных миссионеров. Вручая вам эту бумагу, я надеюсь на вашу скромность; надеюсь, что вы меня бережете. Если об этом письме кто узнает, если только кто станет подозревать, что я способствовал вашему отъезду: то я уже погиб. Но я не беспокоюсь, я знаю, к кому я имею такую доверенность, знаю, чего должно ожидать от мужества и великодушия дочери, которая готова жизнью своей пожертвовать для своего отца.

По окончании чтения письма, Спрингер несколько ободрился, он с гордостью смотрел на добродетели своей дочери и уважение, какое ей оказывают. Но мысли нежной матери совсем другим были заняты: она думала только об отъезде ее, она смотрела на дочь свою, поднимала глаза на небо и не могла плакать от стеснения сердца. Елизавета стала пред родителями своими на колени и сказала им: “Милые мои! Позвольте мне с вами говорить; позвольте мне в этом покорном положении попросить у вас величайшего для меня счастья: я смею надеяться возвратить вам свободу, возвратить счастье и отечество. Более уже года, как питаюсь сею приятнейшею надеждою; позвольте мне исполнить мое доброе намерение. Если есть добро выше того, которого я у вас прошу, то откажите вы мне в нем, я согласна; но если нет, то...” В эту минуту последние слова замерли на устах Елизаветы; она не могла больше говорить и просьбу свою окончила обнятием колен своих родителей. Спрингер положил свои руки на голову Елизаветы, и не мог произнести над нею ни одного слова. Мать тут вскричала: “Одна? Пешком? Без помощи других? Нет! Я не могу, не могу тебе дать своего благословения”. “Матушка! - с живостью отвечала Елизавета, - зак-

линаю вас, не отвергните моего прошения! Если бы вы знали, с какого времени я решилась... Лишь только начала понимать себя и чувствовать ваши несчастья, я уже положила избавить вас от них, хотя б это стоило моей жизни. Счастлив тот день, в который я обещалась служить моему батюшке! Счастлива я, получив такую благородную мысль! Много раз я была свидетельницею сердечной горести и, может быть, печаль моя меня убила бы, если бы я не имела приятной надежды возвратить вам прежнее спокойствие. Милые мои родители! Если вы лишите меня сей надежды, вы лишите дочь свою жизни; без надежды ваша дочь не будет знать цели своего существования, и она в горестной печали кончит дни свои... Простите меня, если я вас огорчаю, нет, я не умру, хотя бы вы меня и не отпустили: ибо смерть моя причинит вам еще большую горесть. Милые родители! Позвольте мне быть счастливою, не говорите того, что предприятие мое невозможно, - нет, я его исполню! Сердце мое за это ручается; оно найдет силы просить правосудие, найдет слова его получить; оно не боится ничего, ни трудов, ни препятствий, ни презрения, ни Двора, ни царей, оно только боится вашего отказа...” “Оставь, оставь, Елизавета! - прервал ее Спрингер, - я уже себя в самом себе не узнаю: ты поколебала мой дух; до сего времени я не боялся никакого благородного дела, никакая добродетель не казалась выше мужества моей души... Я не воображал слабость свою, но ты, милая моя дочь, во мне ее открыла. Нет! Я не могу согласиться на твое желание”. Федора, ободрившись, слыша сей отказ дочери, взяла ее руки в свои и сказала ей: “Послушай, моя Елизавета! Если отец твой слаб, то что ты думаешь о своей матери? Прости ему, что не может разрешить отпустить дочь свою, которая хочет показать свету столь великие добродетели. Странно это, что мать требует, чтобы дочь ее не столько была добродетельна; но этого от нее требует мать. Она тебе не делает приказаний; ты все знаешь, следовательно, ты можешь принимать приказания собственно только от себя самой”. “Милая моя матушка! - отвечала Елизавета, - Ваши повеления всегда для меня будут священными; если вы мне приказываете здесь остаться, то я надеюсь столько иметь сил, чтобы вам в этом повиноваться, мое намерение вас опечалило, но позвольте мне надеяться на ваше согласие: мое намерение не есть плод минутного необдуманного желания - я о нем несколько лет рассуждала, оно основывается на причинах и на нежнейших чувствах. Есть ли какое другое средство избавить батюшку от изгнания? Двенадцать уже лет, как он томится здесь. Но скажите, какой его друг принимал в нем участие? Положим, что кто-нибудь из них вошел бы в его состояние, но осмелится ли он говорить так, как я? Будет ли он вдохновен подобно любовью? Я всегда останусь при сих мыслях, что Бог предоставил единственной только вашей дочери возвратить вам счастье. Скажите, что вы находите ужасного в моем предприятии? Мое отсутствие? Но сколько раз вы оплакивали изгнание, от которого я не могу иметь супруга? Супруг, милые мои родители, не разлучил ли бы так же меня с вами? Опасности? Но их нет; я не боюсь ни холоду зимы, ни трудов долговременного путешествия - ибо я привыкла ко всему этому. Вас страшит моя молодость? Но она, напротив, мне служит под-

## *Ксавье де Местр* **Юная сибирячка**

порою; обыкновенно люди помогают больше слабости. Вас приводит в ужас моя неопытность? Но вы знаете, что я буду не одна; вспомните слова в письме губернаторском. Он позволил бедным миссионерам находить себе пристанище под нашею кровлею потому только, чтобы чрез сие доставить мне провожатого и покровителя. Вы видите, что все обдуманно наперед, - нет никакой опасности, и никакие не встретят меня препятствия; для меня одного только недостает - вашего согласия и благословения..." "И еще хлеба, - промолвил с горестью Спрингер, - протянув руку, должна будешь его просить у других, и деды твоей матери, некогда владычествовавшие в сих странах, и деды мои, правившие Польшею, увидят наследницу своего имени, свою внучку, просящую милостыню!" "Если я происхожу от такой крови, - сказала со скромным удивлением Елизавета, - если мои родственники были царями: то я надеюсь быть достойною их и вас; надеюсь, что я не обесславлю имени, ими мне оставленного, бедность и несчастье никогда не помрачат блеск. К чему стыдиться дочери Сейдов (татарская фамилия, происходящая от древних князей Сибирских - прим. издателей) и Собиесских просить помощи у себе подобных? Многие великие люди, подвергшись несчастью, просили ее для себя, а я - я стану просить помощи для своего родителя!"

### **Краткое содержание 2-й части**

*Елизавета узнает причину ссылки отца в Сибирь: Петр Спрингер, настоящее имя которого Станислав Потоцкий, пострадал за независимость Польши. Приняв решение помочь родителям, девушка добивается у них разрешения отпустить ее в Петербург к самому царю. В это время в хижине изгнанников останавливается отец Павел, который возвращается в Россию после своей миссии по обращению сибирских народов в православие. Елизавету отпускают с ним в далекий путь. В дороге миссионер заболевает и умирает в городе Сарануле. Елизавета остается одна. Ей приходится пережить много опасностей, пока она в сентябре 1801 года не достигает Москвы. Древняя столица готовится к коронации Александра I. В момент торжества девушке удается приблизиться к императору и "припасть к стопам его". По счастливому стечению обстоятельств здесь же оказывается сын тобольского губернатора - Смолов, который служит в царской гвардии. Юноша тоже падает на колени и умоляет царя простить родителей Елизаветы, говоря, что она пришла из степей ишимских, чтобы испросить милости самым близким людям. Александр издает указ об освобождении Станислава Потоцкого, и молодые люди, столь счастливо встретившись, едут в Сибирь, где Смолов просит у родителей Елизаветы благословения на брак.*

*Публикация текста романа по изданию: Елизавета Л. \*, или Несчастье семейства, сосланного в Сибирь и потом возвращенного в благополучное царствование Александра I. Истинное происшествие. Творение Г-жи Коттенъ. Сочинительницы Матильды, Амелии Мансфилд и многих других. Москва. В типографии Н.С. Всеволожского. 1816.*

*Ксавье де Местр (1763-1852) - французский писатель, живописец, ученый, офицер. Брат философа Жозефа де Местра. Родился в Шамбери (Пьемонт) в семье президента местного сената. В восемнадцать лет избрал военное поприще. Находясь на службе в гарнизоне Турина, участвовал в дуэли, был арестован и во время тюремного заключения написал свое первое произведение "Путешествие вокруг моей комнаты".*

*В 1796 г. после покорения Пьемонта французами К. де Местр присоединился к русским войскам, участвовал в итальянском походе Суворова, за которым последовал в Петербург уже как офицер русской армии (1800). Вынужденный выйти в отставку из-за немилости царя к Суворову, он живет с 1801 по 1805 годы в Москве, где открывает собственную мастерскую портретных миниатюр. С 1805 года по ходатайству брата, назначенного сардинским посланником в Петербурге, получает должность директора и библиотекаря Музея Адмиралтейства. Позднее он снова возвращается на военную службу, находится на Кавказе и получает ранение в битве под Ахалцихом, а во время Отечественной войны 1812 года вместе с русскими войсками вступает в Париж.*

*В 1813 году пятидесятилетний де Местр женится на фрейлине Софье Ивановне Загряжской (1778-1851), сестре Н.И. Гончаровой (будущая теща А.С. Пушкина). Брак был счастливым, но супружеская жизнь омрачалась смертью всех детей, ради которых де Местры подолгу жили в Италии (с 1826 по 1839 с перерывами). С 1839 г. де Местр окончательно поселился в Петербурге, посвящая все свое время занятиям литературой, наукой, живописью. Умер в Петербурге, похоронен на Смоленском евангелическом кладбище.*

*Интересным моментом биографии де Местра является его знакомство с Пушкиными. Он бывал в московском доме родителей будущего поэта в 1801-1805 гг. Известно, что у него обучалась живописи сестра Александра Пушкина - Ольга и что он создал миниатюрный портрет на слоновой кости Надежды Осиповны Пушкиной - матери поэта. Не исключено и знакомство самого Пушкина с де Местром и его произведениями, в частности с повестями "из русского быта": "Пленники Кавказа" и "Юной сибирячкой", написанными в 1815 г. Возможно, образ Парашии Лупаловой из "Юной сибирячки" наряду с биографией*



XAVIER DE MAISTRE

*Ксавье де Местр.*

Прасковьи Луполовой в изложении историка Д.Н.Бантыш-Каменского могли в какой-то степени сформировать образ Маши Мироновой в пушкинской “Капитанской дочке”.

У Маши и Парашаи немало общего. В своем стремлении помочь близким людям (женеху, отцу) они обращаются к Высшей власти (Екатерине II, Александру I) и находят понимание и милосердие. Они скромны, сильны духом, наделены живым providенциальным чувством. Своим внутренним благородством, безыскусностью, благоразумием они располагают к себе всех, кто встречается на их пути, достигают основной цели, получают неожиданное для них вознаграждение, но, оставаясь верными себе, отказываются от возможностей “столичной” жизни (Маша после встречи с императрицей уезжает в деревню, Параша удаляется в монастырь). Обе - “добродетельные” дочери. Параша готова претерпеть все трудности дальнего и опасного пути ради облегчения участи родителей, а Маша, потеряв отца и мать во время бунта, тем не менее, остается все той же “дочерью капитана Миронова” и не совершает ни одного поступка, за который они могли бы осудить ее. Пушкин акцентирует тему дочерней верности самим названием произведения - “Капитанская дочка”. Примечательно, что и в повести де Местра Параша по паспорту (в документе допущена неточность) тоже является дочерью капитана.

Повесть “Юная сибирячка” была одинаково популярна на протяжении всего XIX столетия как в России, так и во Франции. Первое ее издание на русском языке под названием “Молодая сибирячка. Истинное происшествие” вышло в Санкт-Петербурге в 1840 году (типография Карла Крайя) в переводе А.Попова, а второе, с двенадцатью рисунками художника К.А.Зеленцова и названием “Параша Лупалова” в 1845 году (типография И.Селезнева, С.-Петербург). В предисловии ко 2-му изданию переводчик А.Попов, обращая внимание читателей на большой успех произведения де Местра во Франции, писал: “Такое внимание к книге есть лучшее свидетельство ее достоинств. С убеждением можно сказать, что это одно из редких сочинений, которое при своей высокой нравственности имеет особую занимательность для русских. Впрочем, и то надо заметить, что Параша Лупалова есть чудное явление в нравственном мире, возвышающее собой душу женщины”. В двух рецензиях откликнулся на это издание В.Г.Белинский. Рассматривая книгу де Местра, как “прекрасную повесть для простого народа” и рекомендуя ее особо детям и “грамотным простолюдинам”, он отмечал, что она интересна



Обложка второго русского издания повести К. де Местра. 1845.

“по событию истинному и прекрасному, которое в ней описано”. В дальнейшем издание этой повести в России приобретет массовый характер и прекратятся лишь в 20-е годы XX века в связи с изменившейся идеологией страны.

Во Франции “Юная сибирячка” получит высокую оценку Стендаля и Ш.О. Сент-Бева. Первый отметит драматическую силу повести, а второй - естественность повествования автора. У себя на родине К. де Местр и сегодня считается непревзойденным стилистом, разделившим славу создателя новой французской новеллы с Ш.Нодье и П. Мериме. Одно из последних изданий “Юной сибирячки” появилось в Париже в издательстве “Де Сирте” в 2001 году.

В конце царствования Императора Павла I молодая девушка пришла пешком из Сибири в Петербург испросить помилование своему отцу. О подвиге ее заговорили тогда все; что и побудило известную писательницу, г-жу Коттень, избрать эту странницу в героини романа. Но все, знавшие молодую сибирячку, сожалели, что сочинительница приписала романтические похождения девушки, которая без покровительства и помощи решилась на такое трудное предприятие, руководимая единственно одною чистою дочернею любовью, незнакомая ни с какой другой страстью.

Конечно, простой рассказ о ее похождениях не имеет занимательности, которую романист придает вымышленным лицам, но все же, может быть, не без удовольствия прочтется верная повесть ее жизни, занимательная уже по самой истине.

Имя этой девушки Параша Лупалова. Отец ее принадлежал к одной благородной украинской фамилии, но родился в Венгрии, где некоторое время жили его родители. Он служил сперва в Бессмертных Гусарах венгерского войска, был во многих походах против турок, участвовал в осадах Измаила и Очакова и храбростью своею приобрел уважение сослуживцев. Впоследствии, оставив службу, переселился в Россию, где и женился. За что именно он осужден и сослан в Сибирь - неизвестно; следствие, которое было произведено по его делу, осталось тайною. Он не был приговорен к каторжной работе, но сослан был на житье в Ишим, на границу Тобольской губернии, и получал на пропитание, как и другие ссыльные, по десяти копеек в сутки. Уже после четырнадцатилетнего пребывания Лупалова с семейством в Сибири он согласился отпустить дочь свою в Петербург.

Параша трудами своими помогала родителям: мыла белье, жала рожь и участвовала во всех деревенских работах, которые только были по ее силам, получая за труды вместо денег хлеб или другие жизненные припасы. Она привезена была в Сибирь ребенком и, не зная лучшей участи, охотно занималась этими трудными работами.

Мать ее постоянно была озабочена своим бедным хозяйством и терпеливо сносила горькую долю; но отец, с молодости привыкший к деятельной военной службе и почестям, не мог покориться судьбе и часто предавался отчаянию, чего, конечно, нельзя оправдать даже самым жестоким несчастьем.

Он тщательно старался скрывать от дочери свою убийственную печаль, но Параша, сквозь щели перегородки, отделявшей ее каморку от комнаты родителей, несколько раз, против воли, видала его слезы, слышала ропот на судьбу и стала понимать горькую участь отца и матери.

Лупалов неоднократно посылал просьбы к тобольскому Губернатору об облегчении тяжелой участи своего семейства, но все его попытки оставались без ответа. За несколько времени до начала нашего рассказа страдалец послал еще новую просьбу об этом.

Тогда через Ишим проезжал по делам службы какой-то чиновник; он взялся доставить бумагу и обещал ходатайствовать у Губернатора. Бедный ссыльный получил снова надежду, но ответа по-прежнему не было. Всякий проезжий, всякий курьер из Тобольска (что, впрочем, случалось редко) невольно, самим незнанием о деле Лупалова, увеличивал его страдания и тоску, разрушая надежду, что обратят внимание на бедственное положение его семейства.

Случилось как-то, что Параша пришла домой с поля раньше обычного и застала мать свою в слезах, а отца сильно расстроенного. Он был необыкновенно бледен и задумчив, и по-видимому, вполне предавался горести; угрюмость его испугала бедную девушку. «Вот, - вскричал Лупалов, увидя ее, - вот мое самое невыносимое несчастье, дочь, данная мне Господом, во гневе Его... Я страдаю как изгнанник, страдаю как отец!.. Я не могу прилично образовать единственную мою дочь и принужден видеть, как она тяжким трудом кормит нас и, может быть, умрет от изнеможения на руках моих!.. Имя отца, радостное для всякого, для одного меня – проклятие Неба!..» Испуганная Параша и мать ее в слезах бросились к нему; они обе старались его успокоить. Этот случай произвел глубокое впечатление на Парашу. В первый раз родители ее откровенно говорили при ней о безнадежном своем положении, и весь ужас несчастья их, с этой минуты, стал вполне ей понятен.

В это-то самое время, когда ей еще не было и пятнадцати лет, родилась у нее мысль идти в Петербург, просить помилования отцу. Она сама потом рассказывала, что однажды, по окончании молитвы, мысль эта, как молния, блеснула в уме ее и произвела какое-то непостижимое беспокойство.

Параша и впоследствии никогда не сомневалась, что эту мысль внушил ей сам Господь, и такая глубокая вера подкрепляла ее в самых неблагоприятных обстоятельствах жизни.

Так как Параша, до сих пор не понимая горькой участи своего отца, не имела причин помышлять о его освобождении, то это новое чувство ее восхитило.

«Господи! – молилась она, - не оставь меня своею милостию и не лишай невыразимого блаженства, которое наполняет мою душу».

Вскоре потом намерение идти в Петербург, упасть к ногам Монарха и просить помилования отцу совершенно созрело в уме ее и стало постоянной мечтою.

Задолго до этого Параша любила уединенно молиться в березовом лесу близ дома родителей; теперь она чаще стала ходить туда, проник-

нутая своей мыслью и с теплою верой возсылала молитвы к Господу благословить путь ее и дать силы на совершение подвига.

Иногда, предавшись молению, она забывала свои ежедневные занятия, чем неоднократно навлекала на себя выговоры родителей, которым долго боялась открыть свое намерение. Бодрость оставляла ее всякий раз, как только она хотела заговорить об этом с отцом, не ожидая вовсе успеха от такого объяснения.

Обдумав, она предположила при первом случае во что бы то ни стало преодолеть робость и высказать свою заветную мечту. Однажды рано утром пошла Параша в лес испросить у Отца Небесного твердости и силы слова для убеждения родителей. Возвращаясь оттуда, она решилась открыться тому из них, кого увидит первого, и, представив все воле Провидения, желала, однако же, встретиться прежде с матерью, ожидая от нее больше снисхождения. Приближаясь к дому, Параша увидела отца. Он сидел у ворот на скамейке и курил трубку. Параша твердыми шагами подошла к нему и со слезами сказала: «Батюшка, отпустите меня в Петербург, я пойду туда и буду просить Государя помиловать вас».

Отец, выслушав внимательно, взял ее за руку и, введя в комнату, где жена его готовила обед, сказал: «Радуйся, жена, добрые вести, у нас появился сильный покровитель, и знаешь ли кто, наша дочь! Она, видишь ты, сейчас идет в Петербург и хочет сама просить за нас Государя!» После того Лупалов, смеясь, пересказал все слова Параша. «Лучше бы ей, - отвечала мать, - сидеть за работой, а не задумывать такого вздора».

Бедная девушка уже заранее приготовилась к гневу родителей, но не ожидала насмешек, они поколебали ее, и она залилась горькими слезами. Минутная веселость, несвойственная Лупалову, скоро прошла, он сделался необыкновенно суров и стал бранить Парашу за ее слезы, а между тем тронутая мать обнимала ее и, желая развеселить, говорила, подавая ей тряпку: «На-ка, сотри со стола, мы сперва пообедаем, а там ступай себе с Богом в Петербург!»

Такая встреча и ответы родителей, конечно, скорее упреков и строгого обращения могли принудить Парашу отложить разговор, но досада, что с нею обходятся, как с ребенком, скоро прошла и уже более ее не тревожила. Параша твердо решила исполнить свою мысль, беспрепятственно повторяла все одно да одно, просьбы ее были так неотступны, что отец, потеряв терпение, не шутя, побранил ее и строго



*Иллюстрация художника  
К.А. Зеленицова ко второму  
русскому изданию повести  
К. де Местра.*

запретил помянуть об этом; а мать, жалея, старалась внушить дочери, что она еще очень молода для такого предприятия.

С этих пор прошло три года и в продолжение их Параша ни разу не смела возобновлять свою просьбу. К тому же Лупалова была долго больна, и это заставляло отложить исполнение намерения до времени более благоприятного. Но не проходило дня, в который Параша к обыкновенным мольбам своим, не сомневаясь, что Господь услышит ее, не присоединяла бы молитвы, чтобы отец согласился на разлуку. Такая теплая вера в благость Божию, конечно, необыкновенна в простой девушке, не получившей никакого образования, тем более, надо сказать, что отец Параша как человек, ожесточенный судьбою, редко молился, а мать была женщина без воспитания.

В эти три года умственные способности Параша совершенно развились. Слова ее стали иметь более силы в семейных разговорах, а потому она смело говорила о своем намерении, на которое родители ее не смотрели уже как на ребячество. Но все же они, по-прежнему, не соглашались отпустить ее, потому что дочь их делалась им более и более необходимою.

Эти новые препятствия действовали на душу Параша тем сильнее, что теперь родители уговаривали ее не шутками или угрозами, а убеждениями и слезами. «Мы стары, - говорили они, - нет у нас ни денег, ни друзей, ты одна все наше утешение, неужели ты решишься оставить нас одних и отправиться в опасный путь, где легко можешь погибнуть. Это скорее нас убьет, а не даст нам свободы!» Слезами отвечала Параша на такие слова, но день ото дня все более укреплялась в своей мысли.

Другое препятствие, гораздо важнее возражений отца, предстало перед Парашей: ей был необходим паспорт, без него она не могла даже выйти из Ишима, а нельзя было надеяться, что Губернатор, оставлявший без ответа письма Лупаловых, согласится сделать им эту милость.

Итак снова Параша должна была отложить свое путешествие до другого времени и думала только о том, как бы получить паспорт.

Жил в это время в Ишине между ссыльными некто Нейлер, сын портного. Он не долго был в услужении у какого-то иностранца в Москве и счел для себя выгодным прослыть в ссылке вольнодумцем. Такое вредное безумие и выгодное ремесло портного, которому он научился у своего отца, доставили ему знакомство с жителями и ссыльными. Одни отдавали ему чинить платья, а другие забавлялись его глупыми шутками, в числе последних был и Лупалов, к которому Нейлер иногда хаживал. Он знал набожность Параша и трунил над нею. Однако Параша, почитая его благоразумнее, чем он казался, думала уговорить его написать ей прошение к Губернатору, надеясь, что отец скорее согласится подписать готовую просьбу.

Однажды, выполоскав на реке белье, Параша собиралась идти домой, перекрестясь перед тем по обыкновению несколько раз, она с трудом подняла его. Нейлер случайно проходил в это время мимо, увидя ее, он засмеялся. «Вот, - сказал он, - если бы вы побольше молились, да понижее кланялись, так, пожалуй, совершилось бы чудо и ваше белье

само пошло бы домой. Дайте-ка, - прибавил он, - насильно взяв у нее сырую ношу, - я вам докажу, что и безбожники, которых вы так ненавидите, предобрые люди!» Подняв при этих словах корзину, он понес ее. Параша, думая только о паспорте, дорогою сказала Нейлеру, что хочет просить его написать просьбу к Губернатору о высылке ей паспорта. К сожалению, в молодости, пренебрегши грамотою, философ наш не умел писать; однако он назвал ей одного человека в Ишине, который мог исполнить ее желание. Параша радостно возвратилась домой, предполагив завтра же воспользоваться данным советом.



Илл. К.А. Зеленцова.

Нейлер, придя к Лупалову, у которого собралось несколько человек, громко хвастался оказанной им услугой, говоря, что избавил Парашу от труда ожидать чуда и надоедать подобного рода шутками; но ответ молодой девушки скоро заставил его замолчать. «Как мне не верить в истинную благость Всевышнего, - сказала она, - я только несколько минут помолилась Ему, и белье мое, если не само собою пришло сюда, то все же принесено не мною, а руками безбожника. Чудо свершилось, и я пока не прошу другого у Господа!» При таком ответе все присутствовавшие насмеялись над Нейлером, а он, вполне пристыженный, тотчас же ушел от Лупаловых. Далее мы увидим несколько примеров подобной находчивости Параша; она и в самых трудных обстоятельствах жизни не теряла присутствия духа.

На другой день Параша поспешила посоветоваться с человеком, которого ей указали, и узнала от него, что сама должна была подписать просьбу. Он взялся написать ее по форме, и когда бумага была готова, то Лупалов после недолгого сопротивления, согласился отправить ее в Тобольск и воспользовался случаем приложить еще новое письмо о себе самом.

С той минуты Параша сделалась спокойнее, и родители ей радовались, что она опять стала весела по-прежнему. Такую счастливую перемену произвела надежда на получение паспорта и безграничная вера в покровительство Всевышнего. Часто Параша ходила по большой дороге, ожидая почтальона. Доходя до станции, она разговаривала со зрителем, старым инвалидом, который раздавал письма жителям Ишима, и спрашивала его, нет ли ей письма. Но с тех пор, как он посмеялся над ее намерением идти в Петербург, она перестала делать такие расспросы.

Месяцев через шесть после отправления просьбы дали знать Лупаловым, что пришла почта, и к ним есть письмо. Параша тотчас же

побежала на станцию, а отец и мать вслед за дочерью пришли туда. Почтальон отдал Лупалову запечатанный пакет с паспортом на имя Параша и взял расписку в получении. Радостна была эта минута для всего несчастного семейства. Присылка паспорта казалась уже милостью изгнанникам. Однако в пакете не было никакого ответа от Губернатора на собственные просьбы Лупалова. Дочь его, конечно, была совершенно свободна, удерживать ее в Ишиме было бы совершенно несправедливо. Молчание же на письма отца ее, без сомнения, было доказательством немилости к нему. Эта убийственная мысль скоро прервала общую радость, которую произвело внимание Губернатора к просьбе Параша.

«Я только потому согласился просить о высылке паспорта, - сказал Лупалов, завернув его в платок и положив в карман своего кафтана, - что был уверен в отказе и хотел избавиться от твоих докучных просьб, Параша!»

После этих слов они пошли молча. Встревоженная девушка на пути к дому ни слова не говорила ни с отцом, ни с матерью, надеясь на Господа и благодаря Его за исполнение душевного ее желания. Параша заметила, однако, с какою осторожностью был спрятан паспорт, и была даже довольна этим, потому что отец в огорчении мог бы и разорвать его. Отказ отца относилась она к особой воле Божией и думала, что не настала пора ей собираться в дорогу. Потом она пошла в лес и там долго молилась, вполне предавшись радостным мечтам и надеждам.

Все эти подробности могут показаться мелочными, но, видя, что желания Параша, несмотря на все препятствия, исполняются против всякого чаяния, мы говорим о неважных, по-видимому, случаях для доказательства, что на совершение такого невероятного подвига недостаточна была одна сила человеческая, а необходима *вера, движущая горами*.

Во всем, что не случалось с Парашей, она видела перст Божий: «Я часто, - говорила она, - была испытываема Господом, но вера моя не оскудевала и мои надежды исполнялись!» Но встретилось новое обстоятельство, оно придавало еще более решимости покорной дочери и, может быть, даже заставило Лупаловых отпустить ее в дорогу. Мать Параша, хотя не была суеверна, однако любила иногда, от скуки более, гадать о будущем; верила в дурные приметы, несчастные дни и толковала сны. Она не начинала ничего важного по понедельникам, остерегалась опрокинуть нечаянно за столом солонку и соблюдала другие поверья. Иногда, взяв Библию и раскрыв ее наугад, она искала в первом попавшемся на глаза изречении чего-нибудь подходящего к своему положению и выводила, таким образом, для себя более или менее благоприятные предзнаменования. Впрочем, этот род гадания у нас между простым народом в большом употреблении; когда встретится неприменительное изречение, то снова начинают гадать и стараются найти более удовлетворительный ответ. Несчастные во всем видят надежду и, не полагаясь на такие предсказания, однако же радуются, если они согласны с их желаниями.

Лупалов обыкновенно читал по вечерам своему семейству главу из

Библии, поясняя при том славянские выражения, непонятные его домашним. Параша чрезвычайно любила слушать такие чтения. Однажды вечером наши пустынноики сидели за Библией; чтение было кончено, и все трое молчали. Наконец Параша, желая начать разговор, сказала матери: «Откройте, пожалуйста, Библию и прочтите на правой странице одиннадцатую строку». Мать взяла книгу, раскрыла ее и, сосчитав булавкою строки на правой странице до одиннадцатой, прочла вслух:

«И рече ей Ангел Господень: Агарь, раба Саррина, откуда идеси и камо грядеши?»

Это место священного писания было так применительно к предполагаемому путешествию Параша, что невольно поразило всех. Она вне себя от радости взяла Библию и поцеловала несколько раз страницу. «Это точно удивительно, - сказала мать, смотря на мужа, который не желая потворствовать предрассудкам, сильно в эту минуту восстал против такого гадания». «Неужели вы думаете, - сказал он, - не грешно открывать Священное Писание и так вопрошать Господа, надеясь, что Он удостоит ответом все ваши безумные вопросы? Без сомнения, продолжал он, обратясь к дочери, - Ангел будет охранять тебя в твоём трудном путешествии, напоит во время жажды, насытит во время голода; но разве только одни эти нужды предстоят тебе в странствовании?»

«Конечно, - отвечала Параша, - я не смею полагаться на свои силы, но надеюсь, что Ангел Хранитель не оставит меня, и путь мой благополучно совершится, если только родители мои благословят меня!» Такое сильное убеждение поколебало Лупалова, и он не знал, на что решиться. Параша сделалась грустна и молчалива, большею частью одна или в лесу, или в своей каморке она часто заливалась горькими слезами. Заметив эту перемену в дочери, Лупаловы боялись даже, что она решится уйти без паспорта, и всегда сильно тревожились, когда ее долго не было дома. Однажды они подумали, что Параша действительно ушла, тогда как она, возвращаясь из церкви с молодыми крестьянками, замешкалась у них. Когда Параша вернулась домой, мать обняла ее и сказала, прослезившись: «Где ты так долго была? Мы думали, что ты навсегда нас покинула!»

«Ах, матушка! - отвечала Параша, которой никогда не приходила эта мысль в голову. Вам, может быть, придется горевать об этом, вы не хотите благословить меня в дорогу!» Холодно принимая ласки матери, Параша произнесла эти слова таким печальным и дрожащим голосом, что добрая старушка глубоко была тронута. Желая однако успокоить дочь свою, обещала более не противиться ее желанию, исполнение которого теперь единственно зависело от согласия отца. Параша не просила его более, глубокая печаль ее говорила убедительнее всякой просьбы.

Однажды вечером Параша что-то шила, а Лупалова, готовя ужин, попросила своего мужа сходить в огород накопать кореньев. Лупалов, грустный и задумчивый, не слышал слов жены, но вдруг, опомнясь от забытия, промолвил: «Сей час матушка, я рад служить тебе, в нашем положении мы должны помогать друг другу!» Сказав это, он взял

заступ и пошел в огород, в ту же минуту Параша тоже побежала туда. «Да, батюшка, - сказала она, - я день и ночь думаю о перемене нашей горькой участи и надеюсь, что Господь поможет мне упросить вас отпустить меня в Петербург к Государю. Отдайте мне паспорт, добрый и несчастный батюшка! Верьте, это воля Божья! Неужели вы заставите меня поступить против закона Господня и послушаться вас?!...» При этих словах Параша упала на колени перед отцом и старалась перелить в его душу свою веру. Между тем мать подошла к ним. «Упросите батюшку», - рыдая, сказала ей Параша. Бедная старушка не могла от избытка чувств вымолвить слова. Скрепя сердце прежде согласилась она на разлуку с дочерью, но не имела духа просить о том своего мужа. Даже Лупалов, убеждаясь верою и словами всегда покорной Параша, не мог противиться таким трогаящим сердце просьбам, видя, что твердая решимость может внушить дочери мысль уйти и без паспорта. «Что с нею делать? - воскликнул он, - видно так угодно Богу, мне надо наконец согласиться!» «Будьте уверены, - говорила оживленная радостью Параша, целуя руки отца, - вы не станете раскаиваться, что исполнили мое желание. Да, батюшка, я пойду в Петербург и паду к ногам Государя; Господь внушил мне эту мысль, убедил и вас, Он же Всемогущий умилосердит Монарха!» «Бедная Параша, - отвечал Лупалов сквозь слезы, - ты думаешь, что дойти с просьбою к Императору так же легко, как говорить здесь с отцом? Часовые поставлены по всем входам во Дворец, допустят ли они тебя, нищую, не имущую ни крова, ни покровителей; да и осмелишься ли ты войти сама, а кто согласится представить тебя Государю?»

Параша чувствовала всю справедливость этих слов, но не теряла твердости духа; тайное предчувствие ободряло ее. «Мне понятны ваши опасения, - отвечала она, - они внушены вашею нежною любовью ко мне, но разве вы не видите покровительства Божия моему предприятию? Посудите сами, как наградил уже меня Господь за мою веру. Я не знала, как получить паспорт, а Он заставил нечестивца указать мне к тому средство, Он же Милосердный расположил в мою пользу Губернатора и наконец заставил даже и самих вас согласиться отпустить меня. О, не сомневайтесь же, что Господь Всеблагий, который не оставил меня до сей минуты своею милостию, приведет к трону Государя и внушит мне слова умилосердить его! Я верю, что Бог наградит вас свободою за покорность Его воле».

С этой минуты Лупаловы решились отпустить дочь свою, но время для разлуки однако не назначили, отец надеялся на помощь приятелей; многие из ссыльных были люди достаточные, некоторые из них даже предлагали ему пособия, от которых, по скромности, он отказывался, теперь же решил просить их помочь ему. Он душевно желал сыскать попутчика, который хотя бы в начале дороги сопровождал Парашу. Однако ожидания его не сбылись, а она спешила пуститься в путь. У Лупаловых всего был один рубль серебром, и как они не старались, но не могли еще достать денег. Наконец 8 сентября, день Рождества Пресвятой Богородицы, был назначен для тяжелой разлуки.

Только что молва о сборах Параша в Петербург разнеслась по

Ишиму, как все знакомые Лупалова пришли посмотреть на его дочь, более из любопытства, чем из участия. Вместо того, чтобы помочь Параше и ободрить ее, все осуждали отца за согласие на разлуку, а кто мог бы оказать пособие, говорил, что иногда обстоятельства не позволяют помогать в нужде и лучшим своим друзьям, и уходили, предвещая дурное; не этого ждали от них Лупаловы. Только двое из самых богатых ссыльных ободряли Парашу и давали ей добрые советы. «Случалось видеть, - говорили они, - что сбывались самые безнадежные ожидания. Положим, что ей трудно дойти до Государя, но она найдет добрых людей. Неужели сыщется человек, который откажется помочь дочери, когда она просит за своих несчастных родителей?!...»

Восьмого сентября на рассвете оба ссыльные пришли проститься с Парашею и проводить ее. Она уже совсем приготовилась на далекий путь и связывала дорожный, давно сшитый ею, мешок, в котором лежала необходимая поклажа.

Отец отдал ей последний свой серебряный рубль, который Параша не хотела брать, говоря, что эти деньги очень недостаточны на дорогу до Петербурга, а им могут быть крайне нужны. Только одно приказание отца могло заставить согласиться взять их. Бедные ссыльные также хотели уделить, что могли; один предложил ей тридцать копеек медью, другой - двугривенный; этим должны они были прожить несколько дней. Параша отвергла приношение и была глубоко тронута таким великодушием. «Если Господь Бог, - говорила она, - поможет мне испросить у Государя прощение моему батюшке, то и вас, конечно, не оставит своею милостию!»

В эту минуту в комнате показались первые лучи восходящего солнца. «Пора расставаться, - сказала Параша, - батюшка и матушка, благословите!» Следуя старинному русскому обычаю при подобных случаях, она, отец, мать ее и оба ссыльные сели, как делается в последнюю минуту разлуки, потом после краткого молчания все встают, молятся и затем начинаются слезы и рыдания.

Этот обряд, по-видимому незначительный, имеет в себе глубокий смысл. Краткое отдохновение перед разлукой долгой, может быть, вечной не выражает ли, некоторым образом, желания отдалить ее и похитить у судьбы хотя бы еще одну минуту до расставания, до грустного прости?

Родители благословили стоящую на коленях Парашу. Перекрестясь и удерживая слезы, вырвалась она из объятий отца и матери и оставила навсегда хижину, которая была ее колыбелью и постоянным жилищем. Лупало-



Илл. К.А. Зеленцова.

вы хотели проводить дочь свою и прошли с нею несколько шагов, но, изнемогая от избытка чувств и вполне предавшись тоске, остановились и смотрели, как Параша уходила вдаль вместе с провожавшими ее ссыльными; она же не оглядывалась, боясь этим расстроить родителей и себя, скоро скрылась из виду их.

Лупалов с женою возвратились тогда в свою хижину, пустыней показалась она им с этой минуты! Жизнь несчастных стала еще тягостнее. Жители Ишима обвиняли отца, что он допустил свою дочь до такого безрассудного предприятия; смеялись над ним, подшучивали также и над ссыльными, которые по простоте души рассказывали о своих надеждах на ходатайство Параша, поздравляя их наперед со счастьем.

Но оставим страну горести и последуем за нашей путницей. Расставшись с провожавшими ее ссыльными, Параша присоединилась к молодым девушкам, шедшим по той же дороге в соседственную деревню, которая была в двадцати пяти верстах от Ишима. К вечеру она благополучно дошла до деревни и остановилась на ночлег у знакомого ее родителям крестьянина, который принял ее радушно.

Поутру Параша, не привыкшая к ходьбе, почувствовала сильную усталость. Выйдя из избы, где ночевала, она испугалась своего одиночества, но, припомнив историю Агари в пустыне, тотчас ободрилась. Параша перекрестилась, поручила себя своему Ангелу Хранителю и пошла далее. Пройдя несколько шагов, она заметила на вывеске почтового дома, мимо которого проходила накануне вечером, изображение двуглавого орла, это заставило ее подумать: нейдет ли она, вместо Петербурга, назад в Ишим. Параша остановилась, чтобы спросить о дороге и встретила своего хозяина, который с усмешкою сказал ей: «Если ты все будешь идти так, то уйдешь не далеко, да, впрочем, и правду сказать, ты сделаешь лучше, если вернешься домой!»

Такие случаи несколько раз бывали с нею; когда Параша не знала куда идти и спрашивала дорогу в Петербург, то все над нею смеялись, что приводило ее в большое затруднение. Не зная вовсе большой дороги в столицу, Параша полагала, что известный своею святынею Киев, о котором слышала она от матери, лежит на этом пути. Проходя чрез него, она хотела приобщиться Св.Тайн, намереваясь также, если предприятие ее благополучно кончится, постричься со временем в монахини в одной из тамошних обителей.

С такой ошибочною мыслию о положении Киева и видя, что все смеются при вопросе о дороге в Петербург, Параша начала спрашивать дорогу в Киев, но и это также было безуспешно.

Однажды Параша остановилась на перекрестке, не зная куда идти; в это время ехала кибитка. Параша просила проезжих указать дорогу к Киеву. Ей отвечали насмешливо, полагая что и она шутит: «Ступай по какой хочешь, по любой дойдешь до Киева!» Параша пошла наугад и, к счастью, не ошиблась. Вообще она не помнила дорог и перепутывала названия деревень, в которых останавливалась. Обыкновенно Параша в маленьких селениях находила скорее пристанище, чем в больших, где часто принимали ее за бродягу, а такое несправедливое подозрение очень ее огорчало.

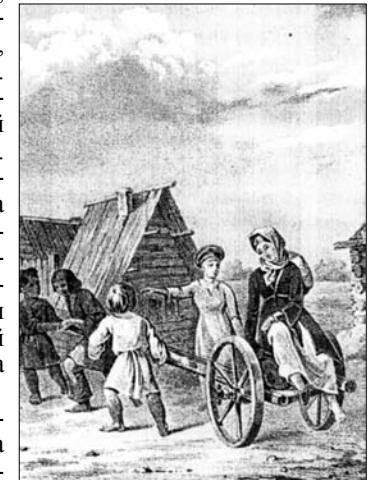
Приближаясь к городу Камышлову, наша усталая путница едва оканчивала один из самых длинных переходов; тут застигла ее сильная буря. Параша удвоила шаги, желая скорее дойти до жилья, которое виднелось невдалеке; сильный порыв ветра сломил перед нею дерево; это очень испугало ее и заставило искать убежища в лесу. Чтобы сколько-нибудь защититься от дождя и ветра, она стала под развесистую сосну, около которой рос высокий кустарник. Буря бушевала целую ночь, и Параша провела ее под открытым небом и сильным дождем, едва переставшим под утро. Только что рассвело, голодная и продрогшая потащилась бедняжка по дороге. К счастью, проезжавший крестьянин предложил ей сесть в его телегу. К восьми часам утра приехали они в село, где добрый мужичок, не имея надобности останавливаться, посадил Парашу посреди улицы, а сам поехал домой. Странница уже предчувствовала дурной прием, потому что это было богатое село, однако, понуждаемая голодом и усталостью, подошла к самому скромному домику, у которого сидела пожилая женщина и чистила горох. Параша попросила пристанища, но та, взглянув на нее с презрением, сурово отогнала от себя.

Слезая с телеги, Параша упала в грязь и замарала все свое платье, притом ужасная ночь, проведенная в лесу без пищи, так изнурила бедную девушку, что она точно казалась не благодивною, оттого все и отгоняли ее, к кому только она не подходила. Параша присела у дверей дома какой-то женщины, которую также напрасно умоляла о приюте, но и эта с бранью прогнала ее оттуда, говоря, что не пускает к себе побродяг. Бедная девушка увидела церковь и пошла к ней печально. «По крайней мере, - думала она, - уже отсюда меня не выгонят».

Церковь была заперта, путница перекрестилась и села на ступеньках крыльца. Слыша брань женщины, деревенские мальчишки, тащившие тележку по улице, побежали за Парашею, окружили ее и называли воровкою. Часа два просидела бедняжка, изнемогая от усталости, прося Бога помочь ей и дать силы перенести такое испытание.

Между тем подошла к ней другая женщина, на вопросы ее Параша отвечала рассказом об ужасной ночи, проведенной в лесу. Еще несколько крестьян остановилось слушать ее рассказ. Между ними был староста, он посмотрел паспорт и сказал, что это точно такой как надобно; тогда крестьянка позвала Парашу к себе.

Опухшие ноги странницы до того онемели от изнурения, что она не могла сама встать с места, и надо было приподнять ее, башмак с одной ноги был потерян; увидя это, все прежде оскор-



Илл. К.А. Зеленцова.



бившие ее жестоким обхождением и несправедливо думавшие о ней, стали жалеть Парашу.

Ее посадили в тележку и те же ребяташки, которые раньше обижали ее, запряглись и подвезли к дому. Крестьянка приняла ее радушно, и Параша пробыла у нее несколько дней. В это время какой-то добрый крестьянин сшил ей башмаки. Наконец Параша, почувствовав, что силы и здоровье ее восстановились, простилась со своею хозяйкою и отправилась далее. До наступления зимы Параша спешила идти как можно скорее, останавливаясь только в крайних случаях для отдыха. Параша во время дороги, приставая у добрых людей, всегда старалась чем могла отблагодарить их; она помогала мыть белье, шила что умела, подметала избу, пособляла стряпать, словом, занималась всеми домашними работами. Покороче ознакомься с радушными хозяевами, она рассказывала по просьбе их про свою жизнь и путешествие, убеждая из опыта, что с первого взгляда ей не верили и принимали за бродягу, если она тотчас же говорила, кто она и зачем идет в Петербург. И точно, люди всегда скорее видят дурное, чем хорошее, особенно когда заметят, что в них чего-нибудь ищут. Сперва надобно услужить им и расположить в свою пользу, не поселяя никакого сомнения, тогда они станут сожалеть вас и невольно сделаются снисходительнее. Параша прежде всего просила хлеба, потом, чтобы найти ночлег, жаловалась на усталость и наконец говорила о себе, своих родителях и цели путешествия. Так-то Параша, во время трудного своего странствования, суровым опытом, изучила сердце человеческое.

Часто случалось, что люди, отгонявшие бедняжку, видя, как она уходила в слезах, приглашали к себе и обходились с нею ласково. Нищие, привыкшие к отказам, не так чувствительны к ним, но Параша, поставленная судьбою в самое жалкое состояние и переносившая крайние нужды, прежде однако же не просила милостыни; а теперь жестокая необходимость довела ее до этого, и потому бедняжка сильно огорчалась отказами, особенно если люди сомневались в истине ее слов и дурно о ней думали.

Успех в рассказанном нами случае от предъявления паспорта навел ее на мысль впоследствии показывать его, особенно когда она желала сыскать пристанище. В паспорте она была названа дочерью капитана, что во многих случаях было для нее весьма полезно. Впрочем, Параша говорила, что с ней редко случалось несчастье не найти приюта, напротив того, много раз встречала она истинное человеколюбие и самое радушное гостеприимство. «Несправедливо полагают иные, - повторяла впоследствии Параша, - что мое путешествие было бедственным и будто я испытала много страданий, все думают так потому, что не знают, как я дошла до Петербурга. Нет, почти всегда Бог посылал мне добрых людей, которые принимали меня как родную, а со злыми я редко встречалась!»

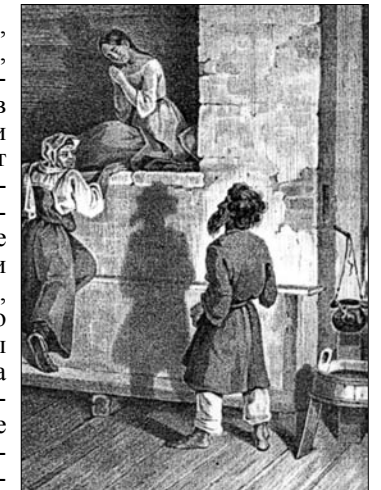
Были однако же случаи в путешествии Параша, где жизнь ее была в опасности, которые по своей замечательности стоят подробного рассказа. Как-то поздно вечером Параша в одной деревне отыскивала себе ночлег. Встретившийся с нею широко бородатый мужик сперва

было грубо отогнал ее, а потом, сам подозвав, сказал: «Ну уж делать нечего, пойдем к моей старухе!»

Параша не решалась принять приглашение, однако, боясь не найти другого пристанища, пошла за мужиком. Войдя в избу, она точно увидела весьма пожилую женщину, наружность которой была еще страшнее, чем у вожатого. Он тотчас же накрепко запер дверь и окошки своей лачуги. Не ласковы были к Параше ее хозяева, они казались ей почему-то страшными, так что она стала бояться и раскаивалась, зачем остановилась у них. При бедном освещении лучиною избы Параша, осматриваясь, не раз встречала устремленные на нее дикие взгляды хозяев. После нескольких минут молчания старуха спросила ее: «А откуда ты, матушка, идешь?» - «Из Ишима в Петербург!» - «Ого-го, далеконок! Для такой дальней дороги надо много денег, верно, они у тебя и водятся, голубушка?».

«У меня только и остался теперь один двугривенный», - отвечала оробевшая Параша. - «Не лги, не лги, - запищала старуха, - как с этим пуститься в такой дальний путь!»

Напрасно уверяла бедная девушка, что у нее только и было всего денег, старуха не верила и, злобно пересмехаясь с мужем, говорила: «Из Ишима в Питер с двугривенным - статочное ли дело!» Обиженная Параша дрожала от страха и едва удерживала слезы, душевно моля Господа не покинуть ее. Немного спустя дали ей кусок хлеба, и она не успела доесть его, как хозяева велели ей идти спать. Параша не сомневалась, что они были люди недобрые; охотно отдала бы она все, что имела, лишь бы от них вырваться. Полураздетая легла она на печку, оставя на лавке дорожную котомку для того, чтобы им легче можно было осмотреть ее и вынуть деньги. Этим надеялась бедняжка избавиться от постыдного обыска. Действительно, как только им показалось, что Параша уснула, они приступили к осмотру ее поклажи. С трепетом вслушивалась бедняжка в их разговоры. «У ней есть, - говорили они, - непременно еще есть деньги, верно бумажки!» - «Я видела, - прибавила старуха, - у нее на шее мешочек, они непременно там спрятаны!» И точно, у Параша на шее была кожаная сумочка, в ней хранился паспорт. Хозяева заговорили гораздо тише, но слова, долетавшие до уха Параша, еще более устрешили ее. «Никто не видал, как она вошла к нам!.. Кто знает, что она в деревне?» Тут они зашептали так тихо, что трудно было расслышать слова их и наконец совершенно умолкли. Воображение бедной девушки представляло ей в эти минуты молчания смертельные ужасы. Вдруг видит Параша голову страшной старухи,



Илл. К.А. Зеленцова.

Параша уснула, они приступили к осмотру ее поклажи. С трепетом вслушивалась бедняжка в их разговоры. «У ней есть, - говорили они, - непременно еще есть деньги, верно бумажки!» - «Я видела, - прибавила старуха, - у нее на шее мешочек, они непременно там спрятаны!» И точно, у Параша на шее была кожаная сумочка, в ней хранился паспорт. Хозяева заговорили гораздо тише, но слова, долетавшие до уха Параша, еще более устрешили ее. «Никто не видал, как она вошла к нам!.. Кто знает, что она в деревне?» Тут они зашептали так тихо, что трудно было расслышать слова их и наконец совершенно умолкли. Воображение бедной девушки представляло ей в эти минуты молчания смертельные ужасы. Вдруг видит Параша голову страшной старухи,

которая лезла на печку. Кровь застыла в жилах бедняжки, она умоляла не убивать ее, уверяя снова, что у нее нет денег, но жестокая женщина в эту минуту молча стала обыскивать сарафан и осмотрела внимательно башмаки. В это время мужик подошел с зажженного лучиной и, взяв из рук жены сумку, развернул ее и не нашел ничего, кроме паспорта. Наконец старуха, видя, что поиски тщетны, слезла с печи. Параша, как говорится, была ни жива, ни мертва.

Не найдя денег, злодеи оставили ее, ушли спать и вскоре преспокойно захрапели. Параша от ужаса долго не могла уснуть и боялась, что они снова станут ее обыскивать; но потом она немного успокоилась, усталость победила страх, и Параша крепко уснула. Уже совершенно рассвело, когда старуха разбудила ее. Параша сошла с печки и была неожиданно удивлена переменою своих страшных хозяев, они стали гораздо добрее и ласковее. Параша начала собираться в путь, но они никак не хотели отпустить ее и говорили: «Да погоди маленько, мы тебя хоть накормим на дорогу!» Старуха гораздо более заботилась об этом теперь, чем накануне; она взяла ухват, вытащила из печи горшок щей и налила их в чашку, а муж между тем открыл подполье, где стоял бочонок квасу и нацедил из него полную кружку для гостя.

Несколько успокоенная таким добрым обхождением, Параша просто душно и откровенно отвечала на их вопросы и рассказывала, зачем идет в Петербург. Хозяева слушали ее, по-видимому, с большим вниманием и, желая оправдать свое оскорбительное обращение и дурной поступок, уверяли, что хотели удостовериться, точно ли у нее так мало денег и не беглая ли она воровка. «Мы не думали обокрасть тебя, - говорили они, - и ты сама увидишь это!» Наконец Параша вышла от них, не зная, благодарить ли за ночлег, и почитала себя счастливою, что выбралась из их дома. Пройдя несколько верст, Параша вздумала сосчитать деньги. Читатель, конечно, не менее ее удивится, узнав, что сверх восьмидесяти копеек она нашла в своей котомке еще сорок копеек, их положили хозяева.

Параша особенно любила рассказывать это приключение, как неоспоримое доказательство покровительства Божия, внезапно изменившего сердца злых людей. Чрез несколько времени после этого Параша снова подверглась другого рода опасности, которая также очень ее напугала. Ей предстоял большой переход, и потому она отправилась с ночлега в два часа утра. В конце селения на нее напала стая собак: Параша пустилась бежать, отмахиваясь палкою, что еще более их раздражило. Самая большая из них бросилась на бедную девушку, ухватила за ее сарафан и разорвала его. Параша в испуге упала на землю и уже чувствовала, как животное обнюхивало ее холодным носом. «Тот, Кто спас меня от грозы и злодеев, - думала в эту минуту Параша, - избавит и от предстоящей опасности». И точно, шедший мимо крестьянин разогнал собак, которые не успели сделать ей самой никакого вреда.

Между тем наступала зима; около недели Параша была задержана в деревне глубоким выпавшим снегом, отчего дороги сделались непроходимыми для пешеходов. Когда установился снежный путь, Параша

хотела идти, но крестьяне не советовали ей пускаться, угрожая гибелью. Идти пешком в такое время, конечно, даже опасно и мужчине, потому что вьюга заносит дороги и путник нередко гибнет, засыпанный снегом. К счастью Параша, в деревню пришел обоз с провизией, которую везли в Екатеринбург к Празднику Рождества Христова. Параша упростила извозчиков взять ее с собою. Во время этого переезда она испытала еще новое бедствие. Холод увеличивался, а у нее не было шубы, и потому, как не укутывалась бедная девушка в рогожи, которыми покрыты были возы, но не могла хорошо защититься от стужи. На четвертый день после выезда стало невыносимо холодно, и странница до того иззябла, что не могла сойти с воза. Когда извозчики решились остановиться для ночлега на близлежащем постоялом дворе, то они помогли ей сойти и привели в избу. Хозяйка заметила, что у Параша правая щека была отморожена, стала оттирать ее снегом и вообще очень заботилась о бедняжке. Попутчики решительно отказались везти Парашу далее, представляя ей, что она замерзнет в дороге без шубы, при таком холоде, который, как надо полагать, еще усилится. Бедная девушка стала горько плакать, предвидя, что ей не скоро представится такой удобный случай и такие добрые люди в дороге.

Притом и хозяева даже, как казалось ей, не были расположены держать ее и желали, чтобы она скорее отправилась. В таком затруднительном положении, потеряв всякую надежду добраться до Екатеринбурга, сидела Параша в углу избы и вполне предавалась горести. Извозчики, тронутые ее положением, сделали складчину на покупку ей бараньей шубы, которая в тех местах стоила в то время не более пяти рублей; но, к несчастью, продажной не нашлось ни одной, а никто не решался уступить своей, потому что было весьма трудно в такой мороз обойтись без теплой одежды. Мужички давали хозяйской работнице за полушубок даже семь рублей, но и та не соглашалась. Один из извозчиков вздумал довольно странным средством помочь Параше. «Мы станем, - говорит он, - давать ей наши тулупы поочередно, или пусть она наденет мой совсем, а между тем один из нас пройдет с версту без шубы». На это все охотно согласились; тотчас же рассчитали, сколько каждому придется пройти в одном зипуне. Таков уж русский человек, он всегда добивается до точного счета, оттого-то и не скоро вдается в обман. Параша, видя доброту этих честных людей, приняла с душевною признательностью их предложение. Надев тулуп, она села на воз, а добрый извозчик, укутавшись рогожею, которую прежде покрывалась Параша, сел на облучок и, правя



Илл. К.А. Зеленцова.

лошадью, во все горло затянул веселую песню. Мена тулупов шла исправно на каждой версте, пока обоз, наконец, не достиг благополучно Екатеринбурга.

Параша между тем в продолжение всей дороги молча молилась за доброе дело своих попутчиков. Приехав в Екатеринбург, она пристала с ними вместе на постоялом дворе. Хозяйка, расспросив о ней извозчиков и заметя из рассказов самой Параша, что она нуждается в деньгах, поименовала всех, слывших в городе за людей благотворительных, и советовала обратиться к ним с просьбою помочь на дорогу. Более всех хвалила она г-жу Милину, известную всему городу по ласковому обхождению, доброте и благотворительности бедным. Работники постоялого двора также подтверждали это. Если бы Параша и не понимала таких намеков, то все же ей необходимо было сыскать другое жилище. На бедных постоялых дворах все пристающие спят в теплой избе, кто не захватит места на печке, тот ложится на полу. На другой день рано утром Параша пошла отыскивать Милину. По своему обыкновению, наша путница зашла в церковь, где увидела такое множество народа, какого никогда ей не случалось видеть. Это был день Воскресный. Усердное моление Параша, котомка за плечами и одежда показывали, что она странница, почему все обратили на нее особенное внимание. При выходе из храма какая-то госпожа спросила Парашу: откуда она? Параша ответила на вопрос и уже хотела с нею проститься, сказав, что идет просить помощи и приюта у г-жи Милиной, которую все благословляют за благотворительность и человеколюбие. «Милину напрасно тебе очень расхвалили, - возразила эта госпожа, - она совсем не так добра, как ты представляешь себе, я тебе дам лучшее пристанище, если ты только пойдешь со мною». Параша, помня все, что ей говорила хозяйка постоялого двора, слушала с недоверчивостью свою новую знакомую и только потому пошла за нею, что не хотела огорчить; а совсем не с тем, чтобы принять приглашение. Госпожа, заметя, что Параша шла неохотно, сказала: «Если ты непременно хочешь идти к этой барыне, то вот и дом ее, пойдём к ней вместе, ты увидишь, как тебя там примут, но обещайся прийти ко мне, если тебя не будут уговаривать остаться. Параша, не отвечая на слова, вслед за нею вошла в прихожую и, обратясь к служанкам, спросила, дома ли г-жа Милина? Они, удивившись сделанному вопросу, в минуту возвращения самой их барыни, молчали. «Можно ли видеть вашу Госпожу? - повторяла Параша. «Да она перед тобою», - сказала одна из них. Параша догадалась, что пришла из церкви с г-жой Милиной, которая в эту минуту обнимала бедную девушку. «О, я не сомневалась, что г-жа Милина очень добра!» - говорила Параша своей новой знакомой, целуя ей руки. Такой случай был приятен благотворительнице, тем более, что она услышала похвалу себе без всякой лести со стороны Параша.

Милина приняла Парашу как родную. Бедная девушка за обедом рассказала в подробности несчастную историю своих родителей и намерение идти в Петербург просить помилования отцу. Тронутая рассказом, Милина тотчас же послала за своим другом г-жою Г., такую

же благотельною дамою как сама, желая представить ей молодую странницу и обдумать вместе, как бы помочь ее предприятию.

Добродетельная хозяйка сомневалась в успехе Парашиних ожиданий, но не отговаривала ее, а только старалась вместе с г-жою Г. уговорить примерную дочь хотя до весны остаться в Екатеринбурге. Время стояло холодное, и путница наша видела, что идти далее было бы невозможно; а благотельницы, желая удержать ее, еще ничего не говорили о помощи, которую впоследствии оказали. Параша была у них совершенно счастлива; ласки и радушное обхождение этих дам были ей новы, потому-то воспоминание о времени, проведенном у них, навсегда осталось в ее памяти. При рассказе о жизни в Екатеринбурге Параша со слезами на глазах произносила имена двух своих благотворительниц. Однако ж здоровье Параша было очень расстроено, ужасная ночь, проведенная в лесу, имела следствием простуду, которая более и более увеличивалась от непрерывного путешествия в большие морозы. Во время пребывания своего в Екатеринбурге Параша старалась научиться грамоте. По этому, однако, нельзя заключать, что родители ее не хотели вовсе думать о воспитании единственной их дочери; но мысль о вечном изгнании заставила их объяснить ей высокие истины закона Божия, внушить покорность к Промыслу, приучить к домашнему хозяйству и рукоделиям, необходимым в сельском быту; дальнейшего же образования они не могли дать Параше и даже считали его не только бесполезным, но даже вредным для девушки, по-видимому, предназначенной к самой бедной жизни. Такой, можно сказать, недостаток еще более заставляет удивляться Параше. В детстве она начинала учиться читать, но потом, ежедневно помогая своей матери в домашнем хозяйстве, совершенно забыла даже самые буквы; теперь же снова принялась за учение со всею охотою и твердостью своего характера. По прошествии нескольких месяцев Параша разбирала уже молитвенник, который подарили ей ее благотельницы. Нередко с трудом отрывали ее от такого занятия. Удовольствие, ощущаемое Парашею при чтении молитв, в которых она находила выраженными ясно и трогательно свои чувства, заставляло ее скорее сделаться грамотною и читать Божественные книги. «Как счастливы люди, которые умеют читать, - говорила она, - как усердно они должны молиться Богу, имея ясное понятие о вере и средства благодарить Творца Небесного за неизмеримое Его милосердие!»

Милина улыбалась при таких рассуждениях и думала, что для столь глубокого чувства и таких пламенных молитв, конечно, нет ничего невозможного. Эта мысль еще более убедила двух дам действовать намерениям Параша, предоставив остальное Провидению, которое, очевидно, покровительствовало страннице. Однако все же Милина и г-жа Г. старались отклонить Парашу от желания идти в Петербург, представляя ей трудности такой дороги, делали лестные и выгодные предложения, желая удержать у себя, но ничто не могло поколебать сильную душу дочери, проникнутую любовью к родителям. «Что-то делает теперь отец мой в изгнании, тогда как я наслаждаюсь здесь всеми благами жизни?» - беспрестанно спрашивала сама себя Параша.

Наконец, когда наступила весна, г-жа Милина, снабдив Парашу всем нужным для дороги и, хорошо зная трудности путешествия из Екатеринбурга через Уральские горы и по рекам до Нижнего Новгорода, поручила бедную девушку известному по честности и благотворительности купцу, отправлявшемуся туда по торговым делам. С ним ехала Параша то сухим путем, то водою. С такими затруднениями они достигли почти до устья Камы, и во все время этого пути добрый купец усердно заботился о Параше; но, к несчастью, он заболел и принужден был остаться в деревушке, лежащей на берегу этой реки. Параша снова осталась без руководителя, снова должна была сама обо всем заботиться. Она на купеческом судне благополучно достигла до Лаишева, отсюда, вверх по Волге, судно потянулось где лошадьми, где людьми (гужем). В это плавание с путешественницей случилось несчастье. В сильную бурю, какие часто бывают в этой стране, судовщики, желая скорее пристать к берегу, поспешно поворачивали судно огромным рулевым веслом и, по неловкости при этом движении, столкнули в воду Парашу и еще двух путешественников. Благодаря Бога их успели спасти, но Параша, не имея места переодеться, осталась в мокром платье.

Сильная простуда была следствием этого несчастья, имевшего губительное влияние на здоровье путницы. Екатеринбургские дамы поручили проводнику сделать все нужные распоряжения к дальнейшему ее путешествию от Нижнего и не дали писем к своим знакомым в этом городе, потому что Параша не думала там прожить долго, и она по прибытии туда должна была остаться совершенно без покровителей. Судовщики, высадив на берег, отдали ей поклажу, которая щедростью г-жи Милиной несколько увеличилась.

Параша прежде всего пошла помолиться в монастырь, построенный на высоком берегу Волги недалеко от пристани, а потом хотела идти в город искать себе приюта. Войдя в церковь, она услышала умиленное пение монахинь и почла это хорошим для себя предзнаменованием. Тут она вспомнила о своем обете постричься в монахини и теперь еще более укрепилась в этой мысли. Когда Господь Бог поможет мне облегчить участь моих родителей, - подумала Параша, - то я посвящу Ему на служение всю свою жизнь и непрестанно буду возсылать к Небу благодарные молитвы за все ниспосланные мне милости.

Выходя из церкви по окончании Божественной службы и сотворив последнее крестное знамение, наша юная путешественница была поражена великолепным зрелищем. Ей представился обширный, оживленный торговлею город, лежащий при впадении Оки в Волгу. Высокие златоглавые храмы Божии, местами украшенные яркою весеннею зеленью, живописные берега реки, белые паруса на купеческих судах, множество каменных домов, повсюду кипящий деятельностью народ и синева дали - все это, озаренное последними лучами заходящего солнца, невольно своим величием поражает даже и тех, кто привык к таким впечатлениям. Трудно выразить, что чувствовала в эту минуту Параша, какой-то невольный трепет овладел ею.

Ей страшно показалось идти в город, где она не знала, куда приклонить голову. Параша, оставляя родителей, готова была перенести вся-

кие нужды, голод, жестокою стужу, болезни и даже не страшилась смерти, но, узнав людей и наслышась, что нередко в больших городах бедный странник, видя повсюду холодное равнодушие и сильнее чувствуя свое одиночество, находится под гнетом какого-то очарования, встречая только глаза не видящие и уши, не слышащие его. При виде Нижнего Новгорода Параше вполне представился весь ужас такого положения.

У своих благотворительниц в Екатеринбурге она ознакомилась несколько со светским бытом и поняла, что ей, как дочери благородных родителей, неприлично и унижительно даже просить подаяния, к чему она по необходимости прибегала в начале своего странствования. «Боже мой! - говорила она, - где я найду таких добрых людей, как мои екатеринбургские благодетельницы?.. Вот я уже более, чем за тысячу верст от них! Я боялась всегда войти в самую бедную хижину, что же будет со мною, когда я в Петербурге подойду ко Дворцу Государя?..»

Эта мысль так поразила Парашу, что она в первый раз приуныла и заплакала. Вспомнив слова отца, в которых он представлял, как ей будет трудно дойти до Государя, она ужаснулась своего предприятия, но в ту же минуту уже упрекала себя в малодушии и просила прощения у своего Ангела Хранителя. «Без сомнения, Всемогущий, - говорила она впоследствии, рассказывая об этом случае своего путешествия, - Он внушил мне мысль снова войти в церковь и просить у Господа подкрепить утраченные силы». Параша опять вошла в храм Божий и начала со слезами молиться. В это время бывшая в церкви монахиня увидела нашу бедную странницу, благоговейно стоящую на коленях пред иконами и удивлялась ее усердному молению.

- О чем ты молишься, - спросила монахиня, подходя к Параше, - время уже заирать церковь? - Бедная девушка, смущенная вопросом, рассказала откровенно, что заставило ее возвратиться в Храм Божий и, объяснив свою боязнь идти в город искать пристанище, просила дать ей приют в монастыре. «Пойдем к нашей доброй матушке Игуменье, она верно не откажет в этом, а еще поможет тебе на дорогу!» - «Я прошу только позволить мне переночевать здесь, - отвечала Параша, - мои благодетельницы дали мне средства покуда не знать нужды, и я могу хотя несколько времени обойтись без милостыни, а завтра я пойду дальше в дорогу!»

Монахиня заперла церковь и повела бедную девушку к Игуменье. Подойдя к ее келье, инокия, по монастырскому обыкновению, прочитала молитву и, услышав разрешающее слово - аминь,



Илл. К.А. Зеленцова.

- вошла в келью. Упав на колени пред Игуменьей, Параша не могла найти слов выразить свою просьбу. Набожная Настоятельница подошла к оробевшей страннице, обласкала ее и велела встать. Параша сказала свое имя, объяснила причину путешествия, подала свой паспорт и просила приюта хотя бы на одну ночь. Игуменья, пораженная словами говорившей и возвышенными чувствами детской любви, в них выраженными, с радостью согласилась исполнить просьбу.

После этого усталую путницу осыпали ласками, и по окончании вечерней трапезы, к которой была приглашена Параша, многие монахини, побуждаемые любопытством, расспрашивали ее о путешествии. Она отвечала на бесчисленные их вопросы с таким непритворным красноречием, что заставила всех своих слушательниц невольно удивляться ее предприятию и проливать слезы умиления. Игуменья поместила ее в своей келье и с этой минуты задумала оставить в монастыре белицею.

Читатель, верно, припомнит, что по выходе из Ишима Параша спрашивала о Киеве, полагая, что он лежит на дороге в Петербург. В этом городе, славном святынею и древностью, она намеревалась посетить знаменитые пещеры, почтить поклонением мощи Святых угодников, в них почивающие, потом, по благополучном окончании своего предприятия, возвратиться в Киев и принять сан инокини в одной из тамошних женских обителей.

Узнав свою ошибку, Параша решила в Нижне-Новгородском монастыре, в котором теперь дали ей приют, со временем постричься в инокини и объявила свое желание одной только Игуменье, но не согласилась на ее убеждения остаться у них и не ходить в Петербург. «Знаю ли я сама, - говорила Параша, - к чему призывает меня Бог? Я хочу, я искренно желаю умереть здесь, и если такова воля Господня, то кто же изменит ее?»

Параша приняла предложение пробыть у них несколько времени, чтобы отдохнуть от дороги и приискать случай отправиться в Москву, и к тому же почувствовала себя не совсем здоровою. После падения в Волгу бедняжка сильно кашляла, что ее очень тревожило, теперь простуда обратилась в опасную горячку, и доктора отчаивались в жизни Параша, но она не теряла надежды на выздоровление и говорила: «Не может быть, чтобы я скоро умерла, я надеюсь на Господа! Он позволит мне окончить мое предприятие!» И точно, она начала поправляться, хотя весьма медленно, почему и провела остаток лета в монастыре. При слабом здоровье ей невозможно было отправиться в дорогу пешком или в беспокойных крестьянских телегах и повозках. Плыть водою было уже поздно, и поэтому Параша принуждена была ждать зимнего пути, чтобы добраться до Петербурга.

В течение всего этого времени она так строго исполняла правила и обязанности монастырской жизни, что, может быть, этим замедлила свое выздоровление и при том старалась многому научиться от монахинь. Такою жизнью она заслужила любовь и расположение Настоятельницы и инокинь, которые не сомневались, что Параша исполнит когда-нибудь свое обещание и возвратится в их обитель для пострижения.

Между тем здоровье Параша, по-видимому, укреплялось, зимний путь установился, и она, приислав попутчиков, просила Игуменью благословить ее в дорогу. Добрая Настоятельница, не удерживая более Параша, дала ей письмо в Москву к своей старинной знакомой г-же С., уверила, что в доме ее путешественницу примут, как родную, и приказала отслужить напутственный молебен. Помолясь усердно, Параша подошла к Игуменье, до глубины души тронутая ее милосердием и ласками монахинь, благодаря за прием, оказанный ей, бедной страннице, в стенах святой обители. Игуменья напутствовала Парашу молитвою и вместе с инокинями проводила до монастырских ворот. Параша села в крытые сани со своими добрыми попутчиками и через неделю благополучно приехала в Москву.

Г-жа С., радушно приняв путницу, оставила ее у себя на несколько дней и приискала случай отправить в Петербург. Какой-то купец, ехавший с женою в собственном экипаже на своих лошадах, по просьбе новой знакомой Параша, взял ее с собой. Как не желала она посетить многие храмы Божии, посмотреть на достопамятности первопрестольной нашей столицы, о которой много наслышалась, но мысль об освобождении родителей влекла ее в Петербург. Двадцать дней путешественники пробыли в дороге, останавливаясь в деревнях на ночлег, а также для корма и отдыха лошадей.

Кроме рекомендательных писем, которые дали екатеринбургские благодетельницы, Параша получила еще одно от г-жи С. к княгине Т., даме всеми уважаемой. Перенеся всю трудность и опасности далекого пути, почти через полтора года по выходе из Ишима, добралась Параша до столицы, с тою же бодростью, с тою же надеждою, как в первый день своего странствования. Добрые попутчики по приезде в Петербург оставили Парашу у себя на квартире, нанятой ими в большом доме на Екатерининском канале. Купец, занятый торговлей, не имел времени хлопотать за Парашу, однако вызвался отыскать княгиню Т., но не успел исполнить этого, потому что неожиданно должен был ехать по делам в Ригу и оставил свою бедную жилицу на попечение жены. Эта добрая женщина, полюбив Парашу как родную, от души желала ей всего хорошего, но не знала, каким образом помочь ее предприятию.

Наша бедняжка, находясь в обширной столице, так испугалась многолюдства и непрерывного движения народа на улицах, что первое время боялась даже выйти из дома, и потому несколько времени рекомендательные письма оставались не разнесенными.

У Параша было письмо с верным адресом к г-же Л., которая жила на Васильевском Острове. Через несколько дней по отъезде купца Параша вместе со своей хозяйкою отправилась к этой Госпоже. Лед на Неве был уже ненадежен, и ходить по нему было запрещено. Параша, опечаленная таким препятствием, возвратилась домой, где один из знакомых купца, ее хозяина, дал ей весьма неудачный совет подать просьбу в Сенат и обещал отыскать грамотного человека написать такую бумагу. Успех прошения, поданного тобольскому Губернатору, заставил Парашу решиться на это. Просьбу написали дурно, не по форме,

не выразили ясно желания просительницы и даже не научили, как подать эту бумагу. Между тем время проходило, а ни одно рекомендательное письмо не было доставлено по назначению.

Однажды рано утром Параша с просьбою отправилась в Сенат. С робостью поднималась бедняжка по широким лестницам этого здания, спрашивала у сторожей, где подают просьбы, и, получая короткие и не удовлетворительные ответы, добралась до Канцелярии. Тут она, первый раз в жизни увидя множество чиновников, занятых делами, совершенно растерялась и не знала, к кому обратиться с просьбой. Через несколько минут Параша ободрилась и показала ее проходившему с бумагами чиновнику в очках, который или не заметил, или спешил, но не обратил никакого внимания. Вслед за ним шедший сторож Канцелярии спросил у Параша, что ей нужно? Она показала ему просьбу и просила подать в Присутствие. Сторож, видя бедную одежду Параша, подумал, что она просит милостыни, как нищая, и сурово взглянув, сказал: «Ах, матушка, здесь не место просить подаяние, ступай-ка прочь отсюда!» Бедняжка вышла из канцелярии и, не смея снова войти туда, остановилась на сенатском крыльце, решась подать просьбу первому Сенатору, которого увидит, и простояла там до окончания Присутствия.

Много приезжало в Сенат чиновников и важных особ, в богатых мундирах, с орденами, со звездами и даже в эполетах. Она видела, как приезжавшие выходили из экипажей, проходили мимо ее; к одним не смела приблизиться, сама не зная почему, другие ее не замечали, но многие, считая за бедную, подавали что-нибудь, но на просьбу не обращали внимания и не развешивали даже, полагая, что это было свидетельством о бедности, обыкновенно выдаваемое честным несчастливцам. И так просьба и в этот день не была подана.

После трех часов по полудни, видя, как все разъезжались и расходились из Сената, опечаленная Параша пошла оттуда. Она, по своей простоте, думала, что Сенаторы принимают просьбы сами, где бы не увидели просителей, и полагая, что, видно, сегодня не было ни одного Сенатора, возвратившись домой, рассказала хозяйке о своей неудаче. Добрая женщина, не имея никакого понятия, как подают просьбы, не знала, что присоветовать Параше. На другой день бедная девушка опять пошла к Сенатскому крыльцу и простояла там все утро, дрожа от весеннего холода и надеясь в приезжавших поселить к себе сострадание, но всякий был занят своим делом, и успех ее попытки был такой же, как и накануне. Все, с кем не желала она заговорить, считали ее за бедную, подавали милостыню, но не обращали внимания на просьбу и не принимали никакого участия.

Такова обыкновенно жизнь в больших городах: нищета и изобилие, счастье и горе встречаются там на каждом шагу, и найдется очень немного сострадательных сердец, как бы избранных самим Провидением, которые сближали бы два противоположные мира, не имеющие между собою ничего общего, – мир бедности и мир богатства.

С неделю Параша каждый день ходила к Сенату, но без всякого успеха. Вот видит она: выходит из кареты величавый сановник пре-

клонных лет, в красном мундире, в ленте и в звездах. «В красном мундире – это, верно, Сенатор!» – подумала просительница и подошла к нему с просьбою. Параша слышала уже, что Сенаторы носят такие кафтаны, когда приезжают в Присутствие.

Сенатор, увидя бедную девушку, вынул из кармана бумажник, взял из него пятирублевую ассигнацию, положил на просьбу и пошел в Присутствие. Смущенная неожиданною щедростью вельможи, Параша с признательностью приняла даяние, но удивлялась, что даже и он не обратил никакого внимания на просьбу и не прочитал ее.

В Сенате на Страстной неделе не бывает присутствия. Параша в это время готовилась к Святому причастию.

С душевным благоговением приобщась Святых Тайн, она успокоилась, получив как бы свыше внутреннее убеждение, что недолго будет ходить в Сенат, и сказала об этом хозяйке, как о деле совершенно конченном. Эта женщина, не имея почти никакой надежды на принятие Парашинной просьбы, советовала лучше скорее разнести рекомендательные письма.

Хозяйке нашей сибирячки случилась надобность побывать у своих знакомых в Адмиралтействе, это было в присутственный день, и она предложила Параше ехать вместе на дрожках. «Удивляюсь, – говорила дорожною купчиха, – сколько ты убила времени и трудов, а по сию пору еще не теряешь надежды? На твоём месте я оставила бы и Сенат, и Сенаторов, а скорее бы положила просьбу к памятнику Петра Великого», – при этих словах она указала на монумент Его!

– Господь Всемогущ, – отвечала Параша. – Он не оставит меня своею милостию! Сегодня я пойду последний раз в Сенат и предчувствую, что мое прошение будет принято. Да! – прибавила она, сходя с дрожек, – Господь велик, и если угодно Его Святой воле, то просьба моя, положенная даже и перед памятником Великого Государя, доставит счастье моим родителям.

В то время как Параша с удивлением рассматривала величественный монумент, спутница, показав, что наведен мост, спросила ее: «Взяла ли ты с собою письмо к г-же Л., я еще успею отвезти тебя на Васильевский Остров!» Параше было очень рано идти в Сенат, и она воспользовалась предложением. Они поехали по мосту, и глазам Параша открылось прелестное зрелище. В этот день погода была ясная и тихая, быстрая Нева ровно несла струи свои и, как в зеркале, отражала свои берега, унизанные великолепными зданиями, корабли и суда с белыми парусами и разноцветными флагами, освященными яркими лучами ут-



Илл. К.А. Зеленцова.

ренного солнца. По этой реке, ознаменованной победами Св. Александра Невского и деяниями Великого Петра, в разных направлениях носились небольшие ялики и лодочки. Говор народа, стук экипажей и повсеместное движение, выражающее жизнь столицы, приятно изумило Парашу, напомнило ей Нижний Новгород и оживило надеждою на счастье. Какое-то предчувствие говорило ей, что она не напрасно пойдет к г-же Л. «Мне кажется, - сказала Параша своей спутнице, - что Всеблагий Господь скоро пошлет мне свою милость»

Г-жа Л. была уже предуведомлена письмом из Екатеринбурга о Параше и, узнав, что бедная девушка давно в Петербурге, пеняла, зачем она не приходила так долго. Такой радушный прием и дружеский упрек живо напомнил Параше о екатеринбургских благотворительницах. На вопросы г-жи Л. Параша рассказала, что ее научили подать в Сенат просьбу о помиловании отца и как безуспешно до сих пор ходит она туда. Муж г-жи Л., прочитав бумагу, нашел, что она написана не по форме и человеком неопытным. «Я скорее всех, - сказал он Параше, - мог бы помочь тебе по Сенату, один из моих близких родственников занимает там значительное место, но я откровенно скажу тебе, что мы недавно разладились с ним; впрочем, ссора наша вышла из-за пустяков, теперь же Святые дни, и мы рады помириться, мне очень приятно, что ты, Параша, будешь причиною нашего примирения!»

Страницу нашу оставили обедать, и все бывшие там гости приняли в судьбе ее живое участие. Вдруг, в ту минуту, когда садились за стол, в комнату вошел родственник, о котором говорил хозяин. «Христос Воскресе!» - воскликнул пришедший, и дружеские объятия заменили всякое объяснение. Г. Л., пользуясь добрым расположением своего родственника, тогда же представил ему молодую сибирячку. За столом все говорили об ее деле; все решили, что Сенат для него не был настоящею дорогою. Рассмотрение дела ее отца по всем правилам судопроизводства было бы очень продолжительно, и потому почли гораздо лучшим для Парашы прибегнуть прямо к милосердию Императора, обещая со временем доставить ей для этого благоприятный случай. Одним словом, все гости советовали ей не обращаться более в Сенат. Вечером по приказанию г-жи Л. Парашу отвезли домой к купчихе.

Дорогою Параша благодарила Божий Промысел, приведший ее в дом Г. Л., в минуту столь полезного для нее примирения двух родственников. Проезжая мимо Сената, она невольно вспомнила свою молитву к Небесному Отцу, о том, чтобы не долго ходить в Сенат. «Господь сделал для меня более, чем я могла ожидать, - думала она, - я теперь совсем уже не пойду в Сенат. Даже сам памятник Петра Великого оказал мне услугу; не будь тут этого монумента, я, может быть, и не заметила бы, что уже наведен мост и не познакомилась бы с такими добрыми людьми, которые хотят стараться о моем отце».

Так рассуждала Параша. Всякое помышление и движение сердца ее всегда были подкреплены святою верою. Хотя новые знакомые искренно желали всевозможных успехов предприятию Парашы, внушенному чувствами детской любви, но благополучие бедной девушки ниспослано было Всемогущим неожиданно, из другого источника.

Муж хозяйки, у которой жила Параша, возвратясь из Риги, удивился, найдя сибирячку все еще у себя на квартире. Он тотчас по приезде начал отыскивать княгиню Т., к которой у Парашы, как мы сказали, было письмо. Эта дама, зная уже о прибытии в Петербург девицы Лупаловой, давно ожидала ее к себе. Купец, повидавшись с княгинею, получил приказание привести к ней на житье Парашу. С большим сожалением оставила бедняжка дом, в котором жила два месяца; грустнее всего было ей расстаться с доброю хозяйкой, но покровительство знатной дамы так многое ей обещало в будущем, что все эти выгоды пересилили и самую печаль.

Когда Параша пришла в дом княгини, швейцар отворил дверь. Увидя на нем раззолоченный кафтан, треугольную шляпу и булаву в руках, Параша приняла его за важного господина; она почтительно поклонилась ему. «Это слуга княгини!» - шепнул ей купец. Швейцар сказал бывшему тут лакею, чтобы он доложил княгине о пришедшей. Вскоре тот возвратился с ответом, что Ее Сиятельству угодно принять сибирячку. Он повел ее по широкой устланной богатыми коврами лестнице, добрый купец, между тем, пошел домой. Великолепие дома поразило странницу: наконец они дошли до зала. Слуга отворил дверь и дал знак Параше войти. Робко вступила она в комнату и совершенно смешалась от блистательного освещения и богатства, которые поразили непривычные глаза ее. Притом в это время у княгини были гости; многие из них сидели в этом зале, занятые картами или разговором. Это еще более смешало Парашу, она не знала, что делать, и остановилась у дверей. Между тем гости, вероятно, предуведомленные хозяйкой дома, с любопытством смотрели на Парашу.

Наконец княгиня, тут же игравшая в бостон, подозвала сибирячку к себе. «Я давно ждала тебя, моя милая, - сказала княгиня, - мне о тебе писали...» Параша поклонилась и, не зная, что отвечать, молчала. Заметя смущение девушки и желая ободрить ее, княгиня продолжала: «Да, впрочем, и у тебя самой, верно, есть письмо ко мне?» Полагая, что княгине угодно прочесть его, Параша поспешила вынуть письмо из своего дорожного бумажника. Молодые девицы, бывшие в зале в числе гостей, шептались между собою и смеялись над нею. Княгиня, взяв письмо, начала читать его внимательно. В это время один из игравших в карты с княгинею в нетерпении стучал по столу пальцами, смотря на пришедшую гостью, прервавшую своим посещением его удовольствие. Параше показалось, что это был тот самый господин в очках, который не хотел принять от нее просьбы в Канцелярии Сената. Увидев, что княгиня свернула письмо, он сказал: «Бостон!» Смущенная Параша, думая, что он говорит с нею, отвечала: «Что вам угодно?» Все гости засмеялись. «Я хвалю твое предприятие, - сказала княгиня, - вижу, что оно внушено тебе нежною твоею любовью к родителям и сделаю для тебя, все, что могу! Теперь ступай, моя милая, отдохни в комнате, которая для тебя приготовлена!» Сказав эти слова, княгиня подала знак стоявшей подле нее даме проводить Парашу, и они обе вышли из зала.

Грустна была Параша в первые дни у своей благодетельницы, чувствуя себя совершенно одинокою. Бедная девушка лучше бы желала

остаться у г-жи Л. или у прежней своей хозяйки доброй купчихи, но вскоре привыкла и ознакомилась со всеми домашними княгини, которые обходились с Парашею весьма вежливо и ласково. Хотя сама княгиня была расположена к юной сибирячке и очень любила ее, но Параша иногда по нескольку дней не видала своей знатной благодетельницы, которая, исполняя условия светской жизни, часто посещала своих знакомых. Вот почему Параша не могла и не имела случая просить княгиню о своем деле. Бедняжка несколько раз просила даже посещавших дом княгини поговорить об этом с Ее Сиятельством; но потому ли, что княгиня считала надежды Параша несбыточными, или, может быть, люди, которые обещали говорить с княгинею, забывали, только просьбы Параша были безуспешны. На Бога возлагала она свои ожидания и помнила обещание семейства г-жи Л., с которым очень часто выдавалась.

Параше, еще до приезда в дом княгини, кто-то посоветовал подать прошение о пособии в Канцелярию И.Ф. Ву... и обещал сам хлопотать в этом случае. И.Ф. Ву..., полагая, что Параша обыкновенная нищая, назначил ей 50 рублей ассигнациями и приказал самой явиться в Канцелярию за получением назначенных к выдаче денег. На другое утро Параша пришла туда, но И.Ф. еще не приезжал в Канцелярию. По совету какого-то чиновника она пошла в дом И.Ф. Ву..., но и там не застала его. Супруга этого благотворительного сановника приняла весьма ласково просительницу, слушала рассказ о путешествии и перенесенных опасностях с удивлением и истинным участием. Наконец юная труженица после стольких лишений, действуя с самоотвержением, встретила с человеком, одаренным высокими добродетелями и близким к Престолу Государя. Этот доблестный муж способствовал успешному и скорому окончанию подвига Параша.

Благотворительная г-жа Ву... долго разговаривала с Парашей, просила ее погодить до возвращения супруга и принимала в судьбе ее все более и более участия, которое невольно почувствовала к ней с первой минуты свидания.

Когда люди истинно достойные уважения и одаренные свыше великими душевными качествами встречаются в первый раз, то они не знакомятся, но как бы узнают друг друга, будто старые, давно не видавшиеся друзья, которых надолго разлучили только место пребывания или неравенство состояний.

Разговаривая с этою приветливой дамой, Параша почувствовала какое-то невольное очарование и беспредельную уверенность, что благосклонный прием и внимание к ней, бедной страннице, оказанные г-жой Ву..., предвещают счастливое окончание трудного предприятия. И.Ф. Ву... вскоре возвратился домой и был встречен своею достойною супругою, которая в ту же минуту рассказала ему о необыкновенной просительнице и объяснила в нескольких словах подвиг Параша. И.Ф. приказал представить к себе девицу Лупалову, расспросил ее о причине путешествия и, убедясь из ее слов, выражавших беспредельную покорность к Божию Промыслу и нежные чувства любви к родителям, был удивлен самоотвержением и благородством сильной души юной

сибирячки. Почитая несоответственно наградою назначенное ей пособие, он тогда же решился доложить Императрице о ее подвиге.

Поспешая во Дворец с докладом к Государыне, он сказал Параше: «Молись Богу, Его благость не оставит твоих родителей! Подожди меня здесь, пока я возвращусь из Дворца!»

И.Ф. Ву... начал доклад Императрице рассказом о изумительном самоотвержении Параша. Милосердная Монархиня, приняв живое участие в судьбе Лупаловых, повелела представить себе необыкновенную девушку в тот же день в 7-м часу вечера.

И.Ф. возвратился из Дворца в ту минуту, когда просительница беседовала с его супругой и не ожидала, что счастье так близко. Он весело вошел к ним в комнату и объявил Всемилостивейшую волю Государыни. При этих словах сильная душа молодой девушки была потрясена восторгом неожиданной радости, бедняжка побледнела и, взглянув на икону, воскликнула: «Господи, вижу твой милости!» Потом совершенно смущенная и, не зная, как высказать благодарность своему новому покровителю, бросилась к ногам его.

Г-жа Ву..., пораженная такими чувствами, хотела поднять Парашу, но она ухватилась за руки своей благотворительницы и, обливая их слезами, сказала: «Ах!... Вы понимаете мою душу, поблагодарите за меня!..» Тут она заговорила несвязно, ей сделалось дурно. В ту же минуту оказали ей пособие, и она скоро пришла в себя, успокоилась и собралась с духом предстать перед Царицею.

В назначенное время г. Ву... повез Парашу к Императрице.

Дорогою наша сибирячка думала о своем отце, который ей часто говорил, как трудно войти во Дворец к Государю. «Если бы мой батюшка видел, - сказала она своему покровителю, - пред кем предстану я теперь!.. Господи, доверши Твои милости!..»

Г. Ву... ободрял Парашу и говорил ей: «Будь спокойна, тебе бояться нечего, Царица примет тебя, как добрая мать!»

Они приехали во Дворец. Об них доложили. Параша с благоговением и с невольным трепетом вошла в кабинет Императрицы.

Мать великих Государей, забывленная своими щедротами, с ангельской добротою приняла Парашу и расспрашивала о ее родителях, путешествии и вообще о всех обстоятельствах жизни, которые подробно желала узнать, после доклада г. Ву... . Утешительница всех страждущих милосердно вняла просьбе молодой девушки, хвалила дочернюю любовь ее, тотчас же повелела г-ну Ву... выдать Параше триста рублей и обещала поговорить о ее родителях с Державным Своим сыном.

Параша приехала из Дворца, восхищенная своим счастьем. Когда г-жа Ву... спросила ее: «Что, моя милая, как приняла тебя Царица?», то счастливая Параша не могла ни слова вымолвить, она схватила опять за руки свою благодетельницу и, целуя, орошала их слезами благодарности.

Успокоившись несколько от волнения чувств, Параша несвязно выражала признательность своим великодушным покровителям. Часа через два она возвратилась в дом Княгини Т. и, желая объяснить свое счастье, вошла в гостиную, где было большое собрание. Подойдя к



Княгине, радостная Параша простодушно рассказала о щедротах Императрицы. Княгиня и все гости, изумленные рассказом, в числе их и любитель бостона, невольно приняли искреннее участие в благополучии Параша, охотно вызвались поговорить в ее пользу с Министром и хлопотать, где нужно, по ее делу.

От чистого сердца поблагодарив за доброе участие, Параша ушла в свою комнату и излила свои благодарные чувства в теплой молитве ко Всевышнему за неожиданные блага, Им ниспосланные. Совершив молитву, Параша хотела успокоиться, но сон долго не смыкал ей очей.

На другой день воспоминание о происшедшем накануне ожило в ее уме, она радостно воскликнула: «Боже мой! Не сон ли это? Неужели я видела Государыню и она так милостиво говорила со мною?» Чем более прояснялись мысли Параша, тем она делалась радостнее. Нечаянно увидев деньги, дарованные милосердием Императрицы, наша счастливица убедилась, что это была не мечта.

Через несколько дней Государыня назначила Параше пенсию и Сама изволила представить необыкновенную девицу царствовавшим Императору и Императрице.

Августейшие особы оказали весьма милостивый прием Параше. Она получила от щедрот Их подарки на пять тысяч рублей. Дело отца ее повелено было пересмотреть министру К.

Участие, которое она поселила к судьбе своей в этом государственном муже и во всем его семействе, отвратило все дальнейшие затруднения. Этот сановник всегда имел ввиду благо человечества, и уже многие спасенные им несчастливыцы возсылали за него благодарные молитвы ко Всевышнему. Г.К. немедленно рассмотрел дело Лупаловых. С этой минуты Параша была уверена в счастливом окончании своего предприятия.

Простодушная Параша, обласканная Августейшею Императорскою фамилией, дивилась редкой услужливости и вниманию, которое теперь оказывали ей в высшем кругу общества. Семейства вельмож, посланников желали ее видеть; высокие религиозные чувства, самоотвержение для блага родителей возбуждали теперь к ней во всех удивление и благотворительность. Княгиня И. и госпожа В. назначили ей пенсию каждая по сто рублей. Это, однако же, нимало не изменило характера Параша и не поселило в ней ни малейшего тщеславия. Неожиданно обратив на себя внимание света, она поступала по-прежнему, с уверенностью и с детскою простотою, не имеющей понятия о злоумышленности людей. Между тем, уже многие ей завидовали; но это были люди, которые вечно изучают поступки человека добросовестного, желают усвоить себе простоту его и всегда тщетно стараются достигнуть до той точки нравственного совершенства, с которой бы им надо было начинать свои действия.

Параша, воспитанная в страхе Божиим и покорности родителям, приведенная судьбою в круг людей высокого светского образования, не уронила своего достоинства. Светлый врожденный ум и здравое суждение удивляли всякого; хотя скромные, но благоразумные ответы ее часто приводили в смущение любопытных вопрошателей.

Так однажды в большом собрании кто-то во время рассказа Параша спросил ее: «За какое преступление сослан ее отец?» Общее безмолвие при таком неуместном вопросе доказывало негодование всех присутствовавших. Параша, несколько смущенная, ответила: «Родители никогда не могут быть виновны в глазах своих детей!»

И, надо сказать, что во всех словах Параша ясно выражались сила души и благородный характер; она даже совестилась слышать преувеличенные похвалы своему подвигу и говорила, что он совершен по воле Божией.

Две придворные дамы, графини В., которых душевно уважала Параша, взяли ее однажды с собою во Дворец, желая показать ей внутреннее его убранство. Их радовало восхищение Параша при виде богатства комнат. Войдя в Георгиевский зал, она перекрестилась, думая, что вступила в церковь. Когда г. Ву... вел в кабинет Императрицы Парашу, то мысли о Царице и уверенность в счастливой перемене участи родителей так овладели юной девушкой, что она и не заметила проходивших комнат. Теперь все ей показалось новым, как бы никогда не виданным.

Когда она, ослепленная величием и блеском царских чертогов, проходила по тронной зале, графиня В. указала на трон. Параша, всплеснув руками, в ту же минуту с невыразимым благоговением произнесла: «Как, это престол Государя!» Она побледнела и, в избытке чувств, трепеща от волнения, упала на колени и целовала ступени трона, обливая их слезами. «Батюшка, - воскликнула она рыдая, - знаешь ли ты, где я теперь?!» Рыдания ее не прекращались. Эти чувства благодарности были так искренни и сильно выражены, что у всех окружающих признательную девушку полились слезы по какому-то невольному сочувствию. Утомленная сильными ощущениями, Параша пожелала возвратиться домой. Через несколько дней те же дамы повезли ее в Эрмитаж.



Илл. К.А. Зеленцова.

Это хранилище искусств и редкостей, поражающее величием, драгоценностями, изящностью и внутренним своим богатством всякого, пленило Парашу, не воображавшую ничего подобного. Здесь она, рассматривая картины, была в восхищении. Она угадывала их значение, взятое из Священного Писания; но, проходя мимо живописного произведения Луцио Жиордано, представляющего Силену, заметила: «Вот дурная картина, что означает она?» «Это изображение одной басни», - отвечали Параше. «Какой?» - спросила она. Трудно было объяснить картину любопытной сибирячке, не имевшей никакого понятия о мифологии. «Стало быть, все это неправда? - сказала она, - люди с козли-

ными ногами! Ну не глупо ли рисовать то, чего никогда не было!» Так, на двадцатом году своей жизни, Параша училась тому, что знают многие дети. Впрочем, любопытство никогда не доводило ее до нескромных вопросов, она редко делала их, стараясь всегда сама угадывать то, что ей казалось странным и непонятным.

Параша очень любила слушать разговоры образованных людей, преимущественно тогда, когда на нее не обращали особенного внимания. Смотри на говорившего, она боялась проронить слово и никогда не забывала слышанного, доступного ее понятиям. Когда же она была в кругу добрых знакомых, то невольно склоняла разговор на милостивый прием, оказанный ей Августейшими Особами, с истинным чувством вспоминала каждое Их слово и всегда говорила об этом со слезами благодарности. Она жалела, что редко говорят о признательных ее чувствах к благодатному Императорскому семейству.

Между тем, указ о возвращении ее отца состоялся не так скоро, как она ожидала. В то время, как покровители Параша старались ускорить ход дела родителя ее, она не забыла и о двух ссыльных, которые при расставании с нею в Ишиме отдавали ей на дорогу свои последние деньги, составлявшие всего один рубль.

Часто она говорила об этих добрых несчастливцах тем, кто мог оказать им помощь своим ходатайством; но все единодушно советовали просить лишь за отца, и только одна боязнь повредить ему могла заставить ее следовать справедливым и благонамеренным советам. К счастью двух страдальцев, милосердие Императора доставило Параше возможность и им быть полезною.

Когда указ об освобождении отца ее был послан в Сибирь, государь Император повелел объявить ей эту радость и поручил Министру спросить, нет ли у нее собственной просьбы о себе самой. Параша отвечала, что если великодушному Государю угодно оказать ей еще одну милость, то осмеливается умолять Его о помиловании двух несчастных сотоварищей ее родителей. Министр доложил Императору об этих благородных чувствах юной просительницы, которые заставляли сибирячку просить Царской милости не себе, а другим. Просьба Параша была исполнена, и указ об их возвращении был в скором времени отослан к тобольскому Губернатору.

И так доброжелательство двух ссыльных, хотя малыми средствами, помочь страннице было вознаграждено Монаршим милосердием.

Параша, счастливо совершив свой подвиг, вскоре стала думать об исполнении данного обета и пошла на богомолье в Киев. Размышляя о всех благах, ниспосланных Провидением, она твердо решила посвятить свои дни Богу. В то время, когда она к этому готовилась и исполняла в Киеве обязанности белицы с высоким христианским смирением, отец ее в Сибири получил вовсе неожиданное известие о своем помиловании. Прошло около двух лет, как Лупаловы отпустили свою дочь, но со дня разлуки не имели о ней никакого известия, хотя Параша не упускала случая посылать им письма. В это время Александр Благословенный вступил на престол; при радостном короновании Его изливались Монаршие щедроты; многие ссыльные получили свободу и доз-

воление возвратиться на родину, но ишимские не были между счастливыми. Участь Лупаловых стала еще тягостнее; лишенные всякой надежды, в разлуке с нежно любимой дочерью, которая прежде хотя несколько облегчала их изгнанническую, печальную жизнь, они уже совершенно были готовы пасть под бременем несчастья, как неожиданно курьер из Тобольска привез им прощение; и грусть, ими овладевшая, заменилась радостью. С указом о своей свободе получили они паспорт для возвращения в Россию и необходимую на то сумму денег. Это происшествие и те события, которые, так сказать, произвели его, наделали много шума в Сибири. Жители Ишима и ссыльные, знавшие Лупалова, по получении известия о его прощении, пришли к нему. Старые сотоварищи его несчастья, смеявшиеся над предприятием Параша, и в особенности те, которые отказали ей в помощи, теперь очень сожалели, что прежде не хотели оказать ей пособия на дорогу. Лупалов с благодарностью принимал поздравления и был совершенно счастлив, но ему было жаль оставить двух своих друзей, о радостной участи которых он еще не знал.

Эти два старика находились в Сибири с давнего времени. После разлуки с дочерью Лупалов еще более сблизился с ними; они одни между всеми его знакомыми приняли искреннее участие в юной страннице. Постоянным их разговором была Параша. Где-то она теперь, счастлива ли кончит свое предприятие; вот о чем они постоянно думали. Лупалов хотел поделиться с ними полученным пособием, но они отказались от его предложения. «Нам не нужны твои деньги, - сказал один из них, - у меня еще цел двугривенный, который Параша не хотела взять от меня».

Не зависть, а глубокое уныние сокрушало этих двух несчастливцев, с тех пор, как они получили известие, что единственный друг разлучается с ними. Они вспомнили о Парашинем обещании о них постараться, но, узнав по слухам, дошедшим до Ишима, что она осыпана Царскими милостями, почитали себя забытыми и, в глубине сердца, таили свою горечь.

Накануне отъезда Лупалова они хотели уже проститься с ним, чтобы не тосковать более, провожая его, и ушли в свое жилище в девять часов вечера с сердцем, исполненным неизъяснимой грусти.

После их ухода Лупалов с женою рассуждали об участи своих друзей. «Конечно, - говорили Лупаловы, - наша добрая Параша и их не забыла, верно, она будет умолять Государя об их помиловании, если найдет к тому случай. Мы попросим ее об этом». С такими утешительными мыслями они приготовлялись в путь, намереваясь на другое утро встать пораньше.

Едва лишь успели они заснуть, как громкий стук в двери разбудил их. Это был фельдгегерь, привезший счастливое известие Лупаловым. Не найдя исправника, которому должен был отдать бумаги, он обратился к Лупаловым с известием о помиловании двух их друзей. Лупалов тотчас же повел к ним фельдгегеря.

Несчастливцы пришли домой от Лупалова в совершенной тоске. Войдя в свою жалкую хижину, в темноте, сели они на скамью и храни-

ли глубокое молчание. Что было говорить им? Они потеряли всякую надежду, и вечная ссылка представлялась им во всем ужасе. Два часа провели они в глубоком унынии, и вдруг свет фонаря озарил маленькое окно их жилища. Они слышат: несколько человек идут подле хижины и разговаривают между собою. Стучатся. Слышится знакомый дружеский голос. «Друзья, отворите! Вы помилованы, вы также помилованы! Отворите!»

Трудно выразить радость предавшихся унынию страдальцев, насколько минут только и слышно было: «Мы помилованы, Государь! Да будет святая воля Твоя, Всеблагий! Благослови милосердного Царя! Сохрани своими щедротами добрую Парашу, которая не забыла и нас!» Немногие в жизни испытали такой быстрый переход от безнадежного отчаяния к неожиданному счастью.

Исправник, придя к себе домой и узнав, что фельдъегерь искал его, поспешно пошел к двум ссыльным и, войдя к ним, распечатал пакет, в котором были два паспорта и письмо от Парашы к отцу. Она писала, что, получив новую милость в прощении добрых друзей своего отца, она с Божьей помощью собрала им на дорогу двести рублей ассигнациями, которые посылает им за дружбу к ее родителям и участие, оказанное ими при проводах ее, бедной девушки, из Сибири.

Между тем, Параша в Киеве с большим нетерпением ждала известия о возвращении отца и матери. По расчету времени ей казалось, что они могли бы уже и написать к ней. Приняв одежду белицы, она не имела намерения остаться в Киеве, желая навсегда поселиться в Нижнем Новгороде, в женской обители, как прежде обещала Настоятельнице, которой и написала, что находится на искусе в Киевском женском монастыре. Параша, приехав в обитель, подошла под благословение к Игуменье, вышедшей к ней навстречу в сопровождении монахинь и после обыкновенных приветствий в ту же минуту спросила: «Нет ли известий о моем отце». «Дочь моя, - сказала Игуменья, - хорошие вести, пойдем ко мне в келью, я сообщу тебе их». Настоятельница молча повела ее чрез весь монастырь по коридорам. Монахини молчали, их таинственные взгляды могли бы успокоить Парашу, если бы она в то же время не видела приятной улыбки на их лицах.

Войдя к Игуменье, Параша нашла у нее своих родителей, которым также не было сказано о приезде их дочери. В первую минуту они были удивлены, увидев свою любимую дочь в монашеской одежде, но, побужденные чувством благодарности, они пали пред нею на колени, а у Парашы, которая также сто-



Илл. К.А. Зеленцова.

яла на коленях, вырвались слова: «Что ты делаешь, батюшка? Господь, один Господь все сделал, станем благодарить Его за милости, нам оказанные!» Игуменья и монахини, тронутые этим зрелищем, также упали на колени и присоединили свои молитвы к благодарным мольбам счастливого семейства. После того Лупаловы обнимали друг друга: но невольные слезы катились из глаз матери, когда она смотрела на монашескую рясу своей дочери.

Счастье, которым наслаждались Лупаловы, со времени их свидания не могло долго продолжаться. Монашеская жизнь, на которую обрекла себя Параша, заставляла престарелых родителей жить с нею в разлуке, и она казалась им еще тягостнее прежней. Они навсегда расставались теперь с дочерью; их состояние не позволяло им поселиться в Нижнем, а у Лупаловой были родственники во Владимире, которые просили их приехать к ним жить; нужда заставила согласиться на такое предложение. Пробыв вместе с неделю, то в радости, то в печали, тревожимые и в счастья мыслею о предстоящей разлуке, они с горестью думали об отъезде в новое свое жилище, и добрая мать ничем не могла утешиться. «К чему послужила нам свобода, столь желанная? Все труды нашей дочери вели только к тому, чтобы навсегда разлучить ее с нами. Для чего мы все еще не в Сибири с нею?» Так плакала растроганная старушка.

Разлука с родными и друзьями всегда и во всякое время жизни тягостна; но она несравненно чувствительнее в старости, когда будущность не представляет уже ничего радостного.

Прощаясь со своими родителями в келье Игуменьи, Параша обещала навестить их во Владимире в скором времени. После того все семейство Лупаловых, Настоятельница и монахини пошли в церковь. Параша хотя не менее своих родителей чувствовала горесть разлуки, но показывала себя покорною воле Божией, стараясь ободрить тоскующую свою мать и в минуту разлуки не предаваться скорби.

Помолясь несколько времени пред алтарем, Параша взшла на клирос, где были монахини, и, взглянув на стоявших подле нее отца и мать, сказала: «Прощайте, добрые мои батюшка и матушка, не плачьте обо мне, будьте тверды, Господь никогда вас не оставит!» Слезы, которые старалась удержать Параша, в эту минуту ручьем покатались по лицу ее. Бедная мать, рыдая, бросилась к дочери, но Игуменья подала знак рукою, и монахини запели молитву: «Блаженни непорочнии в путь ходящии в законы Господни».

По окончании моления Лупаловых проводили до ворот монастырской ограды, тут они сели в повозку и после многократных объятий и долгого слезного прощания с дочерью расстались с нею навсегда. Это было их последнее свидание с Парашею.

Она с истинным христианским смирением исполняла все обязанности белицы и подчинялась строгим монастырским правилам. Игуменья и инокини более и более чувствовали к ней расположение. Однако здоровье Парашы, видимо, ослабевало, вскоре она уже не могла переносить всех трудностей своей новой жизни и стала чувствовать сильную боль в груди.

Ниже-Новгородский монастырь, как мы сказали уже, построен на горе, следовательно, не защищен от ветра, вредного для такого рода больных. Год провела Параша в этой обители, и доктора стали советовать ей переменить место жительства.

Настоятельница, имея надобность побывать в Петербурге, взяла с собою туда Парашу. Полагая, что такая поездка поправит ее здоровье, Игуменья надеялась, что известность Параше и доброе расположение к ней многих благотворительных особ в столице принесут выгоду их монастырю. Параша действительно стала усердною и ревностною просительницей. Соглашаясь со своим новым положением, она уже не так часто посещала своих прежних благодетельниц, как во время первого своего пребывания в Петербурге.

В это время действие чахотки уже заметно обнаружилось и изменило черты лица Параше. Она мало-помалу увядала, но, несмотря на болезнь, кротость и благочестие выражались во взорах больной страдальницы.

Параша знала свойство и опасность своей болезни, все свои мысли возносила она к другому, лучшему миру и без страха ожидала смерти; как деятельная труженица, окончившая дневную работу, ждет вознаграждение за свое прилежание.

Игуменья, окончив свои дела, готовилась возвратиться с Парашею в обитель. Накануне отъезда Параша поехала проститься со своими прежними благотворительницами, которые прислали за нею экипаж. Входя в дом, она увидела сидящую на нижних ступенях лестницы молодую девушку в нищенской одежде. Бедняжка, увидя инокиню, сопровождаемую ливрейным лакеем, с трудом привстала, чтобы попросить милостыню и, подавая бумагу монахине, сказала: «Отец мой разбит параличом и питается милостынею, которую я собираю для него; я сама тоже больна и скоро, может быть, не буду в силах помогать ему». Параша тотчас дрожащею рукою схватила бумагу; это было удостоверение в бедности и хорошем поведении просительницы, данное ей приходским священником. Параша вспомнила тогда то несчастное время, когда она сама на ступеньках сенатского крыльца тщетно ждала сострадания. Глубоко тронуло ее это сходство между настоящею участью бедной девушки и своим прежним положением.

Отдав все деньги, которые были при ней, она еще обещала ей помочь. Знакомые Параше, с которыми она приехала проститься, по ее



*Илл. К.А. Зеленцова.*

просьбе согласились оказать пособие несчастной и с этого времени стали благотворителями отца бедной просительницы.

Пред отъездом своим из Петербурга Параша просила, чтобы ей дозволили постричься в монахини до истечения срока искуса, назначенного для белицы, но, несмотря на все ее старания, ей было отказано в этом.

Возвращаясь в Нижний, Игуменья остановилась на несколько дней в Новгороде в женской обители, местоположение которой было выгоднее для здоровья больной Параше. В Нижегородской обители Параша особенно была дружна с одной монахиней, у которой сестра находилась в Новгородском женском монастыре, в том самом, где была теперь Параша. Эта инокиня также старалась приобрести любовь Параше и, сказав ей, что ее сестра получила дозволение вступить в Новгородскую обитель, советовала последовать ее примеру. Игуменья, видя, что белица чхнет в глазах ее, несмотря на свою привязанность к Параше, охотно на это согласилась и, воротясь в Нижний, сделала все нужные для того распоряжения.

Вскоре Параша покинула прежний монастырь, оставя искреннее сожаление о себе во всех монахинях. В первые два месяца жизни в Новгородской обители Параша старалась устроить для себя и своей подруги две маленькие кельи, так как в монастыре не было свободных, и была очень довольна своим новым жилищем. Все монахини этой обители, знакомясь с Парашей, почитали вступление ее в их монастырь особенною Божией милостию и спешили исправлять за нее монастырские обязанности, слишком тягостные и вредные ее слабому здоровью. При таком попечении и спокойствии жизнь Параше продлилась до 1809 года.

Доктора давно отчаялись в ее жизни, но сама Параша не думала, однако, о близости смерти. Действительно, истинное благодеяние неба заключается в том, что в такой ужасной болезни, против которой нет средств, жизнь, готовая отлететь, как бы обновляется и вселяет в больного надежду, скрывая от него приближение страшной минуты, наступления которой никто не должен знать.

Еще накануне смерти Параша ходила по монастырским коридорам с меньшим, против обыкновения, утомлением. Закутавшись в шубу, она вышла потом к монастырским воротам. Зимнее солнце, казалось, оживило ее, блестящий снег напоминал Сибирь и прошлое. В это время проехали мимо сани на лихой тройке и быстро скрылись из виду: надежда на жизнь снова блеснула в сердце Параше. «Весною, - говорила она своей подруге, - если мне будет легче, я поеду во Владимир проведать моих родимых, и ты поедешь вместе со мною, не правда ли?» При таких словах радость блеснула в глазах Параше, но смерть была уже близко! Подруга ее с трудом удерживала слезы, стараясь казаться веселою.

Назавтра 4-го декабря, в день Святой Варвары, Параша была еще в силах идти в церковь и причаститься Святых тайн; вечером больной стало хуже, и она легла отдохнуть. Несколько монахинь было у нее в келье; не считая больную опасною, они громко говорили между собою,

желая развеселить ее, однако присутствие многих было тягостно для Парашки. В это время заблаговестили к вечерне; Параша стала просить их пойти в Божий храм помолиться за нее. «Сегодня, - говорила она, - вы помолитесь еще о моем здоровье, а через несколько недель будете молиться за упокой моей души!» В келье осталась только одна любимая подруга. Параша просила ее читать вечерние молитвы, чем обыкновенно в обители оканчивается день. Монахиня на коленях у постели Парашки нараспев начала читать молитву; но вскоре больная махнула рукою, подруга приблизилась к ней и насилию могла слышать слова ее. «Друг мой, - говорила Параша, - не пой более, это мне мешает молиться, читай тише».

Монахиня снова стала на колени, во время ее молитв умирающая часто крестилась. Настала ночь.

Когда монахини вошли в келью, Парашки уже не было более на свете. Правая рука ее осталась на груди и по сложенным и окостеневшим перстам видно было, что она скончалась, творя крестное знамение.

*Повесть К. де Местра "Юная сибирячка" печатается по 2-му изданию: Ксавье де Местр. Параша Лупалова. Санкт-Петербург. Типография И. Селезнева, 1845. Перевод А. Попова. Рисунки художника К.А. Зеленцова.*



*Илл. К.А. Зеленцова.*

*Н.А. Полевой*

## Параша Сибирячка

*Николай Алексеевич Полевой (1796-1846) - писатель, журналист, историк, критик, публицист, переводчик. Родился в Иркутске, в семье купца. До 1811 года жил в Сибири. Не получив систематического образования, много занимался самостоятельно, изучал французский, немецкий и древние языки. Имея купеческое звание, Н.А. Полевой с детства участвовал в торговых делах, сочетая их с занятиями литературой. В 1811 и 1812 гг., а также в 1820 и 1821 гг. он был вольнослушателем Московского университета. В начале 1820-х гг. начинается его журналистская деятельность, он сотрудничает в журналах "Вестник Европы", "Отечественные записки", "Сын Отечества", "Мнемозина", а с 1825 года издает свой журнал - "Московский телеграф", закрытый правительством в 1834 г. В 1835 г. Н.Полевой становится инициатором выпуска первого в России периодического иллюстрированного издания "Живописное обозрение". Создает он и беллетристические произведения; повести "Живописец", "Блаженство безумия", "Эмма", роман "Аббадонна", исторический роман "Клятва при гробе Господнем". В 1836 г. он перевел "Гамлета" Шекспира.*



*Н.А. Полевой.*

*В последнее десятилетие своей жизни (1836-1846) Полевой обращается к драме, пишет пьесы: "Дедушка русского флота", "Иголкин, купец новгородский", "Параша Сибирячка", "Костромские леса". Пьеса "Параша Сибирячка", имевшая подзаголовок "русская быль в 2-х действиях с эпилогом", в первый раз была поставлена на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге 17 января 1840 г. Она имела большой успех и оставалась в репертуаре этого театра до 1845 г. Популярности пьесы способствовали "звезды" русской сцены: Варвара Николаевна Асенкова в роли Парашки, Василий Андреевич Каратыгин в роли Неизвестного, а также Петр Андреевич Каратыгин и Иван Иванович Сосницкий. На премьере спектакля присутствовали император Николай Павлович с дочерью - великой княжной Марией Николаевной.*

*Об этом событии Н.А. Полевой рассказывал следующее: "Каратыгин, Асенкова, Сосницкий, Каратыгин 2-й играли так превосходно, что всё заливалось слезами, и меня вызывали три раза. Сам Государь (Император Николай Павлович) был, и добрая, милая, обожаемая всеми великая княгиня Мария Николаевна так была расстрогана, что ей сделалось дурно после 2-го акта, когда Параша выпрашивала прощение отцу*

своему. Рукописания потрясли сцену” (письмо Н.А. Полевого от 20 января 1840 года // Записки Ксенофонта Алексеевича Полевого. СПб., 1888, с.491). А в послесловии к первому изданию своей “были” Н.А. Полевой отмечал: “Параша Сибирячка. Признаюсь - вот моя любимая пьеса из всего написанного мною для сцены. Воспоминание о том дне, когда явилась Параша на сцену всегда будет воспоминанием об одном из счастливых дней в моей жизни”.

Пьеса Полевого будет переведена Ц. Мором на немецкий язык с заглавием “Параша - девушка из Сибири” и поставлена в 1840 году на сцене Михайловского театра, а Д.Ю. Струйский (псевдоним Трилунный) - литератор и композитор, напишет на сюжет пьесы Полевого либретто одноактной оперы.

Известен и факт постановки “Параша Сибирячки” в Сибири. 19 февраля 1867 г. она была показана в Тобольске на музыкальном вечере, устроителем которого был директор Тобольской мужской гимназии Ф.В. Рудаков. В представлении принимали участие гимназисты и члены Тобольского музыкального общества (Е.С. Пухова. Из истории музыкальной культуры Тобольска // Югра, 1996, № 5, с.8).

## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА.

### В ПЕРВОМ ДЕЙСТВИИ:

Неизвестный, ссыльный в Сибирь.

Жена его.

Параша, дочь их, родившаяся в Сибири.

Прохожий.

Несколько тунгусов.

### ВО ВТОРОМ ДЕЙСТВИИ:

Фекла Федосеевна, чиновница вдова, живущая в Москве.

Танюша, дочь ее.

Федор Григорьевич Пискулькин, отставной секретарь.

Федя

Митя

Маша

Соня дети Феклы Федосеевны.

Григорий Петрович Добров, помещик, приехавший в Москву.

Леонид, молодой помещик, сосед его.

Прохожий.

Параша.

Слепая старуха.

Внук ее.

1

2

3 говорящие из народа.

Один, из народа.

Солдаты и народ.

## В ЭПИЛОГЕ:

Неизвестный.

Жена его.

Параша, дочь их.

Леонид.

Капитан-исправник.

Первое действие происходит в Сибири; второе в Москве, в 1801 году; эпилог в Сибири:

Представлена в первый раз в С.-Петербурге в Александровском театре в бенефисе г-жи Асенковой, 17 января 1840 года.

## ДЕЙСТВИЕ I.

Мрачный лес. Снег на деревьях.

### ЯВЛЕНИЕ I.

Несколько тунгусов сходятся на сцене с рогатинами и дубьем.

1-й (кличет). Эй! эй!

2-й (отзывается). О! о!

1-й. Ну, что тоён! Пойдем - где русский?

2-й. Он придет. Труби! (Трубят в рог).

### ЯВЛЕНИЕ II.

Неизвестный идет из леса, с ружьем.

1-й. А, бачка! Здорова, здорова!

2-й. Мы готовы. Пойдем!

Н е и з в. Хорошо ли вы знаете дорогу?

1-й. О, как же! Руками возьмем... Только смотри - не сбробей, бачка!

Н е и з в. А что?

1-й. Видишь: миша уж такой... О, такой большой тоён - мы уж того - знаешь... поставили бурхану большую подачку...

Н е и з в. Так, стало, медведь велик? Да, кажется, такого еще мы и не видывали! Как заревет, так вот жилки, бачка, дрожат... Наша Хочька не пойдет с нами...

Н е и з в. Что? Струсил? Этакой удалец?

1-й. Нет, не струсил, а что-то понездоровилось ему... так схватило... (Смеется). Лежит в юрте да охает... Не сбробей, бачка, смотри!

Н е и з в. Не бойся - мы и без Хочьки управимся...

1-й. О, про тебя что и говорить! Твоя винтовка еще никогда не давала промаха, да уж и кто не дивится тебе! И откуда у тебя удаль берется? Ты настоящий старинный тунгусский богатырь: тебе, кажется, смерть родная тетка; так не боишься ты ее... что вот...

Н е и з в. Полно болтать! Идите, я за вами! Ведь сюда идти, налево?

1-й. Вон туда! Там через чащу, да в долину... а там большая падь... (Неизвестный стоит, задумавшись, опершись на ружье. Тунгусы уходят).

Н е и з в. Смерть тетка... Нет! она мне мачеха, что до сих пор я жду и не дождусь ее... Нейдет, проклятая! А, кажется, я ищу ее так давно и так прилежно... Смерть!.. Тунгусский богатырь!.. Ха-ха-ха! Бедняки не понимают, что тот, кто не боится смерти, разумеется, не струсит идти на медведя...

(Уходит).

### ЯВЛЕНИЕ III.

Прохожий выходит и останавливается, опираясь на костыль.

П р о х. Какая дикая пустыня! Куда это я зашел? Тут нет и слуха человеческого жилища! Кажется, надобно было идти с перекрестка влево? Или я ошибся от того перелеска в метель... Лес, снег, ни пути, ни дороги... Но вот, кажется, следы человеческие. Сохрани, Господь, уповающих на Тебя! Силы мои истощились; голод и жажда мучат меня... С самого рассвета блужу я по сугробам...

### ЯВЛЕНИЕ IV.

Прохожий и Параша.

П а р. (идет, напевая песню, и несет ведро на коромысле)

*Заря, зоренька,*

*Сестра солнышка!*

*Ты румяная раскрасавица,*

*По поднебесью зарумянилась!*

П р о х. Что это? Русская песня! Кто эта девушка... Она уходит! Стало, здесь есть где-нибудь близко жилье? - Эй, послушай, милая, красная девица!

П а р. Что это за старичок?

П р о х. Помогай Бог, милая!

П а р. Благодарю. Откуда ты, дедушка?

П р о х. Прохожий странник, милая. Что ты глядишь на меня? Неужели боишься? Я не злой человек и христианин.

П а р. Я и не боюсь тебя, да мне чудно, как ты сюда зашел?

П р о х. Сбился с дороги. Сегодня утром, помнишь, поднялась было такая метель, что я думал запропаду в ваших лесах.

П а р. А куда же ты идешь, дедушка?

П р о х. Идти мне еще далеко, а иду я на свою сторону.

П а р. Далек ли твоя сторона?

П р о х. Слышала ли ты о городе Киеве?

П а р. О Киеве? Где Печерская обитель, где река Днепр и князь Владимир крестил Русь?.. Ах! Как не слышать!

П р о х. (про себя). Она знает Киев! (Вслух). А кто же тебе рассказывал, милая, о моем Киеве, моей родине?

П а р. Матушка сказывала мне и о Киеве, и о Москве, в которой сорок сороков церквей православных.

П р о х. Стало, твоя матушка там бывала? А кто твоя матушка?

П а р. Зовут ее Павла Павловна, а батюшку Александр Григорьевич.

П р о х. Так, видно, здесь есть селение? Вы здесь и живете? В этом лесу?

П а р. Селения нет, а мы здесь и живем - вот тут, за лесом наша избушка. Не хочешь ли отдохнуть? Мы тебе будем рады; у нас редко гости бывают.

П р о х. (тихо). Верно какой-нибудь несчастный ссыльный! (Вслух) а тобольская дорога близко от вас?

П а р. Недалеко.

П р о х. И вы живете здесь одни?

П а р. Нет, подле нас, вот там, живут еще тунгусы, а там вон остяцкая деревня. - Пойдем, дедушка, я проведу тебя; ты отдохни, а там батюшка укажет тебе дорогу и проводит тебя...

П р о х. Благослови тебя Господь!

(Они уходят).

### ЯВЛЕНИЕ V.

Бедная хижина; скамейка; столик. В стороне занавеска отделяет часть хижины.

Жена неизвестного и Параша.

Ж е н а. (Входя). Смеркается, а отец твой все еще не воротился... Боже мой! Где-то он теперь?

П а р. Бог сохранит его, милая матушка... Он сказал, что пойдет на охоту с добрыми нашими знакомыми, тунгусами. Они вчера приходили к нему и долго что-то с ним говорили.

Ж е н а. Этого-то я и боюсь, уж, верно, не на добро они его уговорили... Охота! Полно, опять не за медведем ли они отправились!..

П а р. Ах! Матушка, ты пугаешь меня! Да что же, если и за медведем - чего бояться? Батюшка такой молодец...

Ж е н а. Ах! Параша!

П а р. Ты опять станешь плакать, милая матушка! Полно - мне и самой становится грустно... Ты было так развеселилась, слушая рассказы этого старичка...

Ж е н а. Развеселилась! Я и теперь весела, мой друг, а как послушала, что он говорил, и вспомнила, как молода бывала...

П а р. Ты и теперь еще моя молодая красавица, матушка! Я как на тебя погляжу, так мне весело и радостно становится. Да и о чем нам печалиться? Все у нас есть; ты, слава Богу, теперь здорова и батюшка стал оттого повеселее. А вот опять придет весна - Бог опять украсит цветами луга и долины; мы опять пойдем в лес собирать ягоды да грибы - и нам будет так весело, - я стану петь любимые твои песенки... Полно, не грусти, матушка!

Ж е н а. Добрая моя Параша!.. А что наш гость?

П а р. Он теперь отдыхает. Ах! матушка! какой он добрый и ласковый. И как он хорошо говорит!.. Послушай, матушка: ведь я почти людей не вижу, кроме того как проезжает здесь наш исправник, Игнатий Ферапонтович, когда собирает казенный ясак. Вот и он такой добрый, как этот старичок: стало, матушка, верно все люди добры, которых Бог создал?

Ж е н а. Да... все люди добры, милая...  
П а р. Так, послушай, матушка: для чего же не живем мы с другими людьми? Для чего живем мы одни в этом лесу?

Ж е н а. Разве тебе здесь скучно?

П а р. Нет - оно не то что скучно... с тобой и с батюшкой мне скучно не будет, а иногда мне думается... что там с людьми - также не скучно... А особенно, когда слышу я о больших городах, о Киеве, о Москве... Мне хотелось бы поглядеть на тамошние высокие дома, на тамошних девушек...

Ж е н а. Может быть, Бог даст, ты и будешь там.

П а р. Да ведь только с тобой и с батюшкой, милая - без вас я не поеду туда - лучше останусь здесь, в нашем лесу; не правда ли, что и ты поедешь со мной туда?

Ж е н а. Я? туда? (тихо). Боже мой! она терзает мое сердце!

П а р. Ах! как будет это весело и хорошо! Мы там увидим столько диковинок, столько людей - столько подруг найду я...

Ж е н а. Полно, полно!.. Поди-ка, позаботься об ужине... Отец скоро должен воротиться...

П а р. Постой - я спрошу у него: когда поедем мы в Москву?

Ж е н а. Параша - друг мой! Что ты говоришь!.. (Слышны голоса). Ах! вот и отец твой!..

П а р. Батюшка! (Бросается к нему).

#### ЯВЛЕНИЕ VI.

Те же и Незвестный.

Н е и з в. (тащит шкуру медведя). Постой, постой, Параша! Вот я принес тебе подарок на шубу...

П а р. Ах, какой славный мишка! А, разбойник, даром что силен был да попался... Ну, милый батюшка, благодарю, благодарю... Да ты, думаю, устал? Сними с себя доху, положи ружье... мы тебя ждали, ждали...

Н е и з в. (садится). Ждали?

П а р. Да! Не хочешь ли ты выпить, съесть чего-нибудь?

Н е и з в. Нет, я думаю и до ужина недалеко. А поди-ка поднеси по чарке вина моим товарищам - они мне славно помогали.

П а р. Сейчас! Я ведь их знаю; поздороваюсь с ними по-тунгуски: салам алык, тоен... (Бежит вон).

#### ЯВЛЕНИЕ VII.

Неизвестный и жена его.

Н е и з в. Милая Параша!.. (Жене). Ты опять плакала?

Ж е н а. Нет!

Н е и з в. Я вижу по глазам. Что, разве еще что-нибудь сделалось?

Ж е н а. Ничего. (Молчание). Ты еще ходил за медведем!.. Ты не слушаешь меня... Видно, жизнь тебе не дорога и мои просьбы потеряли в твоих глазах всю цену...

Н е и з в. Видишь - я воротился здоров...

(Он встает и ходит).

Ж е н а. Ты не подумаешь...

Н е и з в. Полно! Я хотел бы совсем разучиться думать, и прошу тебя избавить меня от упреков и слез. Не был ли кто у нас из соседей?

Ж е н а. Я и забыла тебе сказать, что у нас теперь гость.

Н е и з в. Какой гость? Человек?

Ж е н а. Конечно, не медведь.

Н е и з в. Кто такой? Зачем зашел он к нам?

Ж е н а. Прохожий странник. Он, по обещанию, пешком ходил в Мангазею, в тамошний монастырь.

Н е и з в. Какой-нибудь бродяга!

Ж е н а. И теперь возвращается на родину, в Киев!

Н е и з в. На родину!.. У него есть родина? Он возвращается туда?

Ж е н а. Что с тобой сделалось?

Н е и з в. Ничего, ничего!.. Да зачем зашел он к нам? Разве мимо нас дорога?

Ж е н а. Он сбился с пути во время метели утром, и Параша встретила его в лесу, когда пошла за водою.

Н е и з в. Не замерз. Небось, в лесу!

Ж е н а. Такой добрый, почтенный старичок. Как он благодарил нас, сколько нам рассказывал... и о Киеве, и о Москве.

Н е и з в. И при Параше?

Ж е н а. Да, мы обе его заслушались. Он так хорошо говорит...

Н е и з в. Ты могла слушать его болтовню, как тебе угодно, да зачем позволяла ты дочери слушать его глупые рассказы, - ей, когда ей жить и умирать здесь, в тунгусских лесах?.. (Смягчаясь, ласково). Ну, полно, полно! Это глупо сделано, да я не сержусь... Дай руку... Где этот старик! Ведь он старик, сказала ты?

Ж е н а. Да, он старичок...

Н е и з в. То есть, старый дурак или старый плут - но все равно - я рад ему! Зови его сюда...

#### ЯВЛЕНИЕ VIII.

Те же и Параша.

П а р. А ты не знаешь, батюшка, что к нам гость без тебя пришел?

Н е и з в. Слышал, милая, и - очень рад.

П а р. Такой он добрый! Расспросил теперь, как тебя зовут и матушку, и говорил со мной так хорошо, как я должна любить и утешать вас и молиться за вас Богу...

Н е и з в. Утешать?.. Молиться!.. Что же? готово ли ужинать?

П а р. Я там уже накрыла стол.

Ж е н а. Пойду взглянуть сама. Параша! Пойдем; отец тотчас придет за нами...

Н е и з в. Да, да, идите - я приду. (Жена его и Параша идут, но Параша возвращается). Я опять увижу человека - не полужверя, остяка или тунгуса - опять должен говорить с ним, припоминать, как гово-



рят по-человечески... (Параша подходит тихо). А! Что тебе надобно, друг мой?

П а р. Ты сегодня опять такой сердитый, а то я было хотела спросить тебя...

Н е и з в. Что такое?

П а р. Зачем это не едем мы с тобой в ту сторону, откуда пришел этот старичок? Зачем живем мы всегда в лесу? Разве ты никогда не будешь в Москве? Разве тебе не хочется туда ехать, жить там, с людьми.

Н е и з в. (тихо). Сердце мое!.. (Вслух). А тебе разве хочется туда... к людям?

П а р. (обнимая его). Ах, милый батюшка! Так бы и полетела... хоть бы раз взглянула, как там живут, как там церкви Божии с золотыми главами, и терема царские, и людей, говорят, такое множество...

Н е и з в. (содрогаясь). Несчастливая... (Параше). А что же? Верно тебе этот старик наговорил, как там хорошо, как там весело?

П а р. Ах! я давно уж и сама о том думала; мне иногда становится здесь так скучно, так скучно...

Н е и з в. Ну, что же? Поезжай туда - я тебя отпущу! Поезжай с Богом!

П а р. Без тебя и без матушки! А ты разве не поедешь со мною!

Н е и з в. Я?

П а р. Да, ты. Мне всегда хотелось тебя о том спросить, а сегодня, когда наш старичок разговорился с нами - мне все так живо опять представилось... Ведь с тех пор как умерла моя нянька, моя добрая старая Агафья, я кроме тебя и матушки никого не вижу и мне говорить не с кем...

Н е и з в. А наши добрые соседи, тунгусы?

П а р. Ах! да они какие-то не люди - они такие смешные...

Н е и з в. Они люди, они более достойны имени человека, нежели те, кого ты так желаешь видеть... (Тихо). Но что я делаю? Что я говорю? Бедное, бедное дитя!.. Какой проклятый случай завел сюда этого бродягу, который вдавил в душу мою новое, ядовитое жало скорби... О, я готов удавить его моими руками.

П а р. А вот и гость наш, батюшка!

#### ЯВЛЕНИЕ IX. Те же и Прохожий.

П р о х. Мир хозяину дома и Божие благословение!

Н е и з в. (тихо). Скреплюсь - притворюсь: ведь он человек, а с людьми должно скрываться и лукавить... (оборачивается к Прохожему). Великий Боже!

П р о х. (В изумлении). Если не ошибаюсь... (Костыль падает у него из рук).

П а р. (С изумлением смотрит на них). Что это такое? Разве он знает его?

П р о х. Верить ли глазам?

Н е и з в. (Удерживаясь). Здравствуй, здравствуй, добрый старичок, добро пожаловать... Параша! Иди к матери - мы тотчас придем...

П а р. (Тихо). Что с ними сделалось... Мне хотелось бы подслушать их... Спрячусь здесь... (вслух). Хорошо, батюшка - мы ожидаем вас... (Она идет, хлопает дверью и тихонько крадется за занавеску.)

Н е и з в. Федор! Не обманывают ли меня глаза мои? Ты ли это?

П р о х. Александр! Тебя ли я вижу?

(Бросаются в объятия друг к другу.)

Н е и з в. Ты здесь? В Сибири? В наших лесах, где я не думал более видеть человеческого образа?

П р о х. Через 20 лет я встречаю тебя здесь, добрый, старый друг, товарищ! Помнишь ли, где мы расстались? В лагере под Очаковым, когда князь Григорий Александрович послал тебя в Петербург курьером!

Н е и з в. А ты прощался со мною и обещал, что к приезду моему будешь майором!

П р о х. Великий Боже!

Н е и з в. Я страшусь спросить тебя... Ты в Сибири... ты здесь - нищим стариком!

П р о х. Воля Божья. Но я возвращаюсь на родину, а ты... ты, мой друг и товарищ!..

Н е и з в. (в смущении). Скажи... что было с тобой после того... Я помню...

П р о х. Господь смирил меня! Тяжка была жизнь моя, но рассказывать ее недолго. Я хотел сдержать свое обещание, не жалел себя и напрашивался на опасность - молод, здоров я был тогда, и голова моя горела безумием почестей! Мы перешли с князем Репниным за Дунай, и накануне Мачинской битвы - плен и страдание были моим уделом! Варвары изувечили, увлекли меня, и 15 лет плена в степях курдов и горах друзов сделали из молодого, храброго офицера... видишь, дряхлого, бедного старика... Я увидел, наконец, родину, и - никто не приветил меня... Мать моя давно умерла... родных не было у сироты, а моя сабля составляла все мое богатство... В горах Сирии дал я обет идти пешком к святыне Мангазейской, если Бог освободит меня из варварского плена; теперь исполнил я мой обет и возвращаюсь умереть на родине; посвящу Богу жизнь, которую сохранил Он мне доныне... А ты, ты, друг?

Н е и з в. И ты не гнушаешься называть другом преступника, который заклеял позором в глазах людей, имя которого - несчастный, жизнь которого - казнь и пытка!

П р о х. Нет, нет! Везде и всегда - ты для меня прежний Александр. И Господь не отвергает грешника, даже и люди прощают преступника...

Н е и з в. А сам себе разве простит он?.. Разве... А! Ты не испытал, ты не знаешь того страшного наказания, какое испытывает злодей, преследуемый совестью, Каин, проклятый Богом... если и люди и Бог его прощают?

П р о х. Александр! Я знаю, я слышал, что излишняя пылкость твоя увлекла тебя в тяжкое преступление...

Н е и з в. Увлекла! Зачем хочешь ты смягчить словами ужасный поступок мой? Оправдывают ли причины и обстоятельства злодейство? Шестнадцать лет страдания не только не задушили змеи, грызущей

душу мою - нет, она разрослась тут, в груди моей - она сосет кровь из моего сердца - она лишает меня покоя здесь и - надежды там... Напрасно укрылся я от людей, напрасно ушел от них, чтобы и самый вид их не напоминал мне, что есть еще кроме меня кто-нибудь на свете... чтобы и имя мое было ими забыто: его никто здесь не знает, кроме жены моей, исправника, и - есть еще Кто знает его к ужасу моему...

Пр о х. Друг! Неужели ни разу святая надежда...

Н е и з в. Надежда? Мне?

Пр о х. И раскаяние перед Богом...

Н е и з в. Я не могу молиться!

Пр о х. Друг! Ты ужасаешь меня! Нет такого несчастья, которое лишило бы нас надежды на милосердие Божие...

Н е и з в. Есть оно, есть, и оно называется - преступление! Оно то ужасное сознание, что мы погубили жизнь свою, счастье свое, милых нам людей, надежду за гробом - погубили все, все... (Останавливается). А! В 16 лет в первый раз вдруг два подарка судьбы... Тебя вижу я, и вот посмотри: ведь это, кажется, слезы - слезы благодатные!.. Друг! Я начинаю думать, что Бог милует меня!.. Я вижу тебя и - плачу!

Пр о х. Плачь - слезы спасительны...

Н е и з в. Ты должен узнать все - сердце мое хочет высказаться тебе - суди меня, осуждай, потом презри, - возненавидь! Молод, бешен страстями, полон надеждами расстался я с тобою; все роды оболщений, все роды счастья встретили меня в Петербурге и на родине, - богатство, чины, добрая мать, дружба, любовь... она увлекла меня, для нее забыл я все и повел к алтарю мою подругу, отказался от службы, уехал в мои богатые поместья... Но кровь моя страшно кипела страстями. Рано было уединение, мне скоро наскучило оно; скоро не взмилились ласки жены, малютки сына - низкие страсти увлекли меня. Карты, проклятые карты... Я пил, играл, увлеченный развратными друзьями, разорялся, не смотрел на слезы матери и жены... В шумной, буйной беседе я увидел низкий обман друзей, и - рука моя обагрилась в нечистой крови их... Едва совершилось преступление, я узнал всю глубину бездны, в какую упал...

Пр о х. Несчастный друг!..

Н е и з в. Мать моя умерла, когда я сидел в тюрьме - в остроге... Честное имя мое сделалось добычей палача - люди презрели, отвергли меня, и самое сожаление, самая любовь их стали моим мучением!.. О, если б юноша, тревожимый несчастными страстями, мог видеть теперь меня, мог пережить со мною эти 16 лет ссылки и позора, мог заглянуть в душу мою - он жизнью купил бы возврат на дорогу добродетели...

Пр о х. Но неужели и любовь жены твоей, доброй жены твоей, которая добровольно, охотно поехала за тобою, оставила все, разделила с тобой позор и бедствие - не была для тебя счастьем?

Н е и з в. О, зачем она это сделала? Зачем я согласился... Друг бесчеловечный! Ты трагашь самое страшное. Самое больное место души моей, заглядываешь в самый темный угол сердца моего!.. Да, да! Но чувство, что я погубил бытие драгоценного мне сердца... И - ежели

я видел потом - потом, когда прошел порыв безумного ее великодушия - я видел... и слезу, от меня скрываемую, и взор укоризны, невольно являвшийся... О, не раскрывай сердца человеческого - в нем есть такая бездна, куда не должен заглядывать человек... Ты видел дочь мою, а знаешь ли, что она - она самое ужасное наказание в жизни моей, какое ниспослал мне Бог!

Па р. (тихо). О, Боже мой! что он говорит?

Пр о х. Сумасшедший! Она такая добрая, милая, благочестивая...

Н е и з в. А кто она? - Дочь ссыльного! Что ждет ее? Позор, бесславие с колыбели! Она не знает, а я знаю, что ее сердцу надобны дружба и любовь, и радости; она не знает, рожденная под кровом ссыльного, в диком лесу, что есть мир Божий, мир прекрасный, есть люди, есть радости... И что же, если она явится к ним? Они отвергнут ее, прогонят, уничтожат!.. И к чему родилась она, моя милая, цветущая красотою, с такой душой, с таким сердцем - к чему?.. Что с ней будет, когда умру я, умрет мать ее? Нищая - может быть, проклятая людьми - она умрет, проклинающая и мать!.. И знать, что я, я один всему причиною?..

Пр о х. Александр! Что ты говоришь! Да разве отсюда нет возврата? Разве страдание не изглаживает преступления... Дай мне - я иду туда; я стану просить за тебя: за мой плен, за мою кровь я потребую только тебе прощения, свободы, возврата... Юный государь услышит мою просьбу, простит тебя...

Н е и з в. Какой юный государь?

Пр о х. Разве ты не знаешь? Ведь теперь воцарился император Александр Павлович. Его ждут летом в Москву для коронавания. Святая надежда России да будет и твоею надеждою.

Н е и з в. Нет! Это невозможно - мне отсюда нет возврата... Простят!.. Да зачем явлюсь я туда? Скрываться от людей или читать мой стыд в их каждом взоре, в каждом слове их?

Пр о х. (После некоторого молчания). У тебя там остался сын. Ты сказал, что у тебя был сын.

Н е и з в. (холодно). Вероятно, он умер, сирота бесприютный, и слава Богу, если умер...

Пр о х. А если он еще жив?

Н е и з в. Жив!.. Да ты разве об нем слышал что-нибудь?

Пр о х. Нет, но я все узнаю - буду в Москве, испрошу тебе прощение; ты увидишь сына своего - милосердие монарха и многолетнее страдание очистят имя твое от позора; дочь твоя останется в объятиях брата, и кости твои успокоятся там, на родине, подле могилы отца и матери - и друг будет подле тебя: я не разлучусь с тобой, Александр... У меня нет никого в мире!

Н е и з в. Искуситель! Что ты говоришь! Зачем ты изображаешь рай небесный грешнику в адском пламени?.. Мне туда? Мне прощение? - Увидеть сына - увидеть родину - могилу отца и матери - плакать над ними - передать мою Парашу брату... Он, верно, жив - неправда ли: он жив? Он, верно, добр?..

Пр о х. И верно с честью служит отечеству. Ты знаешь, что в нашем

в благословенном русском царстве преступление отца не бесславит сына, что ему остаются и имя, и именование отцовское, и путь к заслуге не загражден...

Н е и з в. И, может быть, он счастлив? - Он почти не знал меня, забыл - а я напомню ему, что отец его преступник...

П р о х. А дочь твоя? А ее судьба?

Н е и з в. Дочь!.. О, муки ада! Что же вы такое, если это не адские мучения?.. (бежит вон.)

П р о х. Постой, остановись, Александр!.. Иду за ним... успокою сердце его, отогрею его на моем сердце... Боже! Услышь молитву мою; даруй словам моим силу убеждения; продли еще жизнь мою, пока я успею возвратить его родине, сыну, спасти бедную дочь его... В милосердие русского царя я верю, как в милосердие Божие!..

(Уходит поспешно.)

#### ЯВЛЕНИЕ X.

Параша выходит из-за занавески бледная, едва держась на ногах.

П а р. Боже, великий! Что я узнала, что я услышала?.. Отец мой! добрый, несчастный мой отец!.. О, если бы жизнью моею могла я искупить тебе хоть минуту счастья, могла спасти тебя... мать мою! Так у меня есть также родина? Есть брат?.. "Царь милосерд, как Бог" - говорил он... Ах, зачем я не птичка Божья, не ласточка - я перелетела бы туда, туда, где трон царя милосердного - я села бы подле него, у ног его, прошептала бы ему: "Государь добрый! Когда все радуются - есть один страдалец в царстве твоём! Дочь просит тебя за отца! Я перелетела из Сибири далекой. - Государь, прости отца моего! (Падает на колени.) Прости, и вся жизнь моя на молитву за тебя"... (Вскакивая.) Боже всемогущий! Какая мысль! Не Ты ли послал мне ее, Отец милосердный! Не тобой ли она внушена мне?.. Я пойду туда, в Москву, далеко, далеко... Простите, леса дремучие, простите, отец и мать! После того, что я узнала, услышала, мне не жить с вами - не ваша я - Божья! Если не увижу вас счастливых - не видать вам меня... "Дочь ссыльного! Они отвергнут ее"!.. Да есть места, где никого не отвергают, есть святые обители, где сам Господь приемлет, не спрашивая: ссыльного или вельможи дочь пришла, стучится у дверей и просит пристанища!.. И Тот, Кто птичке указывает путь в теплые стороны, Кто движет по небесам облачко перелетное, Кто питает росой цветков пустыни - Тот поведет и доведет меня!.. Всемогущий, укажи мне путь мой, пошли мне Твоего ангела-хранителя!..

#### ЯВЛЕНИЕ XI.

Параша и Прохожий.

П а р. (увидев его.) Вот он - вот ангел-хранитель мой!

П р о х. Дочь моя! Что с тобою? Что ты?

П а р. Дедушка, милый! Ты возьмешь меня с собою?

П р о х. Что такое? Куда взять?

П а р. Туда, туда - не знаю куда, куда идешь ты, туда? Где я увижу государя и где выпрошу прощение отцу моему...

П р о х. Как?

П а р. Да, я все слышала, я все знаю! Я не останусь здесь - я пойду с тобою! Ведь ты хотел просить царя за отца моего? Но что слова твои против моих слов, твои слезы против слез дочери?.. О, мне, мне испросить ему прощения!

П р о х. Как? Ты хочешь идти со мною, пешком? Да знаешь ли ты, как далеко отсюда Москва?

П а р. Не дальше рая небесного. Куда Господь ведет нас через гроб и могилу! Дедушка милый! Я недавно узнала тебя, но я полюбила тебя - я пойду с тобою - возьми меня! Я поведу тебя, когда ты устанешь, я буду утешать тебя, когда ты запечалишься, ходить за тобою, когда ты сделаешься болен... Возьми меня! Умоляю тебя, дедушка! (Падает к ногам его.)

П р о х. Господь всемогущий, умудряющий младенцев! Не Твою ли волю слышу, не Твой ли голос внимаю я?.. Предприятие трудно, тяжело... Бедная! А что, если сердца людей затворятся мольбе твоей?.. А твой отец? Что будет с ним без тебя?

П а р. (вставая). Отец мой? на что ему я, если вид мой теперь не радость ему, а скорбь и мученье? Не говорил ли он, что рождение мое - позор мой, что я погибну, когда его не будет, и жизнь не в жизнь ему... Если ты не возьмешь меня... я не могу теперь жить более: все, все погибло для меня... Не светить более красному солнцу, не жить более Параше... Старик! Кровь моя на твою седую голову.

П р о х. Постой, постой, дочь моя!.. Боже! Да будет воля Твоя!.. Параша! Отныне ты моя дочь - я беру тебя с собою!

П а р. Дедушка! если отец мой отвергает меня - ты заступишь мне его место, ты уделишь мне уголок в сердце твоём - ты не отвергнешь меня?

П р о х. Нет! Не мне, слабому старику, лелеять надежды твои: сиротам, страждущим и обремененным есть общий Отец. - Ему молись, дитя несчастья!

П а р. Мы уйдем с тобою сегодня же - теперь - ночью.

П р о х. Но я обещал отцу твоему прожить у него три дня...

П а р. Три дня!.. Да переживу ли я эти три дня? Нет, нет! теперь - или я уйду одна: буду спрашивать дорогу у добрых людей, буду просить у них милостыни... Они не откажут мне; я скажу им: "Я иду просить у государя прощения отцу моему; у вас есть отцы, у вас есть дети!" Они не откажут мне...

П р о х. Дочь моя! Молись Богу - мы идем немедленно... Я отдохнул от моего пути...

П а р. Я пойду и скажу отцу и матери, что я нездорова, не буду ужинать, лягу спать; он сегодня утомился на охоте и заснет крепко. А когда он проснется... О, вид мой не будет уже упрекать его: у него уже не будет дочери!.. Легче ли будет ему без меня!.. (она закрывает глаза руками и медленно уходит.)

ЯВЛЕНИЕ XII.  
Прохожий, один.

Пр о х. Судьбы неисповедимые! Что воля, что желания смертного, если он видит перст Божий, указующий ему путь! Да будет воля Твоя!" ... Бедный друг!.. Что с тобою будет?.. Но, может быть, это последнее твое горе... Последнее - если только не первая радость ему могила, не первый вестник радости - смерть!.. (Уходит).

ЯВЛЕНИЕ XIII.  
Параша входит, осматривается во все стороны  
и долго безмолвствует.

П а р. Простите, мои родные!.. Завтра, когда вы проснетесь, Параша не придет поздравить вас с добрым утром, не скажет вам: "Здравствуй!", не попросит вашего благословения... Далеко, далеко будет она, и каждый шаг будет разделять нас, разделять любовь вашу от меня... Нет, нет! Любовь не знает разлуки - с вами она будет, с вами молитва дочери... Здесь (вынимает письмо), здесь вы все узнаете, и когда будете читать - благословите меня... Что там увижу я? Листок, сорванный бурей с родного дерева, куда полечу я - сирота бесприютная!..

ЯВЛЕНИЕ XIV.  
Параша, Незвестный, Жена его и Прохожий.

Н е и з в. Друг! Твое появление показало мне, что милосердие Божие не оставляет человека никогда... Давно-давно не был я так весел... Мне кажется, если только в будущем остаются мне радости - вот первый счастливый день мой!.. Но ты что-то загрустил, кажется?

Ж е н а. Ты забываешь, что добрый друг наш устал сегодня, ему надобно отдохнуть...

Н е и з в. Правда, правда!.. Параша, что ты здесь делаешь?

П а р. Я... я хотела проститься с вами...

Н е и з в. Вот, дурочка, как будто в дальнюю дорогу отправляешься!

П а р. Ах! кто знает...

Н е и з в. Я тебе наперед скажу, что ты завтра проснешься весела и здорова...

П а р. Завтра!.. Простите, батюшка! (Она обнимает его), благословите, благословите меня!

Н е и з в. Поди, усни спокойно. А завтра, знаешь ли что? Мне обещали принести пару живых зайчиков - вот тебе будут радости!

П а р. Матушка! простите!

Ж е н а. Что это, Параша! Ты плачешь?

Н е и з в. Плачет?

П а р. Нет, нет! я не плачу... я весела... я счастлива...

Ж е н а. Право, мне показалось, будто у тебя канула слеза...

Н е и з в. Тебе все слезы кажутся!

Ж е н а. (тихо). Ах? Я потеряла им счет.  
(Параша уходит).

Н е и з в. Ну, до свидания, друг Федор! Тебе вот здесь приготовлена постель - не взыщи, не мягкая - чем богаты, тем и рады. Завтра покажу я тебе все мое хозяйство, познакомлю тебя с тунгусами, и ты наверно их полюбишь!.. А там забудем хоть на время горе и поговорим о былом, предоставляя будущее Богу.

Пр о х. Да, Ему, Ему наше будущее! - До свидания... до завтра!  
(Неизвестный и жена его уходят).

МЕЛОДРАМА.

Звуки музыки. Прохожий провожает Незвестного взорами и остается в задумчивости. Параша выходит одетая по-дорожному и знаками показывает, что она готова. Прохожий благословляет, обнимает ее и идет. Параша идет за ним медленно, обращаясь к двери, куда ушли отец и мать.

Вдруг она не выдерживает своего чувства и бросается к ним. Прохожий останавливает ее. Параша выражает, что она хочет проститься с ними.

Он показывает, что тогда все предприятие их разрушится.

Параша в отчаянии. Прохожий указывает ей на небо и велит молиться.

Она падает на колени. Прохожий поднимает руки над ее головою и молится.

Поспешно вскакивает Параша и влечет Прохожего за собой.

ДЕЙСТВИЕ II.

Неопрятная комната, убранная по-мещански. Фекла Федосеевна сидит у столика и шьет. Танюша в стороне за работою. Федя, Митя, Маша, Соня играют и шалят в углу.

ЯВЛЕНИЕ I.

Фекла Федосеевна, Танюша и дети.

Ф е к. Ф е д. Да, да, детки, не всегда вас Господь на радость! Дает! Просишь, просишь вас у Бога, а как с дюжину вас накопится, так уж и прибереи вас Господи! - Тс! Вы, бесенята, расшумелись! Слова сказать не дадите!.. Танюшка!.. А что, бишь, сказал Федор Григорьевич? Когда он обещал придти?

Т а н. Да сегодня, маменька.

Ф е к. Ф е д. Сегодня, да когда? Ведь они люди деловые - их заставить дожидаться нельзя. А у меня дела полны руки. К тетке Акулине Сидоровне надобно сходить - старушка что-то недомогает. А там на Арбат, к благодетелю нашему - надо Митюшку-то в корпус, либо куда-нибудь... Вот, что вам! Мать где не бери, а вас корми да пой, да воспитывай!.. Цыц, Сонька!.. Шутка ли из Рогожской да на Арбат; а там еще к благодетельнице её сиятельству, что в пользу бедных играла - авось

не выпрошу ли на бедность с сиротами... Ведь иначе... Охо-хо-хо! Время, время такое...

Т а н. Да ведь, маменька, что же? Есть нас беднее. У нас таки и пенсия, и от батюшки осталось...

Ф е к. Ф е д. Ах ты негодная! Да как ты смеешь говорить? Да где ты этаких мыслей набралась? Ах ты, девчонка гадкая! Да какая у нас пенсия? Да что у нас осталось?.. Домишко-то? Да он весь развалился!.. Да если бы не я горячими слезами вымалывала, так вы с голоду бы давно передохли! Видишь - богатая выехала, барышня-белоручка! Этак ты другим говорить станешь!.. Уж не эта ли нищая сибирячка тебе наговорила?

Т а н. Ах! нет, маменька! Она почти ничего не говорит. Она все плачет только да молится!

Ф е к. Ф е д. Плачет!.. Видно, слезки-то дешевы; молится!.. Видно, лучше-то делать нечего!.. А все вот моя доброта - навязала себе на шею девку, и Бог знает, кто такая, зачем?

Т а н. Маменька! Ведь вы говорили, что старичок, который с ней пришел, был благодетель моему отцу, и что где он живет - на том доме благословение Божие.

Ф е к. Ф е д. Дура ты! Мало ли что говорится! Конечно, благословение было бы, если бы он умел брать все, что дадут благочестивые люди... а он, поди-ко, и не думает... Ходит себе по судам за справками, да к знатым... Да знатым-то до того ли им? Эвось выехать! Теперь готовятся пиры да балы...

Т а н. Неужели никто не пожалеет о бедной дочери, которая пришла пешком просить прощение отцу своему?

Ф е к. Ф е д. Так как же она просит? То больна сделалась - неженка! Вишь, устала, из Сибири пешком пришла... из Сибири... пришла, а кто знает? Может, и приехала!.. А тут сидит да плачет! Этак разве просят? Вот я, как о пенсии хлопотала, так бывало пороги обобьешь да слуге-то в ножки - "Доложи барину!" - А секретарю-то и пообедать не дашь - он за кусок, а ты, бывало, уж и тут, да и в ноги - "Батюшка! Спаси сироту горегорькую! Не пусти по миру с детьми!.." Так вот как дела-то делают, а не этак, что из Сибири приехать да плакать, да молиться, да других сирот объедать, которые из милости угол дали, себя стеснили...

Т а н. Маменька! Ведь они нам за квартиру заплатили...

Ф е к. Ф е д. Заплатили! Заплатили! А тебе с чего толковать? Этак ты другим скажешь, да и девке-то все дело испортишь. Скажут - "богата, дескать!.." Заплатили! Ну, да мне откуда бы взять кормить-то их? А? Да разве я не хлопочу за нее? Тоже на ее имя и от благодетелей собираю, хоть старику и не говорю: все отдам, не воспользуюсь, не покорыстуюсь - да сохрани меня, Господи! Да вот и Федора Григорьевича сегодня пригласила, посоветоваться с ним о деле нашей сибирячки - ведь его надобно угостить - все расходы... Вот и он, кажется? (Смотрит в окно). Пожалуйста, пожалуйста, отец родной! - Поди, зови нашу плаксу сибирячку, а я приготовлю закусь да водочки!.. (Танюша уходит. Дети бегут за нею). Тише вы, бесенята! Нелегкая вас поберит!

## ЯВЛЕНИЕ II. Фекла Федосеевна и Писулькин.

П и с у л. Мое почтение, матушка Фекла Федосеевна!

Ф е к. Ф е д. Батюшка, Федор Григорьевич! Пожалуйста, отец родной! Сколько лет, сколько зим!

П и с у л. Ох! Заботы одолели, матушка! Дело наше приказное - день бегаешь, ночь сидишь; судьи нынче стали не прежние, не нашего времени - ведь дела сами читают... Охо-хо! Так пишешь прозебку, да, знаете - за ухом почесываешь! Охо-хо! Утрудился дальним путем!

Ф е к. Ф е д. Да не угодно ли, батюшка, водочки? Извини на сиротских недостатках...

П и с у л. Благое дело! Здоровья и долгоденствия! (Пьет и ест). Ну, матушка, как поживаете?

Ф е к. Ф е д. Худо, отец родной - дело сиротское... Вот девка на возраст - вот сынишку надо определить...

П и с у л. Так что же? Сынку местечко сыщется, только бы по батюшке пошел. Ваш супруг, Фекла Федосеевна, был человек - вот уж могу сказать - человек он был!

Ф е к. Ф е д. Что ты, отец мой? Да чей же он человек был? Ведь отец его был в воеводской канцелярии подъячим...

П и с у л. Вы не поняли, то есть, Фекла Федосеевна. Видите, не поняли: я аллегорически говорю, что человек он был... Да, впрочем, признаться - время мне дорого; вот еще тут к соседу вашему забежать - прозебку ему; а от него в Таганку - в конкурс, а там в палату надо спеть... Так, матушка, что такое? Чем могу служить?

Ф е к. Ф е д. Да не о себе хочу трудить, а о той сибирячке, что призрела Христа ради...

П и с у л. Помню, помню, хоть и не вслушался хорошенько. Вы, знаете, таково скоро говорили... Объясните же, матушка...

Ф е к. Ф е д. А вот она сама вам объяснит.

## ЯВЛЕНИЕ III. Те же и Параша.

Ф е к. Ф е д. Вот, батюшка, рекомендую вам сиротку, которая покорнейше просит вас... Кланяйтесь, сударыня, кланяйтесь: это ваш благодетель, Федор Григорьевич Писулькин...

П и с у л. Если имею случай быть полезным, позвольте мне... (Фекле). Да что же она ничего не говорит?

Ф е к. Ф е д. Ну, дело сиротское, отец мой, и дочь такого человека, что... Проси, сударыня, проси, кланяйся!

П а р. Я не знаю г. Писулькина, не знаю, о чем мне и просить его.

Ф е к. Ф е д. Как о чем?.. Вот: все хлопочи за вас... Видите, батюшка, то есть, ее батюшка в несчастии, в Сибири; так она приехала похлопотать за него, так не откажись, родной, научить уму-разуму...

П и с у л. А позвольте, сударыня - имени вашего знать чести не имею

- вы меня извините - просить вас сесть и рассказать мне о деле... Вы из Сибири?

П а р. Да.

П и с у л. Холодная сторона! Говорят, там ездят на медведях и оленях... Так-с, знаем!.. Ваш батюшка, вероятно, чиновник был?

П а р. Я не знаю.

П и с у л. Так-с. А сущность дела его вам, конечно, известна, то есть, сущность... Вероятно, он вам объяснил...

П а р. Я ничего не знаю.

П и с у л. Так, вероятно, у вас есть бумаги, где можно видеть...

П а р. У меня нет никаких бумаг.

П и с у л. Так-с. Но имя ваше?

П а р. Меня зовут Парашей.

П и с у л. Х-м! Хе-хе-хе! Ну, а батюшку вашего?

П а р. Александр Григорьевич.

П и с у л. Так, Прасковья Александровна, но - фамилия родителя вашего и бывшее звание его...

П а р. Я вас не понимаю...

П и с у л. Фекла Федосеевна! Что же: я тут ничего сделать не могу. - Нельзя ли растолковать пояснее!

Ф е к. Ф е д. Ох! Не сердитесь, отец мой! Её дело сиротское...

П и с у л. Да, что ж - сиротское! Мне потребно знать сущность дела, и средства, и способы... (Параше). Ваш родитель, вероятно, вас рекомендовал своим благодетелям...

П а р. У меня один благодетель - Бог!

П и с у л. Умно, но однако же - ведь вы приехали в Москву...

П а р. Я пешком сюда пришла.

П и с у л. Пешком? Как?... Но как же пешком могли вы принести... так... то есть, деньжонки, например, или что-нибудь...

П а р. У меня не было денег.

П и с у л. Ну, да ведь Сибирь земля богатая - собольки там, говорят, по улицам бегают... Иногда и парочка их стоит чего-нибудь... Ведь и на дорогу вам надобно было что-нибудь...

П а р. Нас везде добрые люди даром кормили и на дорогу нам давали...

П и с у л. Так вы милостыней питались?

П а р. Они говорили, что дают не мне, но Богу!

П и с у л. (отводя Феклу Федосеевну). Послушайте, Фекла Федосеевна: тут что-то странное! Она либо дура, либо - плутовка!

Ф е к. Ф е д. Что вы, отец мой!

П и с у л. Да как же! Ныне времена мудреные... Что это такое? Морочит, что ли она нас! Из Сибири пешком, ни с чем, ни к кому, сама не знает зачем! Смотрите!

Ф е к. Ф е д. Ох! Батюшка, не пугайте вы меня!

П и с у л. (гордо). А позволь, милая, спросить: у тебя есть вид какой? Паспорт-то, есть?

П а р. Я вас не понимаю.

П и с у л. Так неужели вы, Фекла Федосеевна, держите у себя неизвестную вам девушку, беспаспортную?

Ф е к. Ф е д. Что ты, что ты, родной! Да ведь с ней пришел старик-богомolec, мне знакомый... старый такой...

П и с у л. А имя его известно ли вам?

Ф е к. Ф е д. Вот уж этого-то ты и не спрашивай. Наше дело женское.

П и с у л. То-то, сударыня, Фекла Федосеевна, видно, на всякого мудреца бывает довольно простоты, хоть к вам, кажется, и нельзя применить пословицы, что у женщины волос долог, да ум короток! У реченного старца-богомольца имеется ли законный вид? В оном виде означена ли сия девица Парасковья! Записали ли вы вид их где следует! Дело женское, дело женское...

Ф е к. Ф е д. Ахти, батюшка! Не погуби!

П и с у л. Дело женское... А если девица оная вида не имеет, занеможет, кончит живот - пособит ли вам дело женское?

Ф е к. Ф е д. Ох! Не сердись, родной! Вникни, послушай...

П и с у л. Я и то вникаю! (Пьет водку и ест). Хорошо, хорошо!.. Послушай, моя милая, то есть ваш... твой батюшка неужели ничего не говорил, (наливает рюмку и держит ее в руке). Когда отпускал вас... тьфу... тебя...

П а р. Я тихонько ушла от него, скрылась, убежала - он не отпустил бы меня...

П и с у л. Как! (рюмка падает у него из рук).

П а р. С надеждой на Бога и на государя пришла я сюда...

П и с у л. Государя! Что это значит?

П а р. Я у него буду просить прощения отцу моему; я скажу ему, что я пришла из Сибири... Он милосерд... он отец наш... мы все дети его...

П и с у л. (схватывая шляпу). Прощайте, Фекла Федосеевна!

Ф е к. Ф е д. (держит его). Отец мой! Батюшка! Благодетель!

П и с у л. Нет, нет, нет! Тут какое-то казусное дело... Ей идти к государю! Это что? Да как? Да с чего?.. Без паспорта... сделайте милость, увольте... прошу и не сказывать, что я тут вмешивался - свидетелей, спасибо, не было... Я советую тебе, голубушка, если ты обманщица и плутовка, вспомнить...

П а р. Обманщица!

П и с у л. Что в Москве есть полиция и от нее глупостью да незнанием не отговоришься. Ты к государю? Да кто тебя пустит? Да как ты смеешь? Прощайте, Фекла Федосеевна! Не ожидал я от вас, не ожидал...

Ф е к. Ф е д. Кормилец, отец, благодетель! (Параше). А с тобой, сударыня, я справлюсь - сегодня же со двора долой!.. Видишь: из Сибири, этакая барышня выехала... (Бежит за Пискулькиным).

#### ЯВЛЕНИЕ IV.

Параша одна

П а р. Что я им сделала? За что они разобрали меня? Обманщица!.. Меня не пустят к государю!.. Со двора долой!.. Боже Великий!.. И мой благодетель такой грустный... Когда я спрашивала его вчера, он сказал мне: "Погоди, дочь моя! Молись Богу, Параша! Не на людей мы

надеялись, а на Бога и царя!” Погодить... А если каждая минута медлен-  
ния убивает моего отца - если он изнывает теперь в ожидании - если я  
выпрошу ему милость и принесу ему на могилу его!.. Неужели Господь  
провел меня через тысячи верст лесов и пустынь и теперь отвергнет  
меня... Нет! Нет!

ЯВЛЕНИЕ V.  
Параша и Танюша.

Т а н. Параша, Параша! Слышала ли ты новость?  
П а р. Новость? Что такое?  
Т а н. Государь приехал!  
П а р. Государь?  
Т а н. Да, сегодня в ночь, и сегодня в первый раз явится он нам всем  
в Кремле, когда из дворца пойдет молиться в Успенский собор.  
П а р. (Трепеща). Разве все могут его видеть?  
Т а н. Вот еще! Детям запретить видеть отца своего! Ведь он наш  
отец!  
П а р. И от него не гонят никого? К нему все могут подойти?  
Т а н. Вот хорошо! Да ты посмотрела бы, как нашего государя окру-  
жает толпа народа, как всякий теснится к нему, целует его руку, смот-  
рит на него... Да когда же нам на него и наглядеться? Царь - наше  
солнышко светлое; на кого он взглянет, тот становится весел и счаст-  
лив!  
П а р. Весел и счастлив!.. Боже! Туда? Но они сказали, что меня не  
пустят!.. Отец милосердный! Но переживу ли я? Дойду ли я?.. Могу ли  
говорить?.. Напишу! Танюша! Дай мне бумаги, перо!  
Т а н. Что с тобой! Ты дрожишь? Что ты пишешь? (Читает из-за нее).  
“Государь милосердный! Я пришла из Сибири просить прощения отцу  
моему. - Государь! Прости его! Господь благословит Тебя, а я стану за  
Тебя молиться!”

П а р. Ни слова больше! (в восторге.) Танюша, прощай! Если ты  
меня еще увидишь, я уж буду счастлива... Если не приду сегодня... не  
жди меня никогда!

Т а н. Что ты говоришь? Куда ты идешь!  
П а р. В Кремль - туда, к царю, к отцу нашему.  
Т а н. Ты не знаешь дороги.  
П а р. Я спрошу у первого: куда идти? Где живет государь? Я буду  
смотреть на золотую голову Ивана Великого - я спрошу у сердца моего,  
у земли Русской: она ответит мне, скажет, где живет государь мило-  
сердный!.. Боже, благослови! (Бежит вон).

ЯВЛЕНИЕ VI.  
Танюша, потом Прохожий.

Т а н. Ах! Боже мой! Что это она делает! Что скажет маменька!  
П р о х. (Входит задумчивый). И опять холодный отказ! И три  
человека, на которых я надеялся, три богача, три временщика отказа-

ли мне. Один - не пустил меня к себе - тот, которому некогда в битве  
спас я жизнь! Другой, бывший друг мой, едва узнал в старике бывшего  
капитана своего... Он теперь силен и велик, а я беден, нищий, калека.  
А третий - коварный себялюбец... советовал мне не вмешиваться в  
дело... И эта барыня, которая плакала о смерти своей собачки, презри-  
тельно улыбнулась, когда рассказал я, что дочь пришла из Сибири,  
пешком... А та... та, которая давала концерт для бедных... Ей, правда,  
некогда было - она примеривала новое платье... Люди, люди! Неужели  
только нищета и несчастье научают вас быть людьми! Горе вам, силь-  
ные земли! Если вы не думаете, что Бог потребует отчета в том, что  
сделали вы из вашей силы и богатства!.. Но где Параша?

Т а н. Я боюсь вам сказать...  
П р о х. Что такое? Ради Бога!..  
Т а н. Она ушла в Кремль.  
П р о х. Одна?  
Т а н. Когда услышала она, что государь приехал и сегодня пойдет  
в Успенский собор, как безумная бросилась она...  
П р о х. Боже мой! Ее там задавят, сомнут - тысячи народа бегут  
туда... Она, верно, хочет увидеть государя, но она не знает, что нельзя,  
невозможно... Но, нет, нет! у нас возможно! (С радостным восторгом).  
Милосердию Бога нет границ - нет их и милосердию русского царя! В  
храм Божий всегда открыты двери - и к царю всюду доступ его детям!..  
Я размышлял, сомневался, а она решила и исполняет! С детским чув-  
ством любви, с надеждою и верою, приступает она прямо к трону вла-  
дыки русского... Бог не отвергал младенцев - царь, подобие Бога на  
земле - не отвергнет их... Иду туда и подле нее поставлю мою седую  
голову... Чего не скажут ее слезы, то договорят слова мои! Господь!  
Веди меня!  
(Уходит).

ЯВЛЕНИЕ VII.  
Танюша и Фекла Федосеевна.

Ф е к. Ф е д. Насилу-то уговорила, чтобы не гневался Федор Григо-  
рьевич!.. Вот, сударики мои, делай этак добро... Но, говорят, государь  
приехал... Танюшка! Одевайся, пойдем в Кремль - туда вся Москва  
идет, а мы разве не люди, а мы разве не хотим государя видеть...  
(Уходит с Танюшей).

Кремлевская площадь. Звон на Иване Великом. Толпа народа ходит  
по площади; слышны говор и шум.

ЯВЛЕНИЕ I.

1-ая т о л п а. Сюда, сюда! Здесь виднее!  
2-ая т о л п а. Приехал, приехал!  
1-ая т о л п а. Скоро выйдет!  
П а р. (Выходит из толпы). Так это-то царский Кремль, это Иван

Великий, это соборы православные? Но где же дворец царский? Куда мне идти? Где стать на ту святую землю, на которую ступит нога государя и где он явится мне ангелом милосердия? Спрошу... у кого?

(Старушка слепая, ее ведет мальчик).

П а р. Бабушка! позволь тебя спросить...

С т а р. Что, родимая?

П а р. Где мне увидеть государя?

С т а р. Будто ты не знаешь!

П а р. Не знаю, бабушка. Я недавно в Москве, я не здешняя...

С т а р. Ну, и не диво. Вестимо, царь пойдет с Красного крыльца в собор. Тут и надобно стать, на царской площади, где сукно расстелят. Да пойдем со мною, я тебе покажу...

П а р. Ах! бабушка! как ты одолжишь меня!

С т а р. И, родимая! Да кому же батюшку нашего видеть не хочется! - Веди, Ванюша, а ты не отставай, милая!

П а р. Бабушка! да разве ты сама не видишь?

С т а р. Вот уже десятый год, как наказал Господь!

П а р. Да как же ты увидишь государя?

С т а р. А разве у души моей нет очей? Разве я меньше счастлива буду, если услышу, как пойдет он? А, может, Господь со мною и чудо сделает - просветит мне очи мои на то мгновение!

П а р. О, кого так любят - тот милосерд и не отвергнет меня! Пойдем, пойдем скорее!

#### ЯВЛЕНИЕ II.

Фекла Федосеевна и Танюша

Ф е к. Ф е д. Ну, уж затолкали, да и только! Какие невежды! Никакой амбиции нет! Пустите! Дайте пройти!

#### ЯВЛЕНИЕ III.

П и с у л. (подходит к ней). Что, матушка, и вы сюда пожаловали?

Ф е к. Ф е д. Да, вот пробиться не могу! Такие грубияны - не пускают меня, как будто я какая мещанка! Пособи, родимый, проведи нас! Тебе, чиновной особе, дадут проход...

П и с у л. Нет, матушка! Тут ведь сам государь, так к нему всем свободный доступ - не то что в суде у нас! Тут толкни-ка кого-нибудь, так так натолкают... Господа! Посторонитесь - дамам место!

#### ЯВЛЕНИЕ IV.

Прохожий (входит).

П р о х. Нет, я не мог ее встретить! И где увидеть ее между тысячами? Москва вся в Кремле, вся двинулась на встречу великому гостю своему! Попытаюсь еще... Позвольте пройти, господа! Дайте старику не умереть, не выдавши государя!

Н а р о д. Ступай, ступай, дедушка! (Пропускают его).

Ф е к. Ф е д. Вот, какого-то старичишка пропустили, а меня, чиновницу... (Звон усиливается).

Н а р. Государь! Государь! - Идет, идет! Шапки долой! Ура, ура!

(Все бегут в одну сторону. Сцена почти пуста).

Ф е к. Ф е д. (которую толкают). Тише, батюшка, тише! Ох, пустите душу на покаяние!

(Слышны за сценою крики: Ура, ура! Народ опять толпою бежит на сцену.)

Н а р о д. Видели, видели!

1-й. Он кланялся всем!

2-й. Какой красавец!

3-й. Какой милостивый!

#### ЯВЛЕНИЕ V.

Параша (без чувств; ее несут на руках. Народ теснится кругом).

П и с. Что это такое, Фекла Федосеевна - ведь это ваша сибирячка! Ф е к. Ф е д. Ахти, и точно она!

Т а н. (Бросается к Параше). Милая Параша! Помогите ей!

П и с. Что случилось?

О д и н и з н а р о д а. Она подала просьбу государю.

П и с. Ахти! Беда! Да как она прошла, как осмелилась?

О д и н и з н а р о д а. Я стоял подле самого сукна, а подле меня стала слепенькая старушка с мальчиком, да эта девушка, а сама вся так и дрожит и, слышу, молитву творит. Ну, знаешь, не до того... А как вышел наш надежда на Красное крыльцо, да как глянул орлиным взглядом, да поклонился, так уж от слез-то я и света не взидел. Кричу: ура! Забыл все - сердце так бы вот на дорогу ему выложил - а вот скажи он - так и на тысячу бы один пошел... А он-то, сокол наш, и пошел, и идет, и кланяется - а как поравнялся с нами, девушка-то и упала ему в ноги, да руками-то ухватилась и рыдает, и говорит: "Государь, государь, помилуй, помилуй! Прости отца моего! Я из Сибири пришла пешком - помилуй его, государь!"

Н а р о д. Из Сибири! Пешком!

О д и н и з н а р. А он остановился - взял у нее из рук какое-то письмо и говорит: "Встань, встань! Мой друг!" - и сам ее поднимает...

Н а р о д. Он с ней говорил! Он сам поднимал ее!

О д и н и з н а р. Тут всем, кто стоял, как будто Господь слово дал, все за один голос: "Надежда Государь! Помилуй!" А кто на колени, кто ему в ноги! "За твоего отца все просят - я прощаю его!" сказал государь...

Братцы, друзья, русские люди! О, если б в ту минуту могли вы видеть лицо его... Она как услышала: "Прощаю", так и покатила, а государю и проходу не дают! - "Дайте", говорят одни - "Пустите его: он за нас молиться идет!" Тут генерал от государя подошел и начал говорить с каким-то стариком, что подле девушки стоял, а мы подхватили ее, сердечную, да и вынесли сюда... Не умерла ли, полно?... Эх, какая молодая, а, видно, спознала горе...



ЯВЛЕНИЕ VI.  
Добров, Леонид, Прохожий.

Д о б р. Пустите, братцы, пустите! Где та девушка, что государю просьбу подала?

Н а р о д. Здесь! Здесь!

(Параша опомнилась, глядит кругом, протирает глаза. Леонид с трепетом стоит в отдалении).

П а р. Мне казалось... В раю была я или сон то был?..

Д о б р. Не сон... Государь простил отца твоего!

П а р. (Вскакивает). Не обманывай меня... Скажи!..

П р о х. Параша! Опомнись: твой отец прощен - он опять получил честное имя, честь свою...

Д о б р. И государь велел благодарить тебя, что ты дала ему случай на доброе дело... А этого молодца знаешь ли ты? Он мой сосед, на руках моих воспитан и вырос, а имя его... он - брат твой!

Л е о н. Сестра!

П а р. (бросается к нему). Брат мой!.. (Бросается на колени). Боже, возьми жизнь мою и благослови милосердного государя!

(Народ кричит: "Ура!" - Прохожий, за Парашею, подымлет руки к небу в безмолвии. Занавес опускается).

ЭПИЛОГ.

Декорация первого действия. Внутренность хижины Неизвестного.  
Он лежит на бедной постели; жена сидит подле него.

ЯВЛЕНИЕ I.  
Неизвестный и жена его.

О н а. Ты проснулся?

О н. Да, я чувствую, что сон подкрепил меня. Мне лучше, друг мой!

О н а. Слава Богу!

О н. Ты благодаришь Бога? Добрая подруга моя! Я не знал тебе цены прежде - прости меня.

О н а. О, друг мой!

О н. Да, гордость и свирепость владели моим сердцем и несчастье не смиряло меня. С каким ужасом думаю теперь, что смерть могла застать меня в грехе ожесточения. Я искал смерти, и - страшился ее... Он приемлет только смирение, Он прощает только кротким...

О н а. Тебе вредно говорить.

О н. Нет! Что же, если смерть и кончит бытие мое - я готов теперь, а ведь ты не долго переживешь меня? Только не умирай прежде, - а если и ты оставишь меня... Да, я думал, что вся мера бедствия истощена надо мною, но разлука с Парашею показала мне, что был еще для меня участок счастья на земле.

О н а. Полно, мой друг!

О н. Не бойся, не бойся - я роптать не стану... Благословляю Создателя также за бедствие, как за счастье... А знаешь ли? Мне... мне хоте-

лось бы опять прочитать письмо Параша... Дай мне его... Сегодня мы еще его не читали... (Она подает ему письмо). Да, это оно!.. (Целует его и плачет над ним).

О н а. Друг мой!..

О н. Не бойся - это слезы почти радости. Знаешь ли, что сегодня, в первый раз после разлуки с нею - я видел ее во сне?..

О н а. (падает на скамью). О, Боже мой!

О н. (поднимаясь на постели и оживляясь постепенно). Да, да, я ее видел - она, казалось мне, слетела откуда-то - у нее были золотые крылья... Да, да, я видел... Тут была и ты... Она обняла нас обоих... Ничего не сказала - и полетела куда-то, полетела... и все манила нас рукой! И все улыбалась нам!.. (Он встает забывшись). Да, да, улыбалась, и мы шли за нею... и кто-то пел так сладко, так хорошо... и сердце мое усладилося, как будто я наплакался вдоволь...

О н а. Ах! Не смерть ли ее предвещает твой сон!.. Где ты, моя Параша?

О н. Где? Может быть, там - дома... О, не плачь - благослови ее... Хотел бы я только видеть ее могилу, лечь подле нее... (Останавливается). Мне кажется, там что-то шумят, говорят? Слышишь? Кто бы это?

ЯВЛЕНИЕ II.

Те же и Исправник.

И с п р. А, здравствуй, Александр Григорьевич! Поздравляю, брат, поздравляю...

Н е и з в. С чем?

И с п р. Да видишь: ты молодец-молодцом!

Н е и з в. Да, мне теперь лучше...

И с п р. Садись-ка, садись - поговорим! Вот, видишь... (тихо). Как начать?..

Н е и з в. Вы что-то смущены, Игнатий Феррапонтович? Скажите: не случилось ли несчастья?

И с п р. (Ходит по хижине). Нет, нет! Так, братец!.. Что ты все о несчастьях говоришь... Думай, что Бог иногда и счастье нам посылает.

Н е и з в. Его ли щедроты истощатся на человека!

И с п р. Ну, то-то же! Вот тебе разве нельзя еще ожидать счастья? А?

Н е и з в. (улыбаясь). Мне?

И с п р. Ну, что ты смеешься? Вот, например, если бы ты получил известие о твоей дочери.

Н е и з в. (подымаясь). Дочери?

Жена. (Приближается). О Параше?

О б а. (С двух сторон). Разве есть письмо от нее?

И с п р. Нет, я так говорю, что если бы...

Н е и з в. А! Так! На что же шутите вы такими речами!..

(Жена подводит его опять к скамейке и поддерживает; двери немного отворяются - видны Леонид и Параша).

И с п р. (Заметив их, делает знаки, чтобы они не выходили). Вот другая беда - и тех не удержишь! Спрячьтесь, спрячьтесь!

Н е и з в. Что вы говорите, Игнатий Фералонтович?

И с п р. Так... про себя...

Н е и з в. Вы добрый человек, а чуть было не убили меня.

И с п р. Да, что ты, братец, в самом деле - не убили!.. Ведь этак, если бы в самом деле пришло от дочери твоей письмо, так что бы с тобой делать. Если у меня точно есть письмо?

Н е и з в. (Вскакивая). Письмо! От Параша!

Ж е н а. От нее письмо! Жива ли она? Здорова ли?

И с п р. И если еще она пишет, что и просьбу ее услышали...

Н е и з в. Письмо? Отдай мне письмо - ради Бога! (Он падает перед ним на колени).

И с п р. Ну, была не была!.. Умирай же от радости: ты прощен - твоя дочь видела государя - она идет сюда! (Неизвестный начинает хохотать диким хохотом). Ну, старый дуралей! Наделал я дела! - Так знай же, что она уже здесь - и сын твой с нею!

Г о л о с П а р а ш и. Пустите меня! Батюшка! Матушка!

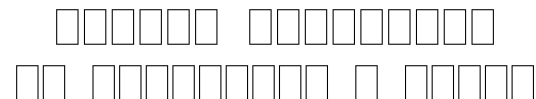
Н е и з в. (Бросается к дверям и вышибает их). Параша! (Она бросается в его объятия без чувств. Леонид на коленях). Мертвая!

И с п р. Живая, братец, живая! Кто от радости умирает!.. А этот молодец! Ведь это сын твой... О, тьфу пропасть! (Отходит в сторону и плачет).

П а р. Батюшка, ты прощен!

Н е и з в. (В объятиях сына и дочери). Благословенный! Да встретят тебя ангелы такую радостью, когда ты будешь н а ш а н г е л н а н е б е с а х.

*Драма Н. Полевого "Параша Сибирячка" печатается по изданию: Драматические сочинения Н.А. Полевого из русской истории. С.-Петербург. Типография М.П. Фроловой, 1902.*



Яркий образ Ишима и его окрестностей первой половины XIX столетия запечатлел в своих письмах и дневниковых заметках польский ссыльный Адольф Янушкевич (1803 - 1857). Друг Адама Мицкевича, верный сподвижник поколения романтиков, Янушкевич, не будучи профессиональным литератором, тем не менее создал примечательные картины сурового, но по-своему прекрасного края.



*Адольф Янушкевич.*

А. Янушкевич родился и вырос в многодетной дворянской семье в городке Несвиже бывшей Минской губернии, учился в Винницкой гимназии, по окончании которой поступил на филологический факультет Виленского университета – крупнейшего центра польской культуры того времени. Там состоялось его знакомство с А. Мицкевичем и приобщение к литературной деятельности: в журнале «Виленский ежедневник» была опубликована, написанная им в 1821 г., сентиментальная дума «Мелитон и Эвелина».

После университета Янушкевич живет в Подолии (Украина), служит в уездном суде Каменец-Подольска, избирается депутатом парламента Литвы, Подола и Украины и встречает тогда же свою первую и единственную любовь – Стефанию Гиновскую. В 1829 г. он выезжает за границу для поправки слабого здоровья, принимает воды в Карлсбаде и путешествует по всей Европе: Австрия, Италия, Швейцария, Германия, Франция. В Риме он видит Адама Мицкевича и Антония Эдварда Одыньца, своих соотечественников и друзей по Виленскому университету.

Возвращаясь на родину в 1830 г., Адольф узнает о начале восстания в Варшаве и принимает в нем участие; семь раз раненый попадает в плен. После военного суда в Киеве, возглавляемого фельдмаршалом Сакеном, 4 марта 1832 г. его лишают дво-

рянского звания с конфискацией имущества и приговаривают к ссылке в Западную Сибирь.

С 9 мая 1832 года Янушкевич живет в Тобольске, а с 10 декабря 1833 – в деревеньке Жилияковке Ишимского округа, расположенной на небольшой речке Карасуль в версте от Ишима. С начала 1835 года ему было позволено поселиться в самом городе.

Восьмилетний «жилияково-ишимский» период жизни Янушкевича отмечен знакомством и дружбой с двумя известными лириками романтической эпохи: Г.Зелинским, создателем поэм «Степи» и «Киргиз», соотечественником Адольфа, и А.И.Одоевским, русским поэтом-декабристом. Они посещали дом Янушкевича, находившийся в южной части города, называемой Киселевкой. Этот деревянный дом на берегу Ишима не сохранился, но планировка самого района с главной улицей Киселевской, сравнительно недавно переименованной в Коркинскую, прежняя.

В доме Адольфа была большая библиотека, составленная из книг и журналов на польском, русском, французском, английском языках. Здесь гостеприимный хозяин принимал своих друзей, читал, писал письма родным в далекую Литву, мечтал о возвращении домой и занимался переводом с французского на польский исторического труда Огюстена Тьерри «История завоевания Англии норманнами».

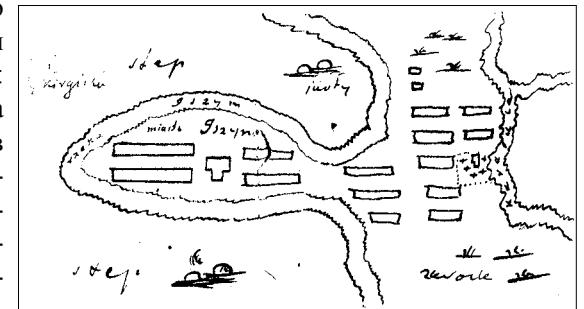
Но вместе с тем, Янушкевич не был кабинетным затворником. Интеллектуальные занятия, требовавшие уединения, сменялись хозяйственными делами, путешествиями по окрестностям, охотой. Он знакомится с культурой местного населения: обычаями, праздниками, особенностями языка сибиряков. Об интересе к городу, в котором он проживал, свидетельствует ценнейший документ из Польской библиотеки и музея Адама Мицкевича в Париже. Это план Ишима, нарисованный Янушкевичем и высланный через родных Адаму Мицкевичу во Францию.

Увидеть копию плана и узнать о местонахождении оригинала автору этой книги удалось благодаря польским ученым: этнографу из Вроцлава Антонию Кучинскому и литературоведу из Варшавы Янушу Одровонжу-Пененжку, создателям работ, посвященных польским ссыльным в Сибири. В книге Я.Одровонжа-Пененжка «Мицкевичана, собранная со всего света» есть указание на биографический труд «Жизнь Адама Мицкевича», на-

писанный старшим сыном великого польского поэта Владиславом Мицкевичем. В нем цитируется дневниковая запись брата Адольфа – Евстахия Янушкевича, оказавшегося после восстания 1830 года в парижской эмиграции и дружившего с Мицкевичем.

Евстахий пишет о своем визите к Адаму Мицкевичу, который в это время живет с семьей в Домонте под Парижем у художника Давида д' Анже, 8 сентября 1836 года: «Посетил Адама в Домонте. Показывал мне присланный Адольфом вид Ишима, сибирского городишки, в который он выслан. Когда-то они (А.Мицкевич и А.Янушкевич – Т.С.) путешествовали вместе по Италии. Как бы сообщить в Дзяхыльну (имение Янушкевичей в Литве – Т.С.), что рисунок попал в руки Адама?»

План этот шел до адресата долгим окольным путем: из Сибири почта доставила его в Дзяхыльну, а оттуда он был переправлен во Францию. На этом небольшом по размеру рисунке мож-



План Ишима.

но видеть схематически изображенный город, разместившийся между двумя реками: Ишимом, образующим крутую петлю на юге, и извилистым Карасулем на севере. В основной части города, омываемой с трех сторон рекой Ишим, указана площадь с каменной Богоявленской церковью в центре. Во второй же городской части, с расположенными с востока на запад кварталами, обращает на себя внимание кладбище с другим храмом – частично построенной Троицкой церковью. А за пределами городского пространства свободно раскинулись по всей степи юрты казахов, называемых в XIX веке киргизами. Следует сказать, что в настоящее время план Ишима хранится в Польской библиотеке и музее Адама Мицкевича в Париже.

В 1841 г. А.Янушкевич был принят на службу в канцелярию начальника Пограничной охраны сибирских киргизов в Омске.

Выполняя обязанности чиновника, он в течение нескольких лет совершал поездки по казахским степям, рассказывая о своих впечатлениях от этого края в дневниках и письмах на родину. Осенью 1849 г. он уволился с работы в Пограничном управлении в чине коллежского регистратора, в 1853 г. ему было разрешено выехать из Омска. Некоторое время Янушкевич жил в имении графа Анатолия Демидова в Нижнем Тагиле, работая там садовником и библиотекарем, в 1856 году получил разрешение вернуться на родину. Через год А.Янушкевич умирает в Дзяхьльне.

После смерти Адольфа Густав Зелинский, товарищ по ишимской ссылке, доставляет все письма и дневники покойного в Париж его братьям: Евстахию и Ромуальду, которые в 1861 г. издают книгу «Жизнь Адольфа Янушкевича и его письма из киргизских степей». Второе ее издание появилось в 1875 г. в Берлине.

Эта книга, являющаяся сегодня библиографической редкостью (в библиотеках России выявлены только два экземпляра – в Петербурге и Москве) состоит из двух томов. В первом дана биография Янушкевича, написанная его другом по Виленскому университету Феликсом Вротновским. Она отражена в шести главах:

От рождения до выезда в Сибирь (1803 - 1832).

Пребывание в Тобольске (1832 - 1833).

Пребывание в Ишиме (1833 - 1841).

Пребывание в Омске (1841 - 1853).

Пребывание в Нижнем Тагиле (1853 - 1856).

Возвращение домой и смерть (1856 - 1857).

Биографические сведения, собранные Ф.Вротновским, перемежаются здесь с выдержками из писем и дневников самого А.Янушкевича. Кроме того, Вротновский выступает и как комментатор цитируемых документов. Второй же том содержит, в основном, путевые записи Янушкевича, связанные с его поездками по Казахстану.

Первый перевод «Писем из киргизских степей» с польского языка на русский был сделан известной исследовательницей польско-русских культурных связей Ф.И. Стекловой (1910 - 1980) в 1966 г. и вышел отдельной книгой в Алма-Ате, но, интересуясь в первую очередь отражением в эпистолярном наследии Януш-

кевича темы Казахстана, Фаина Ивановна почти не затронула здесь восьми-летний ишимский период его жизни.

Автор данной книги, посвященной Ишиму, попытался, исходя из своих скромных возможностей, перевести главу первого тома, освещающую жизнь Янушкевича в небольшом сибирском городке. Публикация перевода сопровождается рядом иллюстраций из книг: Я. Одровонж-Пененжек "Мицкевичана, собранная со всего света". Варшава, 1998 (на польском языке); Адольф Янушкевич "Письма из Сибири". Предисловие Я. Одровонж-Пененжка. Публикация и комментарии Г. Гебер. Варшава, 2003 (на польском языке).



*Польская библиотека и музей Адама Мицкевича в Париже. Здесь хранится план Ишима. Фото Я. Одровонж-Пененжка. 1998.*

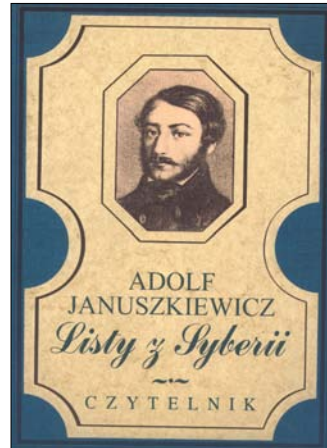
## Из книги «Жизнь Адольфа Янушкевича и его письма из степей киргизских»\*

Приездом в Ишим открылся новый, почти восьмилетний, период жизни в изгнании, жизни в самом расцвете лет мужских, между тридцатью и сорока годами. Возраст переходный, когда жар страстей начинает уступать место первым осенним холодам. Адольф вступал в этот период без опасения, а по его окончании смотрел на него с некоторым сожалением и приятными чувствами. Приказ выехать в деревню на поселение не представлялся ему страшным. Степь привлекала его поэтическое воображение, сельское хозяйство соответствовало его большому увлечению природой и ненасытной потребности заниматься, если так можно сказать, чем-то «осязаемым», безлюдье же манило сердце, погруженное в мечты и воспоминания.

Его письма той поры представляются некими картинками, словно показанными через волшебный фонарь чародея, и на них мы видим Адольфа с разных сторон.

Перед выездом из Тобольска, обращаясь к матери<sup>1</sup>, он писал: «Буквально сию минуту узнал, что в воскресенье, то есть 10 декабря, оставляю Тобольск и еду в Ишимский округ, в деревню Жилиякову. Буду теперь как арендатор-переселенец. Купил себе огромные сани и, упаковавши себя самого и все свое имущество, накопленное за полтора года, двинулся скоро в дальнюю сторону, и, скромный крестьянин, буду сажать репу где-нибудь на берегах Ишима или Карасули<sup>2</sup>. И потом 1 января 1834 года: «Сегодня получил письмо от мамы, Зоси, Касыльки<sup>3</sup>, Стефании<sup>4</sup> и Томаша. Едва лишь протер глаза, как мне принесли столько милых свидетельств памяти самых дорогих для меня людей. Не могло быть более приятного начала нового года... До сих пор живу в Ишине, но как только подберу себе жилье в деревне, немедленно туда переберусь и буду каждую неделю ездить в Ишим за письмами, которые доставляют сюда только по воскресеньям из Тобольска».

После того уже из Жилияковой 4 февраля: «Благословляю отличную зимнюю дорогу, которая так быстро приносит мне новости об очень дорогом для меня здоровье мамы. Ее последнее письмо шло сюда не более 30 дней. Януария<sup>5</sup> и Мишу<sup>6</sup> благодарю за приписки. Вижу, что Миша продвинулась в каллиграфии. С каким



Обложка книги:  
Адольф Янушкевич  
"Письма из Сибири".  
Варшава, 2003 г.

удовольствием я слушал бы ее истории, которые она должно быть сочиняет в еще большем количестве, чем раньше... Получил сегодня письмо и от Стефании, полное самых нежных слов. Бедная девушка! Какая у нас несчастливая судьба, ведь мы должны быть так далеко друг от друга!»

Мать же со своей стороны также размышляла об этой «несчастливой судьбе» и ее сердце по-женски лучше понимало состояние «бедной девушки». Напоминала об этом сыну тревожным вопросом: «что будет?» Побуждаемый к объяснению, он отвечал 27 февраля: «Мама беспокоится о Стефании. Ах! И я тоже, любя ее, терзаюсь из-за ее положения. Но разве я в этом виноват? Ведь маме известно, как все это было... Когда Стефания написала мне, побуждаемая душевным волнением, я ей ответил, но в большей степени с чувством признательности за память, чем с желанием возобновить наши отношения. Это было мучительно, но сделать так заставляли меня честь и совесть, так как я не видел возможности благополучного результата в ситуации разобщенности наших жизней. Но когда, несмотря на такой мой ответ, она заявила, что Сибирь не является для нее препятствием, когда все ее сестры и соседки уверили меня в том, что ее отчаяние будет бесконечным, если я не поддержу ее намерений, когда даже сам старый дядя написал, чтобы я говорил с ней по-прежнему и когда мне постоянно приводились доводы самой большой преданности, можно ли в таком случае огорчать и терзать ее притворным охлаждением? Свои доказательства я представил ей в более чем пятнадцати письмах, но если и это не окажет на нее впечатления, мне не остается уже ничего кроме того, как молить Бога, чтобы тот переменял мой сегодняшний горестный жребий на иную долю, дозволил мне вытереть слезы Стефании и положил конец таким длительным страданиям нашим. Пусть теперь мама и судит, есть ли в этом моя вина?»

В этом же письме есть добавление: «Через три дня именины Ремушка

\* Письма А. Янушкевича и комментарии Ф. Вротновского для удобства чтения набраны разным шрифтом. Курсивом даются русские слова, включавшиеся автором писем в польский текст.

Перевод Т. Савченковой выполнен с небольшими сокращениями по второму изданию (Берлин, 1875).

К 200-летию со дня рождения А. Янушкевича в Варшаве вышла книга, представляющая наиболее полное собрание его писем из Сибири. Автором предисловия является Я. Одровонж-Пенежек, а публикатором и составителем комментариев - Галина Гебер: "Адольф Янушкевич. Письма из Сибири". Варшава. Изд-во: "Чительник", 2003.



Текла Янушкевичева,  
мать Адольфа.

(Ромуальда – Ф.В.)<sup>7</sup>, а вскоре **Сташутки** (Евстахия – Ф.В.)<sup>8</sup>. Как это горестно не знать даже, как идет жизнь таких близких моему сердцу людей!» Почти в то же время в письме к сестре просит: «Поздравь от меня своего **Казимира с приближающимися именинами, помню о них очень хорошо, так как именно в этот день был зачитан декрет, разлучивший меня с вами**».

В таких длительных размышлениях и сожалениях то о любимой, то о родных проходили мало-помалу холодные дни отшельника, замкнутого в избе сибирского мужика. Имел он удивительную память, как будто предназначенную для насыщения души воспоминаниями. За все время изгнания, где бы он ни был, чем бы ни занимался, никогда не забывал он именин и дней рождения своих родных, ни одного семейного праздника, ни одного трогательного события из семейной летописи. Всякий день начинался у него с воспоминания, при любых самых удивительных обстоятельствах карманный календарик представлял ему дату для сравнения. В киргизской степи, облитой зноем, среди тысячи новых предметов, вспоминал он приход наполеоновских войск, освобождение Вены! Его письма с таким постоянством обращены к прошлому и родному краю, что сама его личность порой кажется только некой тенью в Сибири и тем удивительней, когда тень эта неожиданно являет редкую энергию.

Пока сорокаградусные морозы держали его в заключении, остаток свободного от непрерывной переписки времени он проводил за чтением. Кроме запаса книг, присланных в начале, он не переставал получать новые пополнения того же рода. «Моя **Зося!** – спрашивал он у сестры в феврале, - **кого я должен благодарить за то, что на мой адрес приходит «Петербургский еженедельник»?** Получаю его регулярно каждое воскресенье пополудни. Знайте же, что всегда сижу над ним во время скромного обеда, каковой только возможен на географической широте 56°6, установленной впервые проезжавшим здесь недавно астрономом»<sup>9</sup>. Но как только наступила весна, от писем его повеяло вольным воздухом, и обширное пространство вокруг дома отразилось в них.

«**Копая садик**, - сообщил он в конце апреля, - **гоняюсь за утками и зайцами, ловлю рыбу, беспрестанным движением сопротивляюсь меланхолии, которая так легко нападает в подобном моему положении, купил коня, развожу скот, выбираюсь на пастбище, жаль только, что край этот – не Аркадия**». «**В сравнении с зимой чувствую себя лучше**, - писал он в июне, - **прекрасная весенняя пора, прогулки, езда на коне, забота об огороде и скотине, ранний подъем, строжайшая диета влияют на общее состояние; наилучшим же лекарством для меня является каждое письмо с сообщением о том, что любимая моя мама пребывает в добром здравии и не теряет надежды обнять своего сына на пороге родного дома**».

Несмотря на эти средства, слабость, проявлявшаяся с начала нового года, «развивалась на полной свободе, так как в **Жиляковой**, без доктора и аптеки, некому и нечем было взять ее «в тиски». По этой причине он был вынужден просить власть о разрешении отправиться

на лечение в Тобольск, куда и выехал в конце июня, а 30 июля уже сообщал родным: «**После шестинедельного лечения под руководством опытного врача отправляюсь завтра в обратный путь более здоровым и веселым. Признаюсь, что спешу в деревню с большой охотой, потому что хотел бы есть свои собственные ананасовые дыни и подольскую кукурузу, потому что в степи пасется мой Фарыс<sup>10</sup>, который будет иметь честь носить меня на своем хребте еще каких-нибудь пять или шесть недель, прежде чем снег покроет берега Карасули. Впрочем, климат ишимский намного мягче тобольского...**»



*Жиляковка. Фото автора. 1998.*

Немного позднее добавлял в одном из писем: «**Должен успокоить маму, которую встревожил своим сообщением о том, что собираюсь на выделенной мне земле построить небольшой домик. Из этого мама сделала вывод, что я буду жить в нем совершенно один в безлюдной степи. В действительности это выглядит следующим образом: имеющие здесь землю обычно ставят на ней маленькую «избушку», чаще всего покрытую дерном, чтобы во время пахоты, сева и сбора урожая можно было спрятаться от дождя или жары: вот и я писал о такого же рода хатке, но и это до сих пор не состоялось и, похоже, вряд ли даже в этом году состоится, так как я не имею еще собственной земли, что для меня является в большой мере неблагоприятным: имея землю, я мог бы хотя бы накосить сена и посеять немного овса для моего коня**».

Этим агрономическим проектам не суждено было осуществиться. С сентября и до конца 1834 года он находился постоянно в Ишиме, а в начале 1835 получил позволение остаться жить в этом городе. «**Прошу маму не беспокоиться о моих финансах**», - писал он, сообщая об этом, - «пока думал, что буду жить в деревне, предусматривал расходы на строительство себе домика, потому что невозможно было проживать с крестьянином под худой его кровлей; теперь же для меня значительно дешевле обойдется проживание на квартире, нанятой вместе со столом, нежели ведение собственного хозяйства... О как же я благодарен Провидению, которое дозволило освобожденному из этих мест товарищу моему по изгнанию увидеться с мамой. За несколько часов до получения этой новости мне приснилось, что мама выслала мне конфеты, а потом прочитал в ее письме об успокоившем ее разговоре с Садовским. Ведь я так желал, чтобы очевидец представил маме правдиво мое положение, которое ее чуткое сердце воображало всегда только в самых черных красках. Несчастье мое огромно по сути своей, в повседневности же я не испытываю нужды и притеснений. Денег, которые я получаю по милости мамы и родственников, вполне достаточно

на основные нужды... Благодарю за новогодние подарки, положил их рядом с прежними как доказательство привязанности дорогих мне людей... Платок, который служил маме, не зная, как его лучше применить, закрыл стеклом и смотрю на него как на реликвию».

Тоскливыми зимними днями возвращались вновь все чаще жалобы на слабое здоровье, на печальную повседневность, на неопределенное будущее. В постоянной тяжести страдающего сердца с напряженной силой души впадал он подчас вопреки своей воли в то состояние разлада с самим собой, которое является симптомом глубинной острой муки. «Ничего так не портит здоровья, как невозможность рассеяться среди печали и беспрестанных огорчений, как отсутствие приветливой улыбки». Однако же на слова утешения отвечал сестрам своим с некоторым возмущением: «Письмо ваше и прилагаемый к нему рецепт пана Фердинанда получил позавчера. Вам за память, а уважаемому и любимому доктору за совет большой благодарности. Вместе с тем сержусь и на вас, и на него, видя в ваших письмах и его рецепте мысли о том, что я подвержен отчаянию, не умею переносить моего несчастья и по этой причине ослаб здоровьем, а посему даете мне моральные и медицинские советы о необходимости сохранять спокойствие духа и тому подобные аксиомы. Мои дорогие сестры и ты, сын Эскулапа, верьте мне, что если я болен, то болен в действительности, а не по причине недостатка силы духа, столь необходимой для перенесения моего несчастья. Я бы мог упрекать себя, когда бы не пытался постоянно противостоять злему року».

Стефании же повторял вновь и вновь, «чтобы считала себя свободной и распоряжалась своей судьбой», а несколькими днями позднее сообщал матери не без гордости: «Стефания, приславшая мне недавно кошелек, теперь «грозится» шапочкой, сшитой собственноручно... Что за блаженство видеть себя незабытым теми, которых так любишь, а особенно после стольких лет разлуки». И потом вновь, на Пасху, изливая свою тоску, добавлял, жалуясь и грустя: «Стефания не правильно поняла мои письма. Я в течение двух лет пишу, что для ее же благополучия отказываюсь от своего счастья и советую ей выйти замуж, а она думает, что я влюбился в другую... В последнем письме написала, что будет стараться выполнить мои советы, быть мне послушной. Я желаю ей счастья, счастья, счастья!.. И дал бы Бог, чтобы она мои пожелания исполнила, ибо она достойна счастья».

Тем временем усиливающаяся слабость здоровья становилась главным предметом корреспонденции, особенно в прекрасную пору быстро расцветающей сибирской весны. «Начал неделю майскими процедурами, - писал он в начале июня, - когда дорогая мама принимает их в Миже, я здесь выпиваю ежедневно по восемь стаканов кумыса, то есть крепкого напитка из кобыльего молока, сделанного черноглазыми киргизками; жаль только, что здешние не умеют делать его как следует и чтобы иметь настоящий, необходимо доставлять его из окрестностей Петропавловска, за 200 верст, где много богатых киргизов, в то время как здесь их мало, и это только бедные пастухи. При этом длительные прогулки пешком и езда на коне, легкая пища, очень огра-

ниченная, приводят к отличным результатам. Боль в груди значительно уменьшилась, кровь не так уже бьет в голову, сон восстановился, как некогда после купаний в Триесте... Могу при этом сказать смело, что ничего мне так не помогает, как постоянно получаемые доказательства нежнейшей любви материнской. Именно эта память дорогой моей мамы является для меня утешением и дает возможность терпеливо переносить все страдания».

«Могу похвалиться, - писал в июле, - что здоровье мое значительно улучшилось, по крайней мере так мне представляется, а это уже много для больного. Выпил татарского напитка две бочки с верхом и пил бы еще больше, если бы не трудность с его доставкой. Будущей весной, если не изменится участь моя, а это и есть наиболее эффективное лекарство, буду просить о разрешении трехмесячного пребывания в Петропавловске».

«Напившись вдоволь кумыса в течение 40 дней, - рассказывал он в конце августа, - принял еще и 28 ванн в соседнем с Ишимом озере. Оно весьма примечательно: небольшое, в форме треугольника, две сторо-

ны которого длиной по версте, а третья – четверть версты. Вдоль берегов осадок, подобный мраморной белой рамке. Вода темноватая, мутная, гниlostная, соленая, неприятная на вкус. Даже при самом малом ее употреблении она вызывает рвоту и расстройство желудка, даже легкое движение ногами, особенно на небольшой глубине, превращает ее в жидкую топь. При всем том вода эта обладает свойством минеральной, она чрезвычайно вязкая и напоминает мыло, но этим мылом вымыться невозможно; погруженная в озеро голова тотчас же покрывается подобием мыльных хлопьев. Словом, это озеро особенное, очень интересное и заслуживающее моей благодарности, потому что мне очень хорошо послужило. Люди называют его *горьким озером*<sup>11</sup> и при всех слабостях и ранах к нему обращаются. Оно удивительно помогает коням. Если бы оно находилось в многолюдном месте, то, пожалуй, берега его вскоре зацвели бы достатком, сейчас же никто на нем не живет. Следовательно я вынужден был каждый день по два раза ездить сюда из деревни<sup>12</sup>, расположенной за три версты, а в ней все это время питаться только цыплятами, картошкой и репой».

Несмотря на благотворные результаты кумыса и горького озера, поправка здоровья оказалась недолгой: с морозами и ненастьем пришла «неведомо откуда» тяжелая горячка, которая без аптеки и искус-



*Горькое (Горько-Соленое) озеро  
в окрестностях Ишима.  
Фото Г. Крамора. 2003 г.*

ных врачей закончилась, тем не менее, счастливо через несколько недель.

В конце декабря, сообщая матери о полном выздоровлении, он писал: «Как же выразить всю мою признательность маме за столь обстоятельное письмо ко мне, которое такими разнообразными подробностями принесло столько радости мне, такой глубокой философией, религиозностью, моральностью, благородством чувств вдохновило душу на долгую, может быть, еще борьбу с непреодолимым роком. О, дорогая мама! Как же я благодарен Тебе за то, что не жалела времени и труда, рисуя картину своей жизни, настоящего положения своего и всех несчастливых превратностей судьбы. Картина эта отпечаталась в моем сознании и будет для меня впредь лучшим примером того, как мне следовать тернистой дорогой моего печального предназначения. Лишь бы Бог дал мне такую же выдержку. Лишь бы когда-нибудь позволил к стопам Твоим возложить благодарность за такой спасительный пример».

В начале 1836 года писал: «Последняя почта принесла мне праздничные поздравления и подарки. Мама не поверит, сколько каждый праздник стоит мне здоровья. Представляю, как в каждый такой день мама вспоминает, что когда-то все мы лично поздравляли ее, а теперь нас нет, и это воспоминание заставляет ее ронять слезы. А это все разрывает мое сердце и душу».

«Храню собранные за четыре года мамины облатки<sup>13</sup>, которые сломались во время долгого трехтысячеверстного почтового пути сюда. Лежат они передо мной как звенья бесконечной цепочки моего несчастья и печали любимых родственников... Если бы сегодняшнее доказательство ее памяти стало последним звеном... А пока что радуюсь подаркам. Приобрел недавно станок, который тщетно искал несколько лет, так как здесь безмерно трудно со столярными работами: теперь у меня есть превосходное бюро для письменных занятий, чтения и хранения моих богатств. Одиннадцать ящиков скрывают все письма и подарки самых дорогих для меня существ на белом свете: это бесценная моя кладовая... Как мне кажется, дорогая мама из сравнения заграничных моих писем с несостоящими азиатскими судит о моем духе или о моральном состоянии. Это очень ненадежный термометр. Когда я был за границей и когда тысячи новых картин проходили передо мной; когда с вершины Альп спускался в прекрасные долины Италии; когда с Капитолия смотрел на руины Форума или в венецианской гондоле грезил о возлюбленной; когда с берегов Дуная, подобно орлу, перелетал всю Германию, чтобы напиться воды из Рейна, Роны или хотя бы Дюранса<sup>14</sup>, тогда и стиль моего письма должен был быть живым, как моя полная впечатлений жизнь. Но сегодня, когда сижу в одном тихом, глухом месте, когда постоянно вижу перед собой и над собой и около себя одно и то же, не будет ли и письмо мое мертвым, как моя сегодняшняя атмосфера!

Если бы и здесь странствовал по Уралу и Алтаю, если бы плавал по бурливому Байкалу или спускался по Лене к полярному океану, в ледяную страну белых медведей, если бы в краю самоедов любовался

почти ежедневно божественной красотой северного сияния или в киргизской степи ухаживал за черноглазой дочерью какого-нибудь султана, тогда бы, пожалуй, предъявлял описания другого характера, нежели сегодня, когда должен сообщать о катаре или горячке. Поэтому пусть мама не верит своему термометру и пусть будет вполне уверена, что я сохраняю, насколько это возможно, самообладание».

Что же представляют такие воспоминания и что значат такие подарки? Вот и вся кладовая их едва не ушла вместе с дымом. Пожар начался в соседнем доме, отделенном только двором, на котором стояло несколько стогов сена. «Когда спали, как убитые, - рассказывает Адольф, - послышался сильный стук в ворота, и в тот же момент я услышал голос соседки-калмычки, суетящейся под моим окошком: Адолька! У вас пожар! На такие dictum acerbum<sup>15</sup> я сорвался с кровати, побежал будить моих хозяев и убедился воочию в грозящей нам опасности. Едва одетый, я должен был за пять минут собрать, сложить, связать и упаковать все мои пожитки... К счастью, не было ветра, и с быстрой помощью все ограничилось лишь сгоревшим сараем, испугом всех жителей деревянного города, а для меня - катаром».

Впрочем и этот год, подобно предшествующему, прошел без особых событий, только при лучшем состоянии здоровья Адольфа: зимой «с трубой в зубах, над шахматами, над книжкой», весной и летом под открытым небом, в степи или в садике. Цветы и дети - то, что было для него особенно необходимым: искал их, собирал вокруг себя, ухаживал за ними. Три маленькие дочки хозяина дома - самый главный предмет его рассказов. Он восхищался их красотой, переживал, когда болели оспой, старшую же, лишь только немного подросла, учил читать и писать. О их родителях также отзывался всегда с большой доброжелательностью. «Это простые люди, - говорил он, - но очень порядочные; я доволен ими также, как и они мной. Живу у них уже третий год и не испытал ни одной неприятности, ни одна булавка у меня не пропала, хотя выходя из дома никогда не беру с собой ключей. Правда, стол здесь не отличается изысканностью, но мне вполне подходит. Теперь на их дворе разбиваю с моим товарищем и соседом по квартире (Йозефом Новаком - Ф.В.), одноимем, как мой свояк Михась, садик перед нашими окнами. Это будет нечто оригинальное, так как он собирается украсить свою половину цветами, а я свою - сосной, березой и терновником; он на своем участке будет делать диванчик, я же на своем намереваюсь насыпать высокую гору, с которой буду смотреть в ту сторону, где находится Дзяхльна<sup>16</sup>, при этом необходимо знать, что это место для развития наших планов и садоводческих талантов в длину не более одиннадцати шагов».

В июне сад был готов, хотя устроен немного иначе: с трех сторон в нем росло 120 видов цветов, сахарный горох и кукуруза, а с четвертой располагался диванчик из дерна, на котором Адольф, в одиночестве, так как его компаньон тяжело заболел, с четырех утра и до пяти вечера пил кофе или чай, курил турецкий табак, «мешками высылаемый любезным Томашем», читал книжки, заботливо поставляемые из Вильно братишкой Януарием<sup>13</sup>, а чаще всего по своему обыкнове-



нию грезил «о дорогих родственниках и давно минувшем сладком прошлом».

Диванчик в садике стал приятным укрытием от дневной жары, а на восходе и заходе солнца от тучи надоедливых комаров и мошек, не позволявших совершать путешествие по окрестностям. Поездка в Петропавловск на кумыс была не нужна, потому что «грудь уже не болела, а голова, свободная от капризов, казалась легкой и ясной, как чешская бутылка». Однако же купание в грязе-солено-мыльном озере заняло две последние недели августа.

Но с сентября пришла осень, и садик этот, что недавно выглядел «как маленький рай», из которого сорванная резеда доходила в письме до самой Литвы, «стал похож на нищего в лохмотьях: громадные стрелы кукурузы опустили головы, белые мальвы скрутили свой пожелтевший цвет, звезды астр, как будто в параличе, утратили свое сияние; словом, от всего буйного цветения осталось только воспоминание! О, как бы хотелось вместо этого печального сада радоваться очевидности Дзяхьльны. Что делает мама? Как ее драгоценное здоровье? Почему же век сегодняшней, столь богатый на изобретения, не придумал способа передавать в одно мгновение на большие расстояния слова, чтобы какой-нибудь электрической нитью соединить разделенные пространством сердца?»

Хотя изобретение электрического телеграфа могло тогда считаться лишь мечтой, тем не менее широкий круг корреспонденции, достигающей Ишима, расширился еще больше и даже «зацепил нить» Парижа. С некоторого времени мать начала писать приятельнице, а позднее супруге второго своего сына Евстахия, проживавшей в Галиции. Сообщая Адольфу все чаще новости о его братьях, полученные при посредничестве панны Евгении, переслала ему одно из ее писем. Письмо это стало предметом глубокого психологического анализа.

«Письмецо панны Евгении прочитал раз сто, - писал он матери, - по характеру почерка, расположению слов и выражений, по характеру мышления хотел исследовать ее нрав и сердце. Мне кажется, что я вижу ее пред собой и знаю досконально. Ее нельзя не любить, не поклоняться ей. Но чего же недостает мне в этом идеале? Вероятно, ее красота, к такому я прихожу выводу, живая, веселая; ясное чело ее свободно от любых забот, никогда не падает на него луч меланхолии... Мои догадки не убавляют ее привлекательности и достоинства, но только показывают маме, каково мое собственное настроение. Красива изящная газель, летящая по песчаным долинам аравийским, но я предпочитаю альпийскую ее сестру, предпочитаю боязливую серну, скрывающуюся от стрел в пропастях, на скалах и льдах Св. Готарда. Люди, счастливые всю жизнь, любят солнце, веселье и забавы; несчастливые же находят большое наслаждение в лунном свете, грусти и уединении. Поэтому и я являюсь большим любителем луны, а не солнца, поэтому избегаю шума и ищу уединения, поэтому очарование яркой красоты могло бы меня ослепить, но не взволновать моего угрюмого сердца. Это был бы для меня бриллиант, чрезмерно ослепляющий, а я не вынес бы теперь даже скромного блеска цейлонской жемчужины».

Позднее он послал по адресу матери следующее письмо: Евгении Лярыс. Ишим, 16/28 ноября 1836.

«Незнакомой, далекой, - незнакомый далекий»<sup>18</sup>.

Не могу начать мой разговор с особой, которая обо мне вспоминает в своих письмах, иначе, нежели словами великого провидца, с которым в недавние, но такие счастливые времена мои, блуждал по руинам древней столицы света<sup>19</sup>. Не сказали тогда сивиллы<sup>20</sup>, что вскоре Фортуна, это холодное и неумолимое римское божество, разобьет мою лодку о льдистые северные скалы и что я на диких пустынях Сибири буду повторять рифмы, которые в подобных случаях и обстоятельствах использовал автор Валленрода<sup>21</sup>. Счастлив уже тем, что хотя бы этой строкой могу выразить свою признательность за память обо мне. Эта память будет для меня столь же дорога, как улыбка надежды в печали и тоске изгнания. Только бы я мог хоть когда-нибудь выразить свои особые чувства, каковые разбудило в моем сердце это неожиданное и дорогое воспоминание!

А так как у нас в Азии нет обычая подписываться покорнейшим слугой, то простит меня благородная европейка, если я подпишусь только

Адольф Янушкевич».

Здесь же, в письме к матери, написал: «Очень рад новости, что пан Януарий – замечательная опора нашего пришедшего в упадок дома – перемещается из Вильно в поместье и будет Вам помогать. Завидую его счастью. По первым холодам развлекался, охотился в последние осенние дни и собственноручно убил 46 зайцев, из шкурок которых будут сшиты шубки для дочек моих хозяев. Жаль, что здесь нет соболей: с них имел бы больший доход, нежели на Литве можно иметь с жита; тут же за шкурку зайца платят только 8 копеек, а мясо, кроме нас и псов, никто, к сожалению, не ест, так как люд простой считает зайца животным *поганым*».

1837 год начался обычными зимними трудностями. Мать беспокоилась, чтобы чтением не ослабил себе зрения, советовала ему заняться для развлечения токарным делом. «Пусть мама не думает, что я постоянно сижу над книгами, - отвечал он ей на это, - я всегда нахожу себе что-нибудь новое для полезного использования времени. Занимаюсь переплетным делом, даю уроки, двух моих товарищей обучил французскому настолько, что они теперь могут читать любую книгу; а еще я занялся спекуляцией, - прошу отгадать какой? Чтобы любимой маме не мучиться догадками, скажу сразу: этой огромной спекуляцией являются дуги, которые вместе с моим добрым хозяином я продаю местному населению. Пусловский, который нажил столь большое состояние, начал свою карьеру с торговли лаптями и хорошо обогатился, так как лапти – это постоянно востребованный товар. А разве дуги не столь же нужны, особенно в краю, где все повозки оснащены оглоблями? Результат подтверждает мое наблюдение, так как спрос имеем отличный; каким же будет конечный итог, сообщу позднее, а тем временем надеюсь, что эта новость наверняка Вас, мама, рассмешит. Что об этом скажет Сташутка (Евстахий – Т.С.)?»

Однако более важные намерения развязали узел торговых отношений, и на эту же пору пришлось распутывание любовных узлов, не способных выдержать длительной силы времени. Уже почти двухлетие продолжалось между влюбленными молчание, потому что обе стороны «для обоюдного спокойствия» наказали себе прекратить писать. Знакомые, ранее сообщавшие Адольфу о Стефании, и теперь, с услужливостью обычной в таких случаях, поспешили ему донести, что Стефания идет замуж. Делясь этой новостью с матерью, он писал ей в феврале: «**Стефания, по всей вероятности, уже стала женой известного в наших краях и богатого, да при том очень благородного доктора, который ее вылечил от слабости ко мне и, как я когда-то в комитете занимал место рядом с ним, так и он занял теперь мое место при ней**<sup>22</sup>. Говорю это без иронии и, видит Бог, уверяю Вас, мама, что желаю Стефании всего доброго и если раньше совершенно искренно был обеспокоен ее положением, то сейчас успокоился после сообщенной мне новости... А что с посылкой, приготовленной для меня? Нельзя ли выслать в Сибирь для бедного вдовца хотя бы шесть рубах?»

Вскоре после этого получил письмо от самой Стефании, датированное 15-м января и исполненное простоты и искренности. «**Должна думать о себе, - писала она, - видя себя уже сильно изменившейся, видя мать свою нездоровой и состарившейся, не могу оставаться без опеки... Знаю твою доброту и твое сердце, знаю, что не будешь держать на меня за это зла, так как сам меня на это настраивал... Так как Бог и император не захотели, чтобы был моим, возьми назад свое обручальное кольцо и верни мне мое**». И завершилось все просьбой о взаимной и пожизненной дружбе...

Пересылая копию этого письма матери, Адольф писал с присущим ему во всех обстоятельствах юмором: «**Итак, сегодня последний раз пишу Стефании. Отослал ей колечко с тысячью пожеланий счастья, и на этом кончается история моего романа, из которого господин Бальзак мог бы сделать четыре тома и получить за это не менее 20000 франков. А что же я имею от него? Воспоминание, только воспоминание!**»

Чувство, скрытое за этими словами, загнанное в темницу воспоминаний, не позволило себя убить, не погасло, а ушло в самую глубь души, чтобы оттуда десятилетиями позднее, среди степей киргизских, отозваться на звук имени Стефании голосом живой боли.

В то же время неким девизом измученного несбыточными надеждами изгнанника становится спокойствие. Он ищет его в своем сердце, рядом с собой, на земле, в постоянной деятельности, каковая



*Стефания Гиновская,  
невеста  
Адольфа Янушкевича.*

возможна в изгнании. Он мечтает о собственном жилище, о собственном подворье, жалуется матери на неудобства снимаемой квартиры, где тесно, дымно и часто весьма беспокойно, особенно во время ярмарок, когда приходится ютиться в убогом закутке, за перегородкой которого день и ночь шумят приезжие купцы. «**Иметь бы собственный домик! Хотя бы крошечный, из двух комнат, но отдельных**». «**Сколько было в Ишиме книжек французских, английских, немецких и т.д., - все их проштудировал, и сейчас сижу угрюмый над старыми календарями, как Марий на руинах Карфагена, или большими шагами хожу по маленькой комнате и думаю о домике, в котором знал бы, что надо делать, что осмотреть, чем заняться на кухне, в кладовой, во дворе, в хлеве: зима тогда бы не была для меня столь страшной**». «**Мой возраст и ненадежное здоровье требуют удобств; в моем положении собственная хатка была бы большим утешением: мечтаю об этом, пробегая городок от начала до конца, торгуюсь со всеми домовладельцами, нашел один, который можно было бы приобрести за 400 или 500 рублей. Если мама захочет помочь, то мне нужно будет быстро поторопиться с покупкой, чтобы потом обосноваться на новом месте**».

Эти и тому подобные возвания к материнскому сердцу не могли оставаться без результата, если бы даже для этого пришлось заложить Дзяхильну. Желанная помощь пришла весной, обнаружилось также кое-что и в столике, где рядом со всеми памятками прошлого были в одном ящичке сэкономленные для непредвиденных случаев небольшие сбережения прошлых лет: дом был куплен, и счастливый его обладатель писал 4 апреля: «**Последней почтой получил резолюцию высшей власти, позволяющей мне купить дом в самом городе Ишиме и сегодня стал действительным его владельцем. Несколько часов назад заплатил за него 325 рублей серебром. Завтра, со всем моим имуществом торжественно въеду в собственный дворец. Следовательно, теперь могу смело сказать, «ступая здесь по моей земле», что имею наследство в Азии и обеспеченное проживание в городе и вместе с тем объект постоянной работы и наилучшего утешения в неволе... Прилагаю здесь же наскоро сделанный план моего графства**».

В этом письме находится маленький план общего местоположения города, рядом – план побольше, в правильном прямоугольнике которого заключена вся приобретенная недвижимость. Из содержания здесь же данных объяснений выясняется следующее: река Ишим, которая тут не шире Немана под Святым Двором, делая большой эллипсоидный изгиб, с трех сторон опоясывает город того же названия. Главная улица тянется через весь этот полуостров, а последним домом на ее конце по левой стороне у самой воды и является купленный дом. У него пять окон на улицу с задней стороны двора, окружающего дом. Из сеней направо – передняя с окном во двор, дальше – рабочий кабинет и зал для приемов, за ними – спальня с окнами на улицу, налево же – кухня и комната кухарки. С одной стороны дома – въездные ворота с другой – дровяной склад. От въезда в углу двора – амбар, а рядом с ним «в будке пес на цепи». Против сеней – конюшня с завозней<sup>23</sup>, а

рядом навес для сена и хлев, плетеный из лозы. При всем этом большой огород, а в глубине его *баня*, то есть купальня.

«Клетушек много и будет тепло, когда подремонтируем, потому что, правду сказать, это просто развалина: дом стоит как-то набекрень, как шапка у улана, уличная стена выпятилась, как большой живот, окна смотрят хмуро... но что можно было приобрести за такие деньги?»

После этого первого отчета пошли другие, в которых он сообщал о развитии своего хозяйства, о работе возле дома, о хлопотах своих, и все это вызывало новые просьбы и новые благодарности. Через два месяца Адольф писал: «Куда ни посмотрю, везде рядом со мной то замки, то горшки, то сита, то короба, мешки муки, груды моркови, репы, лука... Замучил моего прежнего хозяина просьбами о покупках, пока не собрал все, что необходимо для начала... Можете представить себе, мама, мою деятельность... Теперь не могу жаловаться на скуку, так как, утомившись чтением, хватаю заступ или топор и отправляюсь на двор!.. Если бы не дом, то, по всей вероятности, в этом году я сошел бы с ума от недостатка активной жизни. Раньше только охота была мне наибольшим развлечением, но сейчас местные власти отняли у нас эту возможность... И я еще больше благодарю маму за то, что помогла приобрести мне домик...»

«Закупорил 30 бутылок пива (не ганноверского!), пью свой собственный квас, ем уже свой хлеб, а для кофе имею свои «маримонтские» булки... С начала самостоятельного ведения хозяйства не произошло еще ни одного несчастья, за исключением того, что кухарка или, как здесь называют стряпка, на прошлой неделе немилосердно напилась. Здесь самой большой трудностью для имеющих собственное хозяйство является именно стряпка, потому что обыкновенно это женщина из разряда поселянок, какая-нибудь экс-воровка, экс-душительница собственного ребенка, отравительница или тому подобная дама, волчья натура которой всегда тянется к лесу; а если из страха кнута она не крадет, не душит и не отравляет, то зато на кабак смотрит нежно, как на любимого. Вот и моя Василиса из тех же поселянок и, пожалуй, выслана была за нечто подобное, хотя не знаю, за что (так как спрашивать об этом было бы величайшей неучтивостью); но взял ее на том основании, что уже года четыре не совершила ни одного поступка и может кое-что состряпать, то есть приготовить хотя бы так, чтобы я и мой Трезор не были голодными... Может быть, эту привычку пьянствовать удастся как-нибудь изменить. Пригрозил ей, что если увижу пьяной, закрою ворота и в дом не пуцую; теперь же, встречая возвращающуюся с рынка, вижу, что всегда трезвая, и поэтому в награду ей каждый раз наливаю рюмочку отличной вишневки».

Однако же это не помогло, и следующее письмо он заключал словами: «В дополнение к моему отчету должен сказать, что выгнал мою стряпку и принял теперь другую, намного моложе, тихую, скромную, очень хорошо воспитанную, очень красивую, истинную сибирячку, сироту по имени Марьяля! Этого достаточно, чтобы вскружить себе голову, но пусть мама не боится за своего романтического сына, вул-

канические дни его минули, как и жар его жизни. Да и Марьяля, наконец, со своими горшками или ведрами на плечах, далеко не поэтический идеал из «Дзядов» Мицкевича...»<sup>24</sup>.

Это затруднение было преодолено, выбор оказался счастливым и не потребовал новой смены, но докучали другие заботы: «Уже две недели длится ремонт дома, я, бедный хозяин, вынужден жить в сених, а рядом – развалины. Стоит постучать топором, как все падает, все прогнило. Ужас сколько придется восстанавливать! У меня голова болит, как только подумаю, сколько будут стоять окна, печи, пол, ворота, заборы! Если мама не поможет мне, то не знаю, что и делать. Ах, моя мама! Что это за счастье иметь такую мать, как у нас! Не много есть таких матерей, которым можно было бы писать так открыто, как я пишу сегодня. Боже добрый! Только продли ей жизнь, а сын ее, как бы долго ни задерживала его судьба в Сибири, всегда будет спокойным за свои скромные потребности».

В конце июня все устроилось. Выпрямленный, оштукатуренный, вы-

беленный дом сиял чистыми окнами. В удобных комнатах было много предметов домашнего обихода, которые были приобретены у одного освобожденного в то время ссыльного. На стенах висели оправленные в рамы виды костела Святой Анны и Острой Браны в Вильно наряду с другими памятными картинами и гравюрами. А в конюшне конь добрый, в хлеву корова Синюха, названная так, по-видимому за то, что стоила десять «синих бумажек», на дворе – множество «мелочи» (утки, куры, гуси), в огороде зеленели огурцы и дыни и овощи всякого рода. Счастливый «помещик» хотел быть достойным учеником пана Струмилы, «Северные сады» которого держал у себя на столике<sup>25</sup> и гордился, что живет теперь, «как какой-нибудь шах Кохинхинский». По высланному матери реестру понесенных доходов выходило, что ремонт обошелся почти вдвое больше, чем приобретение собственности, в целом – 600 рублей серебром и 10 копеек.

Прежде чем этот реестр дошел до матери, именно такую сумму она отправила сыну. Таким образом, желание покоя «внешнего» исполнилось, но беспокойство душевное невозможно было ничем усыпить или заглушить. Среди самых увлекательных хозяйственных работ и забот мысль о возвращении на родину не оставляла его ни во сне, ни наяву. Уставший от ежедневного надзора за плотниками и малярами, закрытая вечером глаза, видел он себя окруженным сонмом знакомой и не-



Киселевка. Фото Г. Крамора. 2003.

знакомой родни в Дзяхыльне. **«Это сон, - говорил он себе, - уже не один раз мне грезилось это».** Видение однако же возникало вновь и вновь: он осматривал все уголки поместья, радовался всем дорогим лицам. Верил в эту иллюзию, и сердце наполнялось несказанной радостью. **«Это не сон, - восклицал он, - я действительно вернулся, я у моей дорогой мамы!»** И, просыпаясь в это мгновение, плакал горькими слезами. Высчитывая, чего же ему не достает в хозяйстве, что нужно будет еще приобрести, останавливался вдруг и говорил себе: **«А, может быть, даст Бог, этого уже и не потребуется».** Описывая брату свою радость по поводу приобретенного приюта, заканчивал он следующими словами: **«Никогда так сильно, как этой весной, не говорило мне предчувствие, что это последняя весна моего изгнания, что следующую уже проведу с вами».**

Несмотря на это, мать, которая ничего не жалела для малейшего утешения сына, огорчалась при мысли, что он «укореняется» в Сибири, радость, которую он проявлял, задевала ее чувства, как будто что-то отнималось у нее и родины. А сын успокаивал ее, отвечая: **«Зачем мама печалится по поводу покупки дома? Многие из моих товарищей имеют свои собственные дома для проведения досуга и лучшего удобства. Разве дома станут препятствием в случае, если засветится благоприятная звезда возвращения? Останется по крайней мере утешительное воспоминание о времени, проведенном в неволе».**

И все же эта жизнь не без привлекательных ее сторон, оставшихся в памяти изгнанника, вздыхавшего даже поздней по этому сибирскому прошлому, растянувшись в своем монотонном течении еще на четыре года. С того времени и шло все без особых изменений согласно астрономическому календарю, которому сопутствовал календарь воспоминаний. Письма к родным становятся похожими на подробные описи, в которых отражены последовательная смена месяцев и разнообразный колорит времен года.

Едва лишь прошел день Св. Теклы (23 сентября) и матери были отправлены самые трогательные пожелания с просьбой принять какой-нибудь сувенир, например, образ неизвестного святого, вырезанный на камне с гор алтайских, **«который бы напоминал ей о Сибири и о несчастном ее сыне»**, как наступили короткие дни, ненастные и холодные, внезапно выпал большой снег, сменившийся слякотью, а затем льдом и новой оттепелью. Вдобавок к этому почта все чаще стала опаздывать: **«Как тут быть в хорошем настроении и не сетовать. А что еще будет, когда наступят ноябрь и декабрь, когда сама зима сибирская пожалует со своими 40 и 45-градусными морозами, со своими ночами, продолжающимися по 17 часов, и, наконец, со своими бурями и пургой».**

В ноябре бедный узник, вынужденный после летней деятельности сидеть у печки, продолжает жаловаться на свою двойную неволю. **«Уже неделю, - пишет он, - на улице такая гололедица, что кажется будто кто-то положил на нее громадное зеркало, чтобы помешать прогулкам и, что еще хуже, лишить домашних и диких птиц корма... Когда пишу это, вижу в 50-ти шагах от моих окон стаю серых куропаток (есть**

**здесь и белые), прилетевших из степи в город в поисках зерна. Думаю, что ничего подобного не увидишь в Вильно или в Минске. Бедняжки! Они не могут своими слабыми ножками пробить ледяную поверхность и выгрести хлебные зерна или семена каких-нибудь растений и вынуждены по этой причине летать к людям и с доверчивостью, достойной первых времен творения мира («как непуганые звери, которые не бегут, видя первого человека»), отважно бегать и скользить по ледяной улице среди баб, идущих по воду и едущих с сеном крестьян. Этой трогательной картиной не позволил мне любоваться дольше мой глупый Трезор, который, почуяв дичь, не нашел ничего лучшего, как прогнать птиц из города».**

В декабре можно лицезреть и другое зрелище на улицах Ишима. Два раза в год перед Рождеством и Пасхой проходит здесь ярмарка, каждая продолжается с неделю, причем зимняя бывает особенно многочисленной. Из разных далеких краев собираются здесь купцы, до шести тысяч гостей заполняют городок, жители которого вынуждены в это время тесниться по углам «как сельди в бочке». Глухие и пустые улицы наполняются внезапно шумом и движением. «Есть на что «поглазеть». Везде бродят в своих национальных костюмах киргизы, татары, бухарцы, ташкинцы; везде полно товаров: пирамиды сала и масла, груды заячьих шкур, батареи чугунных горшков, башни разноцветных ящиков и сундуков, стада скота, табуны коней, несметные шеренги гусей. Это все очень развлекает и тешит взор, утомленный однообразием, но при этом тот, кто имеет свое хозяйство, должен не только для развлечения смешиваться с ярмарочной толпой, но на целое полугодие запастись всем, чего уже невозможно будет достать до следующей ярмарки.

Наш хозяин (А. Янушкевич – Т.С.) из своего уединенного домика в Киселевке выходит в город с заранее составленным и хорошо обдуманным списком покупок. Он бегаёт, торгуется, покупает и даже продает; закупает масла десять пудов, старый конь Гнедко уже выслужил свою цену и кормить его зиму не имеет смысла, лучше весной купить другого, да и одна из коров мало дает молока, а, следовательно, пусть отправляется к мяснику. Сообщающие обо всем этом детальные донесения «дорогой маме» заполняют «шесть административных» писем, предназначенных со времени заведения собственного хозяйства для рапорта подобного рода. Сколько же писем посылалось в разные стороны, можно догадаться из следующего бюджета расходов. **«После того, как убедился, что письма, написанные на простой бумаге, стоят столько же, как и на почтовой, решил не покупать почтовой бумаги, а только простой, что и позволяет мне экономить до восьми рублей в год».**

Регулярность прибытия почты и необходимость быстрого ответа заставляли временами забывать о любых неприятностях зимы. **«В этом отношении хорошо бы, если бы зима продолжалась постоянно и санная дорога, дай Бог, была бы даже летом!»** Среди всех утешений, которые могла предоставить корреспонденция, были и новогодние поздравления, которые пришли отовсюду. **«И что же пожелания? Увы!**

Действительно приятные слова для изболевшегося сердца, но бессильные, как лучи солнца зимой, лестные для воображения, но не лечащие, как лекарства, даваемые чахоточному, который их принимает, хотя в душе не верит в их результат».

Его, погруженного в печальные размышления, уже мало развлекала ишимская маскарадная ярмарка, о которой он сообщал сестре: «Если не знаешь, то я тебе скажу, что у нас с новогодней ночи до ночи крещенской – *рыхтык* (карнавал – Т.С.), как говорят прекрасные литовки, подобный венецианскому. Как только зайдет солнце, а это происходит здесь почти после обеда, изо всех углов, закоулков и *перулков* выходят *слушальники*, то есть маскированные, но без масок, потому как где же здесь достать этот товар? Каждый наряжается как может, чернит углем лицо или закрывает его платком, но чаще всего бумажным листом. Такие «*маски*» поют громко одну и ту же песню и заходят в дома, где немного повертевшись и побормотав, отправляются дальше. Я веду речь о низшем классе, о *простонародье*; класс же *благородный* выглядит весьма внушительно. Представители высших сословий привозят даже маски из России и часто выступают весьма значительно, но я об этом говорю только понаслышке, так как не бывая нигде, не видел *слушальников* высшего местного света».

«Однако не думайте, мама, - пишет он в другом письме, - что я одиачал и стал отшельником. Вижу людей, но только в то время, когда сам этого хочу. Не бывает ни одного дня, чтобы не видел хоть кого-то из моих товарищей. Посещаем друг друга, ездим вместе на прогулки, читаем часто вместе, играем в шахматы или в приятной беседе о родном крае проводим долгие часы». За все время пребывания Адольфа в Ишиме здесь всегда проживало более десяти поляков. Одни уезжали, другие приезжали. Он застал подполковника Северина Кшижановского и Анзельма Ивашкевича, приговоренных еще в 1825 году. Из военных и повстанцев 1831 года здесь находились: Томаш Кичинский, Каспер Бабский, Липский, Воронежский, Цыприан Гродецкий, Николай и Леон Грохольские. За попытку побега из Москвы и присоединения к восставшим сюда были высланы литвины: Павел Чеплинский, Каспер Шаняевский и Михаил Морачевский; из эмигрантов 1833 года – Густав Зелинский, Евгений Лемпицкий и Йозеф Новак (из Королевства); наконец, за демократический союз 1839 года – Александр Ратульд, Михал Лемпицкий и Кароль Балинский. Кшижановского перевели в Тобольск, где позднее (1839 г.) в состоянии умопомешательства он умер. Николай Грохольский, Ивашкевич, Липский, Воронежский, Кичинский, Бабский друг за другом получили возможность поселения в Европейской России, либо окончательного возвращения домой. Леон Грохольский и Гродецкий умерли в изгнании.

Случилось так, что во время отъезда Кичинского в Пермь, надо было отдать последние почести Гродецкому. «Нетрудно представить себе, дорогая мама, - писал Адольф в феврале 1839, - что должен был я чувствовать, провозжая двух друзей своих по столь противоположным дорогам». Возвращение же каждого из товарищей по изгнанию на родину наполняло его радостью и надеждой. «Может, придет, наконец, и

моя очередь, - рассуждал он, - есть в этом и для меня зернышко доброго предзнаменования, дай Боже, чтобы оно взошло».

Столько соотечественников из разных сторон, но по одному делу собранных в небольшом городе Сибири составило тесно связанное между собой товарищество. Звуки родной речи не раз позволяли им забывать, что они находились среди чужих и в краю изгнания. Единство и добрая гармония придавали силу, о которую разбивались все провокации местных чиновников, желающих нарушить их спокойствие. Своим благородием и достоинством в поведении они вызвали у власти уважение к себе. В очень большой степени (по свидетельству одного из товарищей) это была заслуга Адольфа, который своей деликатностью и силой характера подавал пример другим.

Не у всех было такое положение, как у Адольфа. «Я тем хотя бы счастлив, - сообщал он, - что могу знать о дорогом здоровье моей мамы, которой обязан облегчением своей участи. Сколько же моих товарищей не знает этого милого утешения! Сколько же из них тех, которые не получают ни одного известия от своих родственников то ли по причине их смерти, то ли из-за более горестного, чем сама смерть, повода – забвения!»

Справиться с таким страданием помогали братская любовь и отзывчивость. В целом же, хотя Сибирь и представлялась во всех отношениях противоположностью Западу, относительно быта участь наших изгнанников сибирских была много лучше, чем участь западных эмигрантов (к примеру, поляков во Франции – Т.С.). И хотя они оказались в краю более низкой культуры, чем их собственная, где были ограничены в осуществлении многих своих желаний, но в то же время могли удовлетворять самые основные потребности. Впрочем, такая жизнь вполне соответствовала «помещичьим» привычкам большинства ссыльных.

В письмах Адольфа можно нередко найти описание сцен той жизни, сцен, которые едва ли не целиком могли бы быть перенесенными на польскую почву. Одна из них сразу же дает представление, как некоторые из поселенцев женились – по старинке и, хотя не получали приданого, не считали себя обманутыми.

«Несколько дней тому назад, - рассказывал он, - сразу после обеда, вижу, как одни, вторые, третьи сани подъезжают к моим воротам. Что такое? Что за гости? Никто ко мне так шумно и так людно не приезжает. Думал, что ошибка, но въезжают во двор. Двери открываются, и входит один из моих товарищей по неволе. Подойдя Теодор Ковальский, за ним довольно красивая, молодая, с живыми глазами женщина, а за ней *шафер* (род адъютанта на свадьбе). Остальные приезжие пошли греться на кухню. Легко было отгадать, что это *свадьба*, что пан Ковальский со своей женой приехал в гости к своему коллеге. «Представляю тебе мою жену, Евдокию Ильиничну. Женится вчера; не знаю, правильно или неправильно сделал, но это произошло», - такими были первые слова молодого пана, на которые оставалось только ответить: коли так случилось, я желаю вам счастья. Благослови вас Бог, а сейчас позволь мне обнять твою половину. И будучи близ-

кими к природе и не ведая ни реверансов, ни поклонов, ни лобзания рук, совершенно попросту, чмок-чмок, она – меня, а я ее два раза – в правую и левую щеку. После такого вступления, из-за недостатка вина, должен был выпить за здоровье молодых рюмку померанцевой *настойки*, необыкновенно горькой. Новобрачный с шафером на слова поздравления выпили в честь хозяина, а молодая панна только слегка приложила к этому нектару, совсем как королева Виктория, когда та должна пить за здоровье сотен лондонских олддерменов. Закуской послужил изюм, который остался, к счастью, от рисовой каши. Расскажу вкратце, как же состоялся подобный союз. Пан Теодор, занимаясь хлебной торговлей, поехал за своим товаром в Бердюжье (85 верст от Ишима) и когда там ночевал у некоего *мелочника*, то есть лавочника, торгующего в деревне иголками, лентами, мылом и тому подобными предметами, увидел молодую девушку, которая пришла сюда, чтобы купить кусок квасцов<sup>26</sup>. Чувствительный пан Теодор с первого взгляда так влюбляется в нее, как я когда-то в Хелуни, как я когда-то... но нет, иначе, потому что, слава Богу, со мной все закончилось по-другому. После ее ухода спрашивает хозяина: кто это такая? какого поведения, каких родителей, состоятельных или бедных и т.д. Когда хозяин на все вопросы ответил *«ладно-ладно»*, а это означало, что и скромна, и добра, и работяща, и богата, поинтересовался: а нельзя ли на ней жениться? *«Ну, не знаю, разве убегом (то есть украдкой)»* - А почему это? – А потому что у родителей есть четверо детей, *все дочери*, ни одного сына, а так как панна Евдокия самая старшая, ей 19 лет, следовательно она должна *и сеять, и пахать, и волочить* (бороновать) и *всякую всячину обрабатывать*. Было уже немало претендентов на ее руку, и богатых тоже; но родители не хотят выдавать ее замуж, пока младшие не подрастут и не смогут *пахать и волочить*. Это сообщение не охладило пыла подоляка. Через несколько дней, когда ему не удалось, несмотря на тайный сговор с Евдокией, выкрасть ее для сопровождения в церковь, он попросту уведомил ее родителей о своих намерениях, а те после сильного сопротивления вынуждены были наконец разрешить, так как панна встала стенкой и пригрозила, что делает с собой что-нибудь плохое, если ее не выдают за Федора Петровича. Таков результат этой истории. Что же касается богатства – кто же смотрит на такие мелочи! Отец пообещал подарить *коровку*, мать снабдила тремя рубашками, головным платком, платьем и полушубком бараньим – остальное даст Бог. Был вчера с ответным визитом. Живут в избе, покрытой землей, и имеют 1000 рублей долга. Но поскольку муж оборотистый, а жена – работящая, выйдут из бедности. Можно и себе посоветовать: *не опускать рук и не лениться*».

Кроме «светских» отношений (визитов друг к другу) были между нашими ишимскими поселенцами и отношения «домашние». Наиболее состоятельные и не желающие заниматься собственным хозяйством «столовались» у тех, кто его имел. У Адольфа были один или два таких «столовальника». А его прислуга не ограничивалась той самой «стряпкой». В первый же год он взял для помощи ей зимой мальчика подростка, который стоил немного: *«пару сапогов и питание, а был очень по-*

*лезен*». А потом на постоянную работу принял женатого соотечественника, отбывавшего год ссылки в качестве солдата инвалидной команды в Ишиме. *«Штат мой, - сообщал он матери, - это пан Леонард Корыцкий и его уважаемая супруга Лукерья. Они – люди ни с чем не сравнимых достоинств, доброты и услужливости. Все идет, как в часах, и тихо, как в ухе. Следует еще добавить, что «мадам» является превосходной прачкой и кухаркой, а пан Леонард за зиму выучился сапожному делу и мне уже одни сапоги превосходно отремонтировал. А какой едим мы пекенфляйш и колбасу, это – чудо!»*

Итак, домик в Киселевке был тихим, но не унылым. Очень милую компанию хозяину составляли книги, тем более, что независимый владелец своего дома и времени мог с ними поступать как с гостями – видеть или не видеть их в зависимости от личного желания. Сибирские наши братья не знали одного из тяжелых несчастий цивилизованного мира; по крайней мере в Ишиме они были сво-



*Киселевка. Вид на Богоявленский собор с южной стороны. Фото Г. Крамора. 2003 г.*

бодны от чтения и писания по принуждению, от той «бумажной» жизни, которую приходится вести, чтобы не умереть с голоду. Не следует однако думать, что ум их был погружен в непроглядную тьму киммерийскую и вся история человечества была для них «забита досками». О всем, что происходило в Европе, они знали так же хорошо, как и польские эмигранты на западе. Знали даже, кто и как говорил во дворцах французских и английских, знали, чем кончалась каждая речь с трона Людовика Филиппа и ответ на нее; а если и узнавали об этом несколько позже и только из двух или трех газет, читаемых при свете сальной свечи и на свежем степном воздухе, а не из сотен листов при запахе газовом и трактирном, то зато не доходила до них вся масса анекдотов, а также журналистского фразерства и вранья. И это, по всей видимости, не представляло для них несчастья: они знали достаточно, чтобы домыслить остальное. Современность не была для них тайной; прошлое и будущее, «разместившиеся» под обложками книжек, были открыты для них в той же степени <...>.

Из наиболее интересных произведений того времени не было ни одного, которое бы Адольф не держал в руках своих. Читал *«одни по несколько раз, другие – в первый и последний раз»*. Чтение некоторых книг сопровождал примечаниями, так как имел богатый запас приобретенных издавна знаний, который старался постоянно пополнять, а подчас, из любви к истине, даже менять свои представления о людях,

странах и вещах <...>. Особенно сильно увлекла его в то время «История завоевания Англии норманнами» Огюстена Тьерри<sup>27</sup> <...>.

Огюстен Тьерри был одним из тех, кто в надежде разгадки мучительных вопросов современности отправился в давние времена. Подобно другим исследователям он страстно желал открыть новые богатства в затхлых пергаментях средневековых памятников, но при этом он не увяз ни в одной эпохе, не застрял в одном уголке исследований, вылавливая некие «интересные» подробности, как капкан неосторожную птичку. Одаренный редкостной силой чувств и ясностью мысли, он вернулся из исторических глубин и вынес на белый свет прекрасные плоды своих титанических трудов, в которых отражен был удивительно живой образ ряда завоеваний и покорений части западной Европы <...>.

Адольфу недостаточно было читать эти трогательные и увлекательные страницы: столь присущее нам желание присвоения чужого слова, в котором с наслаждением и радостью мы находим выражение наших невысказанных чувств и мыслей, побудило его к переводу труда Тьерри на польский язык, при этом единственным намерением было удовлетворение ненасытной потребности «утешительной работы».

Работа шла быстро. Начал ее после декабрьской ярмарки 1839, а в феврале следующего года сообщил матери, что уже закончил второй том, а чтобы не беспокоилась о его зрении, объяснял, каким образом происходила эта «операция». «С утра, в 9 часов, пес Валет, верный друг благородного моего товарища и земляка Литвина, срывается со своей подстилки и производит великий шум, означающий, что его хозяину подошло время покинуть квартиру и отправиться в путь. По этому сигналу вельможный Павел Чеплинский надевает огромные боты и шубу, берет в руку палку и марширует версту до моего дома, а здесь его уже ждет столик с бумагой, чернилами, перьями и песком.

Как только он «отмерзнет», то есть согреется, садится за столик, читает мне громко французский текст, а я ему диктую, как это писать по-польски, что он прекрасно и исполняет. Это приятное развлечение занимает нас только до обеда; вечером же забываем о норманнах и Англии и разговариваем о себе и своем крае, воображаем иногда в течение нескольких часов, что чувствовали бы мы в то мгновение, когда бы нам было сообщено, что мы свободны и можем ехать домой. И мы так глубоко погружаемся в свои сладкие мечты, что уже (конечно, только в мыслях) нанимаем телеги, одну под вещи и казака, другую — для себя; распоряжаемся относительно мебели, составляем список, что нужно взять с собой, а что оставить. Я даже приготовил уже узел в дорогу и 5 рублей для почтальона, который привезет пакет с сообщением о нашем избавлении». Ожидаемый почтальон не прибыл, и перевод был завершен без препятствий <...>.

Зима представлялась бесконечной, но все же в феврале, как сообщается в одном из писем, «она перекочевала, то есть приблизилась к своему исходу или повесила нос на квинту. Уже сороки и голуби не мерзнут, ртуть в термометре не застывает, и часто днем капает с крыш

вода. При таком положении вещей бедный пан Адольф Янушкевич, меривший большими шагами свою комнату, надевает костюм наездника и направляется с берегов Ишима аж за пределы Карасули, а во время этих заграничных поездок, Бог знает, какие только мысли не приходят ему в голову. Счастлив, если усталость опрокидывает его на кровать, а глубокий сон позволяет забыть на короткий срок о всех беспокорствах, которые терзали его во время дневного бодрствования...»

Но недолго капризная сибирская зима позволяла радоваться ее неожиданной милости. Подул ветер с Ледовитого океана и принес метель. Замкнутый вновь в домашней тюрьме, он сообщал матери: «Несколько дней тому назад у нас была *пурга*, которая продолжалась 20 часов. Никогда в жизни я не видел такой бури. Мой старый дом, обращенный к степи, был в великом опасении за свои кости. А я уже думал неоднократно, что огромные волны снега, гонимые сильным ветром, выворотят его и полностью засыпят, но он, подобно египетской пирамиде, выдержал необузданность урагана и сегодня гордо поглядывает своим дырявым верхом на остановленный им снежный вал, развернувшийся могучим змеем у его подножья. Прекрасный это был денек! Несколько человек, возвращающихся из степи, замерзло в дороге. Среди белого дня стало темно как ночью, и следовательно, я не мог читать, оставалось только искать развлечения в трубке и ходить по комнатам по примеру капитана корабля, который в подобном случае на море спокойно пересекает залитую водой палубу. За порог не выглянуть, так как перед ним намело столько снега, что на следующий день мы едва себя откопали. На улице ревело, гремело, свистело, срывало крыши. Сидел как в осажденной крепости, а шум был такой как в Антверпене, когда на голову его коменданта сыпались бомбы из огромной мортиры. Наконец все стихло, мороз сковал воздух, небо прояснилось, а свет северной зари фантастическими своими красками развеселил мою душу. Что это за чарующее явление! Кто его не видел, тому стоит специально приехать в Сибирь, но при условии свободного возвращения».

С февральскими бурями миновали дни именин брата Ромуальда и кончины отца, посвященные воспоминаниям. Миновала также масленица, во время которой происходили «катание с ледяных гор и гуляние по длинным улицам Ишима, то есть самые обычные здесь забавы высшей и низшей публики без каких-либо балов, без каких-либо маскараров». В 1839 году все было несколько иначе. «Позабавило нас, - рассказывал Адольф, - зрелище «*масленки*», прибывшей из деревни. Были широкие и длинные сани, а на них, как Вавилонская башня, возвышалась пирамида, покрытая коврами. На ней стоял огромный детина с большой хоругвью в одной руке и со штофом — в другой. У основания пирамиды на скамейках стояло также четверо верзил, пестро одетых, вокруг которых, на самих санях, размещалось около двадцати крестьян. Десять коней тащили этот триумфальный воз; на каждом коне сидел хлопец, а спереди, с боков и с тылу ехало множество причудливо разодетых ездоков. И все это пело, кри-

чало, скакало аж до полночи, пока городской не приказал прекратить этого веселья. Этот масленичный кортеж напомнил мне итальянские времена, когда под теплым небом смотрел я на забавы южноевропейского люда».

Вскоре воспоминание о юге было вызвано еще большим впечатлением. «Что Вы, мама, скажете о том, - писал он, - когда я сообщу, что у нас здесь состоялся вокальный и инструментальный концерт. Пан Адольф Кермес де Причинико, тенор родом с Арно, явился целой эпохой в истории нашей морозной Сибири. Действительно, что может быть более удивительным, нежели каватина Россини или Беллини на здешних льдах и снегах. Впервые среди диких степей, оглашаемых до сих пор лишь унылой мелодией киргизской песни, раздались соловьиные звуки южного голоса: но, к сожалению, это был голос «вопиющего в пустыни» и нечего этому удивляться, так как публика наша, никогда не слышавшая незнакомых тонов на незнакомом для нее «льющемся» языке, не могла в звуках этих найти столько очарования, сколько нашла бы в родной музыке и речи. Что до меня, уже девять лет не слышавшего итальянской гармонии, столько раз и в стольких театрах Европы, отворявшей рай для моей души (хотя и упоминаемый певец не мог сравниться с первыми артистами, в чем надо честно признаться), то я по возвращении с концерта, на который выбрался, как медведь из своей ямы, всю ночь не мог спать, полный какого-то неопишуемого чувства, воздействие которого ощущаю до сих пор. Остались во мне какое-то томление и грусть, которые, вероятно, рассеет первая улыбка



Ромуальд Янушкевич,  
брат Адольфа.



Евстахий Янушкевич,  
брат Адольфа.

ка приближающейся весны, либо живительное пение жаворонка, так как соловья не знает степь Ишима!»

Но жаворонок запоет еще не скоро, потому что на праздник Св. Казимира, в день приговора, подписанного фельдмаршалом Сакеном, зима лежит еще неподвижно, как этот приговор. Напрасно и Варшавский календарь называет 21 марта первым днем весны. «Поверил этому календарю, - рассказывает Адольф, - вышел на прогулку в летней шапке и отморозил часть левого уха». Через несколько дней сообщает уже веселее новость, которая открывает череду радостных известий: «Вчера, когда читал мамино письмо, слышу, как что-то стучит в стекло... Смотрю, а это капли дождя! Вот тебе уже и конец, несносная зима! Обрадованный выбежал на двор, открыл рот, чтобы несколькими каплями освежить небо, прокоптившееся от табачного дыма... Послезавтра именины Евстахия... Вздыхают ли они там, как и мы, по весне?...»<sup>28</sup> «Утки показались уже в окрестностях города, стая скворцов пролетела над моим садом, водяные птицы длинными вереницами все чаще тянутся с юга на север, земля выходит из-под снега, кое-где появляется травка: смотрю на приближающуюся весну как волк на ягненка». «Имел честь сорвать первый полевой цветок и есть зелень молодой крапивы».

Одновременно с прилетевшими птицами посетил Ишим другой странствующий гость, навещающий его по возможности в разное время года. «Неделю назад, - пишет Адольф, - мы принимали здесь нашего приходского священника, ксендза ордена доминиканцев. Он и его викариат находятся в Томске при католическом храме, а приход распростерся вдоль от Урала и за берега Оби, поперек же - от Ледовитого океана до подножия Алтая. В этом округе можно было бы разместить пару Франций, три Англии и четыре дюжины маленьких немецких княжеств. И на этом огромном пространстве лишь где-то пасется какая-нибудь овечка из стада, которому он является пастухом, потому что наибольшая часть населения греко-российского (православного - Т.С.) вероисповедания, другая придерживается правил Корана, остяки же, самоеды и тунгусы хвалят Бога соответственно своих представлений.

В Ишиме наш священник нашел около сорока прихожан, в число которых вошло несколько цыганов и три-четыре сивиллы (цыганки - Т.С.), их уважаемые супруги. Исповедал нас, отслужил мессу и благословивши поехал дальше. Он произвел на меня большое впечатление. С момента моего отъезда из родных краев я в глаза не видел ксендза, а поэтому Вам, мама, легко будет представить, какое воздействие произвело на меня появление священника моей веры. Перенесся мысленно в счастливые времена своей ранней молодости, когда первый раз шел на исповедь в великом нашем городе Копыле в обществе мамы и любимой тети, вспомнился мне и тот подогретый кофе, который мы привезли с собой из Усова, вставали перед глазами и те шведские могилы времен Карла XII, мимо которых мы ехали в Кель.

Припомнил, как позднее, в обществе двухсот товарищей читал молитву в Доминиканском костеле Несвижа. И, наконец, ожила в моем воображении минута, когда среди ста тысяч людей, покрывавших пло-



щадь Ватикана, я слушал благословение папы. Сравнил те времена с сегодняшними... Какая разница! Где теперь родные, где друзья, приятели, где единоверцы? Религиозный обряд совершался тихо, скромно, как в первых веках христианства, как среди американской саванны в вигваме индейца, под куполом из сплетенных ветвей, среди торжественной тишины лесов Нового света. Эти сравнения и возвращение к прошлому так разбередили мое сердце, что в незнакомом мне священнике я видел отца, мать, братьев, сестер, друзей, словом все, что мне дорого. Ах, мама, почему же судьба желает, чтобы все это не стало очевидностью? Почему я не могу видеть это своими глазами и обнимать дорогих мне людей?»

С Пасхой приходили другие воспоминания, сравнения и сетования. «У мамы в это время, наверное, все домовые бабы занимаются пасхальными бабами (игра слов, т.е. стряпают кондитерские изделия – Т.С.), пирогами и мазурками. Везде, по-видимому, всеобщее оживление, как обычно в Литве в пасхальную неделю. А у меня тихо и глухо, как в будничные дни и если бы не стряпка, которая спрашивала у меня сегодня дозволения сварить на праздник пива, я бы и не знал, что через три дня закончится пост. Написав о пиве, должен добавить, что наши сибирячки (подобно истинным литвинкам и жмудинкам) обладают особым талантом изготовления пива без кильштоков и пробок, а попросту в двух больших горшках, называемых тут *корчагами*, и из житной муки. А пиво превосходное, куда до него и самому шчеровскому!»

«Я каждую Пасху провожу в печали и почти полном одиночестве, так как мне неприятно в такие дни бывать, как здесь говорят, в гостях. Ты, вероятно, догадаешься, мой Януарий, почему, а если же не сможешь, я тебе скажу. Напоминание, что когда-то в эти дни ел освященное в кругу родных или друзей и что теперь в эти дни родные и друзья находятся так далеко, одно и другое – причины того, что великие праздники становятся для меня праздниками почти траурными. И даже когда я должен там и сям давать и получать традиционное пасхальное целование, я не беру в рот ни одного кусочка булки. В первый день праздника, если есть еще снег, нанимаю за 50 копеек саночки, если же хорошая погода и сухо, то с помощью моих некоротких ног за пару часов обегая все дома, в которых мне приходится бывать по разным причинам.

Нацеловавшись с разными бабами, замужними женщинами и девушками возвращаюсь к себе, надеваю шлафрок, закурываю трубку и либо думаю о вас, либо уже и не знаю, куда отлетела моя мысль. Смотрю через окно на установленные с другой стороны улицы качели, на которых качаются соседские мальчишки, или на то, какие *девочки* прибыли в *гости* к моим уважаемым соседкам. Целуюсь, однако, с истинным чувством и умилением в одном доме, напоминающем мне отчасти родительский дом, то есть у моего бывшего хозяина Гаева. Обнимая его красивых и добрых дочек, представляю себе, что прижимаю к сердцу своему детишек которой-нибудь из сестер моих. Наибольший же из поцелуев достается панне Анастасии, которую я научил за семьдесят дней читать и писать буквы алфавита».

К сожалению, вскоре после Пасхи 1839 года пришлось Адольфу сообщить матери о несчастном случае, произошедшем с этим домом: «Рано, между вторым и третьим часом 7 мая, зловеющий звук трещотки, слава Богу нечасто раздающийся в Ишиме, поднял меня на ноги. Собрался в одну минуту и, схватив в одну руку портретик мамы, в другую, стыдно в том признаться, деньги, помчался галопом на место пожара. Занялся он в 1300 шагах от меня, в бане одного купца, окруженной разными строениями, которые тотчас сгорели вместе со скотом, так как был сильный ветер, а помощь в ночное время и в городе, размещившемся на большом пространстве, не могла быть достаточно спешной.

Когда я прибежал на место несчастья, горела уже крыша находившегося рядом дома моего доброго Гаева, где после моего переезда жил около двух лет наш соотечественник Густав Зелинский. В этот момент он выскакивал через окно со своим псом Алтаем. Он бросил мне пальто и футляр от очков, а сам побыстрее начал перебрасывать на другую сторону улицы некоторые спасенные вещи, опасаясь как бы они не занялись огнем. К счастью, живущий неподалеку Павел поспешил с телегой и, таким образом, сумели сохранить наибольшую часть скромного имущества нашего товарища, а также помочь другим. Мой Гаев в полчасе остался без дома и хозяйства. Уцелели лишь скот и несколько сундуков. Ничего не удалось больше спасти по причине того, что двор был завален товарами купцов, прибывших на ярмарку, и деревом для строительства. И едва не потерял он самую маленькую свою дочку, которую в суете завязали вместе с постелью в простыню и завалили разными вещами.

Тем временем дом за домом становился жертвой пламени и не всегда по очереди, так как часто дальние загорались быстрее, чем ближние. В нескольких из них я спас, что смог, выносил вещи, подвернувшиеся под руку, выводил женщин, находящихся в полубморочном состоянии. Подошел момент, когда и моя улица почувствовала страх. От всего срединного и самого красивого квартала города осталось только полтора дома, и начала гореть солома, разложенная кучами на базаре для покрытия устанавливаемых здесь ярмарочных балаганов. Тогда и все мои соседи бросились спасать свое имущество, тогда и я побежал к моему домику, где застал заплаканную, но все же в здравом уме стряпку. Приказал в первую очередь выгнать скот, потом вынести самые нужные вещи и положить их на телегу, в которую запряг коня. Так приготовившись ждали мы подходящей минуты для выезда в поле, но опасность, благодаря сменившемуся и утихнувшему ветру, вскоре миновала нас и всех моих киселевцев.

Зарево пожара стало гаснуть, взошло солнце, и золотые его лучи упали на печальные пепелища и еще более печальные лица погорельцев. Тут-то и наступил момент, воспоминание о котором вызывает слезы. Я побежал посмотреть, что же происходит с бедным Гаевым. Бедняга стоял в чужой одежде, окруженный рыдающими родственниками, и плакал, глядя на превращенные в пепел плоды труда всей жизни своей и весь капитал будущего трех маленьких дочек, прекрасных,

как ангелочки. Моя ученица Анастасия, босая и в одной рубашонке, так она выскочила из кровати, убегая от огня, прижималась к матери. Давно уже я не испытывал такого сильного потрясения и не проливал столько слез в глубине сердца.

Едва мой замечательный друг (именно так я с гордостью называю этого простого человека) отвел глаза от руин еще глеющего дома, как сразу же увидел спешащих к нему с помощью со всех сторон людей; во всем городе не было никого, кто бы не жалел доброго Гаева. В этот раз мне хотелось быть богатым, чтобы иметь возможность основательно его поддержать. Маме, наверное, приятно будет все же узнать, что я по мере своих возможностей старался оказать ему пользу в этом несчастии».

Но прелесть весны скоро разогнала печальные мысли и скорбные впечатления. На горестные воспоминания не было времени, необходимо было копать грядки, сеять, садить, поливать. «Огород поднимает уже голову. В нем есть даже то, чего нет ни здесь, в Сибири, ни в Европе: тибетский ячмень с Гималайских гор, китайская пшеница, семипалатинская кукуруза; если удастся собрать семена, то вышлю часть их в Литву, чтобы Януарий в своих Альпах и долинах дзяхыльнинских размножил эти прекрасные плоды». «За деньги от продажи зимой киргизам на бифштеке гнедого приобрел рожь (за 96 рублей и 10 копеек!)». «Карек, истинный скакун, родственник Фарыса, черный, как грозовая туча и кроткий, как ягненок, при этом быстрый и сильный, равно пригодный и для верховой езды, и для работы. Что за удовольствие будет пересекать на нем зеленые волны степного океана!»

Эта пора года, которую Адольф столь страстно ожидал, имела в то же время для него и свою неприятную сторону: опаздывали на несколько недель письма с родины, и часто замерзали вся рассада, вся цветная капуста и галарепа, овощи, неизвестные в Ишиме до того времени, пока их семена не пришли из Дзяхыльны. И все потому, что апрель в ишимском климате обычно бывает ясным и сухим, а май, напротив, ненастным и холодным. «После дней почти летних, после дождей теплых, после громов и молний врывается северный ветер, дует всю неделю и больше, приносит мороз и снег: расцветающие первоцветы Сибири, золотые цветочки сон-травы, набухшие почки деревьев опадают, прихваченные инеем, вся земля белая, как в ноябре».

Сетую на подобную смену погоды, писал сестре: «Вот уже 15 мая, день твоих именин, дорогая Зося, некогда я летел на них, рискуя сломать шею, из Вильны в Семеновичи, к которым позднее посылал поздравление из Рима и которые теперь отмечаю в Азии, с трудом удерживая перо в замерзшей руке; будь однако уверена, что в хорошие или плохие для меня минуты, поздравления мои, сопутствующие каждому воспоминанию о самой лучшей сестре, такие же горячие».

Но вскоре погода изменилась вновь, так как северная природа должна спешить с завершением летних своих работ. В письме, написанном 9 июня, возникает уже совершенно другая картина: «Некогда этот день бывал для меня очень приятным, но теперь он только повод для печали. Могу ли я быть в этот день веселым, когда вместе с пробуждением

встает перед глазами моими образ мамы, проливающей слезы по тому, которого бы в этот день она хотела прижать к своей груди и благословить особо...<sup>29</sup>. А как сегодня все красиво вокруг меня! Вся околица так покрыта цветами земляники и клубники, что кажется припорошенной снегом. Точу зубы на объявление им (ягодам – Т.С.) войны через неделю! Здесь цветет так много полевой розы, что в некоторых местах можно видеть большие пространства словно устланные красным покровом; а украшает степь Ишима такое множество незабудок, что кажется, будто миллионы бирюзовых камушков упали с неба на землю. Сделаю из них инициалы любимой мамы».

И вот едва прошла неделя, как появляется много клубники и другой ягоды, начинают желтеть хлебные колосья, поднимается по грудь человека трава в степи, лето в полном разгаре со своим зноем и докучливыми насекомыми. «Несмотря на жару, комаров, оводов, мух, мошек и рои грустных мыслей, еще более докучливых и бесконечно кружащихся в голове изгнанника», он здоров и радуется той короткой поре года, а чтобы мать имела представление о его жизни, посылает ей подробные описания своих летних занятий и развлечений.

«Утром, как только наступает день, стук-стук в окошко; городской пастух зовет: *выгоняйте корову*. Просыпаюсь и кричу стряпке: *выгоняй корову!* Она мчится доить Синюху и делает это весьма быстро, так как моя Синюха в интересном положении и дает теперь молока как на лекарство. Корова выходит, а я беру коня, провожаю его до реки и,



*Берег реки Ишим.  
Вид на Богоявленский собор с северо-востока.  
Фото конца XIX века.*

напоив, седлаю, сажусь на него с мешком в руке и лечу на базар купить мяса. Оттуда двигаюсь еще за чем-либо в другой конец города, например, к бондарю пану Гавронскому, чтобы пришел засмолить мне бочку с огурцами, которые насолил по-нашему. В пять часов возвращаюсь, даю есть коню, смазываю телегу, поливаю мои цветы, пью чай, читаю Сильвио Пеллико, пою молоком кошку, которую возвращаю для устрашения мышей зимой, кормлю моего несравненного Трезора, слушаю отчет стряпки о цыплятах и новорожденных голубках, даю ей указание, чтобы на обед состряпала холодец и пожарила белую куропатку, на что она мне, а la Odillon Barrot, возражает, ссылаясь на отсутствие сметаны, потому что Синюха ровно сдурела. Спор кончается тем, что я даю ей 16 копеек на сметану, чтобы иметь в перспективе холодец и салат к куропатке. После завтрака, если не очень жарко,

работают в огороде; после обеда же, когда солнце немного снижается, запрягаю коня в телегу, чему долгое время не мог научиться, а особенно трудно мне было стягивать этот несчастный хомут с дугой, но теперь же я в этом отношении настоящий мастер. Усадив на телегу весь мой «двор» и одного из товарищей, еду в степь за ягодой, либо на охоту или за сеном.

Пока солнечный жар не сжег клубники, собираем ее горстями, потом бродим по оврагам в поисках черной смородины, но, чаще всего, охотимся, то есть, когда нам нельзя стрелять, ловим собаками куропадок и тетеревов. Когда это пишу, шестнадцать молодых серых куропадок, взятых живыми в неволю Трезором, бегают по моей комнате. В то время как мы гоняемся за птицей, стряпка с косой, которая зовется здесь литовкой, косит сено. Через несколько часов, поймав до тридцати птиц, а порой и пару зайцев, возвращаемся с триумфом в город на высоком ворохе свежей травы. По возвращении распрягаем коня и, разложив сено на крыше, пьем чай. После чая я иду напоить и попотчевать кормом моего Карека, затем одеваюсь в замечательный халат, присланный мне недавно дядей, читаю книжку, а к приходу ночи закрываю ставни, ворота, амбар, завозню, отпускаю с привязи коня, чтобы гулял по двору, выпиваю стакан воды со льдом и иду спать».

«Стоит страшная жара. За месяц только раз шел дождь, и ежедневно не менее 30 градусов тепла. Иногда термометр Реомюра доходит до 45 градусов! К счастью, в нескольких десятках шагов от меня находится река. В ней я четыре раза за день нахожу прохладу. Когда бы не эти утренние и вечерние купания, а ем я, как панна, собирающаяся на бал, то, наверное, растаял бы как воск. Вы видите, мама, что в этой известной своим холодом Сибири мне гораздо жарче, нежели когда-то у подножия Везувия. В 9 утра необходимо уже закрывать ставни и сидеть тихо дома, как в Неаполе во время полудня или сиесты. От такой жары сгорает трава, а, значит, не будет сена, пропадают все овощи, а людей едят мухи: я весь от них в сыни. Сегодня небо хмурится, но, к несчастью, из-за сильного ветра все может вновь закончиться, как и вчера, несколькими каплями дождя. В этот момент крестный ход из города направляется за реку для совершения молебна о перемене погоды».

«Неделю назад, в конце июля, ночью, восемь часов подряд лил страшный дождь с непрерывным аккомпанементом грома и молнии. И как думает мама, где находился ее сынок во время этой ужасной атмосферической сцены? Под возом! Я поехал на покос осмотреть сено, в это время и случилась буря, которая не позволяла трогаться с места, и я вынужден был спрятаться под воз, а так как долго оставаться там в дождь, сходный с потопом, было невозможно, побежал в оказавшуюся поблизости избушку. Нашел в ней удобное прибежище, но когда крыша этой конуры, покрытой землей, промокла, можно себе представить, что стало с теми, которых она закрывала. Уже не вода, а потоки грязи обрушились на наши головы. В таком состоянии дождался дня, но не конца нашего несчастья, потому что дождь лил как из ведра до 10 утра».

«Ах, моя мама, я был в бесконечных хлопотах и огорчении! Дней

десять тому назад моя корова не вернулась с пастбища... Второй и третий день гарцевали с Леонардом по степи, разыскивая ее с утра до вечера. И никакого, даже самого малого следа моей пропажи выследить не могли. Подобный же результат поисков был и у моих товарищей Павла и Густава, которые посетили все окрестные деревни и осмотрели все хлебные поля. А я побывал в соседней с городом волости, в полиции и в земском суде, но и здесь никто не заявил, что видел ее живой или неживой. Канула, как камень в воду! Самый убедительный вывод, который можно было сделать на основе случившегося, что это знакомая проделка местных воров, жертвой которых и стала корова, потому что на волка, как на не обнаруженного в окрестностях Ишима, свалить вину нельзя. Так разрушилась моя надежда есть телятину и делать по рецепту дорогой мамы сыры... Но в конце концов после недели поисков труды наши увенчались успехом: я нашел мою кормилицу живой и здоровой, но жалующейся протяжным мычанием на то, что так долго не была доеной...

Во время этих поездок со мной произошел смешной случай. Утомленный ездой и сильной жарой, при том, что и конь нуждался в пастыбе, я остановился перед уединенной избушкой и, привязав коня к березе, пошел искать какого-нибудь подкрепления. В течение нескольких минут мой Карек спокойно щипал траву, но когда миллионы насекомых, привлеченных запахом его пота, покрыли его с головы до хвоста, он резким рывком и подскоком разорвал привязь, бросился на землю, вывалялся в пыли, а потом пустился, как стрела, знакомой дорогой домой! Остается только представить положение всадника, оставшегося в степи в пятнадцати верстах от всех обитаемых мест, среди невыносимого зноя с «запасом» продовольствия в виде кусочка сахара в кармане! Не было иного выхода кроме одного: отправиться пешком в погоню за моим ветроногим. Целые рои крылатых пиявок, от которых он улизнул, как бы мстя за это мне, облепили мою голову.

Я шел совершенно один бескрайней степью, а солнце, не видя больше никого, топило во мне свои огненные стрелы. Я шел с той мыслью, что в придачу к корове потерял еще и коня! Не раз думал уже, что я растаю или сгорю. Но ничего плохого со мной не произошло. На восьмой версте я обнаружил моего Россинанта, привязанного к дереву киргизской веревкой, плетеной из конской шерсти. Взял его, как ребенка, оседлал и через полчаса стоял у ворот моей ограды...»

«В середине августа провел два дня в Бурлаковской и Песчаковской степи, мало кушая и ночуя под стогами сена. И кто бы спросил, зачем? Из-за птиц, которых там множество. И из-за степи, где так хорошо! Просвета не видно в траве и зарослях лозы, либо березы. Надо быть очень внимательным, чтобы не заблудиться и выйти к повозке, так как на пространстве в шестьдесят верст не найти ни одного человеческого жилища. А птиц едва ли не столько, сколько слепней и комаров, которые, на мое счастье, начинают уже исчезать. За все лето имел такое множество молодых уток разных видов, тетеревов, куропадок, перепелок, дроздов, что мог бы накормить ими пол-Вильно. Не знал уже, что и делать с этой дичью. Леонард продавал ее в надежде на

доход, но здесь не платят и 25 копеек за пару тетеревов, а покупают, страшно сказать, не на жаркое, а на *похлебку*, то есть на суп».

С августа кончается и лето; в начале сентября белые заморозки покрывают землю, а порой перед днем Святой Теклы падает снег и замерзают ручьи. Поздравляя мать с именинами, Адольф отправляет ей и отчет о приготовлении к зиме, приближающейся быстрыми шагами: «Пару дней тому назад призвал шесть баб, моих соседок, на так называемую здесь *помощь мазания дома*, которая то же самое, что «тлока»<sup>30</sup> – в Литве. Приглашенные «дамы» без денежного вознаграждения работают весь день, обмазывая глиной внешние и внутренние стены дома, а пан хозяин должен им за это дать обед, ужин, баню для купания после работы, а после бани чай с «вином», то есть, в местном понимании, с водкой. Это гораздо выгоднее и быстрее, нежели помощь нанятых за деньги работников. Работа идет быстро и заканчивается в тот же самый день. Уважаемые соседки, напевая и хихикая, до захода солнца залечили все раны моей халупы, а часом позже, вымытые и румяные, приступили к чаепитию, во время которого съели гору оладьев, то есть пончиков, выпили пару штофов водки и попрощались со мной, любезно предложив свою помощь и в следующем году».

В октябре или ноябре грустный возглас: «Итак, опять зима» открывает вновь длинный ряд сетований на скуку и недостаток движения, на слепящую белизну снега и утомляющий глаза блеск салальной свечи, при которой «не о чем писать, кроме как о насморке или литературе».

Подобным образом, лишь с небольшим отличием в каких-то мелких деталях, минули четыре года спокойной и удобной жизни в собственном доме. Такая жизнь, увиденная с ее внешней стороны, могла бы предстать идеальной, вершиной осуществленных замыслов какого-нибудь шваба или фламандца, добровольно оставившего родные края и удалившегося в заволжские степи либо к Азовскому морю; могла бы даже стать предметом зависти для многих наших западных эмигрантов, которые, замерзая в мансарде без камина, считали бы роскошью пребывание в хорошо обогреваемом доме сибирского изгнанника и предпочли бы поиски в зеленой степи потерявшейся собственной коровы голодному блужданию по мостовым многолюдного французского города.

И вместе с тем жизнь эта не приносила Адольфу ни успокоения, ни, хотя бы, уменьшения печалей и скорбей, надоела, наконец, и представилась весьма тяжелой. В 1840 году он хотел уже продать свой дом, чтобы избавиться от тех хозяйственных хлопот, в которых некогда находил такое развлечение и утешение. И он бы сделал это, если бы знал, что предпринять потом, чем насытить свою безграничную потребность деятельности, потребность в духовной основе <...>.

Несколько последних лет пребывания в Ишиме, прошедших тихо и незаметно, связаны были со многими изменениями той картины родной стороны, которая всегда была перед его глазами. Всматриваясь в нее, он наблюдал, подобно статуе под потоком, и изменения собственного образа. Каждое воспоминание и каждый взгляд в будущее были поводом для печальной оглядки на себя самого.

Мать почти каждый год присылала ему в письме цветы из любимых мест. Они радовали его как доказательство материнской нежности; позднее, рассматривая их, он написал: «**Незабудка из-под того дуба, в тени которого я бегал когда-то с братьями и сестрами, счастливо дошла. Смотрю на такого далекого гостя глазами, полными слез. И почему не могу я напиться воды из ручья, что протекая под тем дубом, освежал скромный цветок, которому, пожалуй, и не снилось никогда, что от берегов Немана отправится он почтой за Урал, в Сибирь, чтобы соединиться с сорванным, как и он, изгнанником. И как много должно быть прошло времени, если мама пишет, что и дуб уже упал... А что же тогда будет со мной, который не есть дуб!**»



*Адольф Янушкевич.  
Портрет работы художника  
Я.Краевского, созданный в  
1835 г. в Ишиме.*

Сестры обзавелись детьми. Он поздравлял их с появлением на свет то дочки, то сына, страдал из-за смерти то Адольфа, то Эмилии, а вскоре, сбившись со счета, попросил, чтобы сделали статистическую таблицу для сообщения ему из известий о знакомой и незнакомой родне: «**Пусть каждый из вас заполнит рубрику, к примеру, так: муж – 1, сыновья – 2, дочери – 3, указав также имена, цвет волос и глаз. Тогда все будет в порядке, потому что теперь хорошо не знаю, у которой из вас Изабелла, а у которой Паулинка. Позднее уже не так весело, говорил об этом молодом поколении: «Все они, должно быть, красивые, милые, рослые. И как бы я целовал, как бы обнимал, если бы в моих руках оказались эти Изабельки, Паулинки, Михалинки. Но они, возможно, и не радовались бы простым объятиям Азиата, приветствующего родных, как в прошлые и давно уже вышедшие из моды времена Авраама или Иосифа и, может быть, с отвращением отворачивались бы от поседевшего дядюшки Сибиряка».**

Племянница Михалина, которую оставил девочкой, щебечущей сказки, которая посылала дядюшке в Тобольск конфеты, а в Жилияковку приписки большими буквами к письмам бабушки, теперь представала в его мыслях совсем другой. «**По моим расчетам, - писал он матери, - Мише (Михалине – Т.С.) уже 15 лет: она должна быть настоящей девушкой. Как же бы я радовался видя ее! Интересно, похожа ли она на нашу несчастную Юлечку и так ли нежна, как ее мать? Пожалуй, что так оно и есть, ибо помню, что в Дзяхыльне видел ее часто плачущей без какой-либо явной причины... Ах! Может быть, и на ее свадьбе судьба не позволит мне побывать, а ведь вскоре, наверное, стану дедушкой...»**

Самый младший брат, которому он посылал постоянно школьные, литературные, хозяйственные, гражданские советы и предостережения, который превращался «из мальчика в мыслящего юношу, из студента в переводчика, в смекалистого хозяина и ясновельможного депутата Минской губернии», «единственную опору «усеченного» дома Янушкевичей», брат этот в 1840 г. сообщил, что решил жениться. После получения этой новости Адольф писал матери: **«Несколько лет тому назад носил его на руках, а сегодня мой любимый Януарий, поскольку не могу его уже величать ни Януареком, ни Наиком, потому как скоро, наверное, он будет иметь собственного Наика, опережая трех старших братьев, присоединяется к стану женатых. Счастливее своих братьев он в новом своем звании сможет принести еще больше помощи и утешения маме в ее почтенные лета. Пользуясь в последний раз авторитетом старшего, заменяющего дорогого отца нашего, благословляю его вместе с мамой и прошу Наивысшего, чтобы дал молодым всевозможного счастья...»**

С этого момента мысли его были постоянно заняты событием, которое должно было произойти в родном доме. Весной он бегал по полю в поисках раннего первоцвета для невесты брата, к осени, повторяя Януарию, как бы он хотел быть на его свадьбе, добавлял: **«Представляю, в каком порядке апартаменты для приема жены, а я привожу в порядок мою халупку для приема зимы, опасаясь как бы не умереть в ее объятиях»**. Наконец, когда уже прошло время, назначенное на свадьбу, и пришли письма с доказательствами памяти об отсутствующем на «Сахарной вечери»<sup>31</sup> далеком родственнике, он, в свою очередь, писал: **«Должен тебе сообщить, мой дорогой брат, как я провел день, в который исполнилось твое самое дорогое желание. Желая как следует его отпраздновать, приказал стряпке закрыть дом и ответить приходящим ко мне, что меня нет, что я выехал на свадьбу моего брата. И в таком добровольном одиночестве я отдался черным мыслям и печалям. В целом же день этот, несмотря на снег, падавший беспрестанно, несмотря на угрюмую погоду и полное уединение, прошел очень весело, оживленный какими-то внутренними предчувствиями, что брат мой, которого я так люблю, будет счастлив и что я еще его обниму. Когда же наступило мгновение, в которое, по-моему предположению, ты получил благословение неба, я, глядя на изображение дорогой нашей матери, вздохнул, и молитвы мои о твоем благополучии пошли к Всевышнему. На следующий же день, то есть в день твоей свадьбы и именин любимой мамы, я с добрым моим товарищем и «столовником» Зелинским произнес пару тостов. Только бы они исполнились!»**

Вскоре после этого писал матери: **«Целую мамины ручки за все, а особенно за намерение оставить несколько свадебных бутылок, которые я выпью после своего прибытия в Дзяхлыну. Кто бы еще, кроме мамы, помнил о таком сюрпризе для меня! Но почему же мама все еще боится, как бы я неожиданно не влюбился и не женился в Сибири? Ведь я уже не тот, каким был когда-то. Если бы возвращался в Дзяхлыну, то остановился бы на границе в каком-нибудь городке у парикмахера и велел бы вырвать или покрасить мои седые волосы, чтобы не испу-**

**гать маму видом сибирского инея на моих висках. Мне ли думать здесь о любовных увлечениях! Я теперь думаю только о том, как бы накопить муки, которой бы хватило до следующей зимы, как прожить год и всегда иметь грош в кармане, до романов ли новых тут! А о прошлых уже и забыл. Так-то, моя мама, все меняется и только любовь к Вам неизменна!»**

Эти слова, писавшиеся в тридцатисемилетнем возрасте, показывают, как изменился тот, который еще пять лет назад с юношеским воодушевлением видел всю Сибирь озаренной несколькими словами возлюбленной и готов был к борьбе, а теперь поникший, сомневающийся, безучастный, повис как паук на паутинке, живя лишь одним только чувством, которое, не охладевая в душе, соединяло его, подобно нити, с родным краем <...>.

В конце лета 1840 года Николай I, посетив Киев, проявил некоторую склонность к прощению южных провинциалов. Как несчастные, так и опрометчивые в гадании мнимого облегчения своей участи, они отделились иллюзиям относительно желательных последствий этого визита. Дядя Адольфа, живущий в Украине, поспешил прислать в Дзяхлыну выводы, основанные на его наблюдениях за расположением монарха. Эта новость с приложением всего, что могло еще более украсить с точки зрения матери и брата, немедленно пошла в Ишим. Но она не оказала сразу сильного впечатления на Адольфа. Он не верил в подлинность слухов, полученных через дядю, и не считал их основой для надежды, **«которую любимая мамочка и братишка изволили возвести в степень достоверности»**. Однако, когда он прочел в Берлинской газете, что после отъезда царя генерал-губернатор Бибиков объявил шляхте о царской милости и повелел ждать в скором времени очевидных ее доводов, обстоятельство это, как он выразился, **«озадачило его и, возможно, он бы не сосредоточился на нем, если бы какое-то таинственное предчувствие не шептало ему постоянно, что это последний год пребывания в Ишима»**.

И, действительно, предчувствие на этот раз не было ошибочным и, хотя прошло немало глухих месяцев и ничего не возвещало об исполнении ожиданий, стало сильнее все сильнее. Весной 1841 года он занялся составлением хозяйственной описи, отложенной на будущее при покупке дома, чтобы теперь уже ни одна формальность не была ему помехой при скорой продаже своей собственности. Во время майской ярмарки он уже не делал покупок «ни за полкопейки, из опасения, чтобы в случае отбытия из Ишима не понести потери». Вскоре после этого он писал Януарию: **«Нет ни одного дня, чтобы кто-нибудь не приходил с вопросом, не продаю ли коровы, коня, кухонной утвари, дома. Что же это значит? Ведь никто меня здесь не считает за банкрота, даже напротив, повсеместно считаюсь состоятельным человеком. Может быть, это признак скорой перемены в моей судьбе? По крайней мере именно так я объясняю себе эти вопросы и тешусь надеждой, что в этом году попрощаюсь с Ишимом»**.

Сомнения продлились недолго. Третьего июня курьер из Омска привез царский манифест, изданный по случаю вступления в брак наслед-

ника трона, а результатом этого манифеста, согласно представлению князя Горчакова, генерал-губернатора Западной Сибири, явилось амнистирование наших семи ишимских «кающихся грешников». Двум из них, родом из Королевства, присланным сюда только на время, а не на **поселение**, было дано право возвращения домой; пяти другим позволено поступить на государственную службу канцеляристами или на военную – простыми солдатами, но только в границах Сибири. В числе этих последних находились Адольф и его приятель Павел Чеплинский.

Такая милость была тяжелым ударом для чувств, которые испытывал Адольф во время следственной комиссии в Киеве и которые сохранялись в его душе, но все же она открывала единственную дорогу для выхода из статуса поселенца, а когда-нибудь позднее и из Сибири; возвращая отнятые личные права, давала возможность вернуться на родину, заменяла инертное ожидание активным достижением этой цели. Он колебался, долго переживал, но отвергнуть эту возможность не мог.

Сообщая об этом матери, старался по возможности представить все в выгодном свете, убеждал ее в том, что она должна радоваться этому началу осуществления основной надежды: **«Изменилось мое десятилетнее положение, приговор, осуждающий меня на поселение в Сибирь, относится уже к моему прошлому...»** <...>.

В июле один из освобожденных – Каспар Бабский, возвращался домой в Августовское и обещал Адольфу заехать в Дзяхыльну. В данных ему письменных указаниях, что и кому следует сказать, были среди многих других и эти два пункта: **«Попроси маму, чтобы написала несколько любезных слов нашему князю генерал-губернатору и постаралась в письмах от высокопоставленных особ верить меня его заботам и попечению... Не нужно теперь подавать никаких просьб за меня, так как это было бы бесполезно, но только по истечении нескольких месяцев добиваться моего перевода на службу в Европейскую Россию, в Саратов, Тамбов или Чернигов, где грудь моя, измученная столькими воспалениями и лихорадками, дышала бы легко и откуда можно было бы со временем получить хоть кратковременный отпуск для встречи с родственниками... Если тебе случится быть в Несвиже, осмотри замок (говоря в скобках, место моего рождения) и сообщи мне, сохранилась ли там еще надпись: Vanitas vanitatum, et omnia vanitas<sup>32</sup>. Красивый девиз над колыбелью человека, которого судьба загнала в Сибирь!»**

В первых днях августа пришел долгожданный ответ: Горчаков дал приказ, чтобы Адольфа, как и его товарища Павла, принять на государственную службу и записать «в штат канцелярии омского окружного суда». На данный момент ответ удовлетворял все желания: в Омске – столичном городе Западной Сибири, расположенном в 323-х верстах к югу от Ишима, климат был гораздо лучше.

Новоименованные канцеляристы окружного суда, обсуждая будущую общую деятельность, всецело занялись приготовлениями к совместному отъезду **«не без печали и сожаления по месту, где прошло столько лет, где оставалось столько товарищей по ссылке»**. Адольф быстро распорядился всем имуществом и хозяйством. Дом со всеми

принадлечностями и коня уступил Густаву Зелинскому, **«которого мама полюбит как сына, если он будет возвращаться к своим родным через Дзяхыльну»**. Леонарду оставил 300 рублей ассигнациями, **«скудный капитал, который позволила предоставить бережливость и которой все же с Божьей помощью может его поставить на ноги»**. Стряпке подарил корову, самовар и кухонную посуду. Наступило трогательное прощание, напомнившее о давних горестях расставания. Залитые слезами, осыпанные благословениями и пожеланиями двое путешественников ночью 31 августа покинули Ишим, а утром 3 сентября остановились в Омске.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Главный адресат писем Адольфа – его мать Текла Янушкевичова из рода Соколовских (1778-1860). Была внучкой сестры Тадеуша Костюшки.

2. Карасуль, Карасулька (у Янушкевича - Карасуля) - небольшая речка, на берегу которой расположена деревня Жилиякова (Жилияковка). В письмах Янушкевича: Жилиякова или Желякувка. В настоящее время Жилияковка входит в городскую черту.

3. Софья и Касыльда - сестры Адольфа.

4. Стефания Гиновская, невеста Адольфа.

5. Януарий Янушкевич, самый младший брат Адольфа. Единственный из всех братьев жил на родине - Литве, помогал матери во всех хозяйственных делах.

6. Миша (Михалина), племянница Адольфа, дочь умершей сестры Юлии.

7. Ромуальд, брат Янушкевича, находился в эмиграции во Франции.

8. Евстахий (1805 - 1874), брат Янушкевича, жил во Франции. Основал в Париже Польское эмигрантское книгоиздательство и книжную лавку. Друг и издатель сочинений А. Мицкевича.

9. Александр Гумбольдт (1769-1859), знаменитый немецкий ученый, географ, путешественник. Посетил Ишим в июле 1929 года.

10. В письмах нередко встречаются поэтические образы А. Мицкевича. Фарыс (Фарис) – конь из одноименного стихотворения польского поэта: «Мчись, летун мой белоногий! / Степи, тучи – прочь с дороги!»

11. Горькое или Горько-Соленое озеро, известное своими целебными свойствами, находится в 22-х километрах от Ишима. В ряде работ об Янушкевиче получили широкое распространение ошибочные сведения о местонахождении этого озера под Курганом, на основе которых была создана версия о том, что Янушкевич побывал в Кургане и передал своему другу - поэту А.Одоевскому привет от курганских декабристов-ссыльнопоселенцев.

12. По всей видимости, село Новотравное.

13. Облатка: 1. кусочки рождественского хлеба; 2. кружок из проклеенной бумаги, которым в XIX веке запечатывались конверты.

14. Дюранс, река на юге Франции, левый приток Роны. Недалеко от ее впадения в Рону расположен Авиньон.

15. Грозные слова (лат.).

16. Дзяхыльна, имение Янушкевичей в Литве, ныне деревня Дягильно в Белоруссии.

17. Януарий учился в это время в Виленском университете.

18. Цитата из стихотворения Адама Мицкевича.

19. Во время своего путешествия по Европе (1829 - 1830) Янушкевич останавливался в Риме, где встречался с Адамом Мицкевичем.

20. Сивилла (Сибилла), пророчица в греческой мифологии.

21. «Конрад Валленрод», поэма А. Мицкевича.

22. Кароль Качковский, муж Стефании Гиновской, также как и Янушкевич, заседал в Парламенте Литвы, Подола и Украины. Принимал участие в восстании 1863 - 1864 гг., после которого оказался в ссылке в селении Валуйка Воронежской губернии. Стефания последовала за мужем и умерла в России в 1865 г. Похоронена в Валуйке.

23. Завозня, помещение для телег, хомутов и дуг.

24. «Дзяды», драматическая поэма А. Мицкевича.

25. Йозеф Струмилло (1774 - 1847), известный виленский садовод, автор книги "Северные сады" в 3-х тт. - Вильнюс, 1820.

26. Квасцы, средство для дубления кожи.

27. Огюстен Тьерри (1795 - 1856), французский историк.

28. См. прим. 7, 8.

29. 9 июня – день рождения А. Янушкевича.

30. Глока (литовское), совместная работа женщин, во время которой поются песни.

31. Сахарная вечеря - часть свадебного обряда польской знати. После того, как молодые препровождались в спальню, самые достойные гости и близкие родственники собирались в соседнем помещении и им подавались только сладкие напитки и сладости.

32. Суета сует и все – суета (лат.).

*Публикация текста по изданию: жизнь Адольфа Янушкевича и его письма из степей киргизских. - Т.1, Берлин, 1875, с. 30-110 (на польском языке).*

## Густав Зелинский - создатель “Киргиза”

Творчество польского поэта-романтика Густава Зелинского (1809-1881) самым непосредственным образом связано с Западной Сибирью, так как наиболее известные его произведения: поэмы “Киргиз” и “Степи” создавались в Ишиме. Именно здесь началось и в какой-то степени завершилось формирование его поэтического дарования, о чем весьма выразительно было сказано в начале XX века литературоведом Генрихом Галле: “Живой проблеск таланта Зелинского разгорелся и погас в степях киргизских”<sup>1</sup>.



*Густав Зелинский.*

Густав Зелинский - ровесник Юлиуша Словацкого, принадлежал к старинному шляхетскому роду, учился в гимназии в Плоцке, высшее образование получил в Варшавском университете, закончив его в 1830 году. В это же время он принял участие в ноябрьском восстании, после поражения которого, воспользовавшись амнистией, остался на родине. В 1833 году стал поддерживать новых повстанцев - из отряда Артура Завиши, помогая им одеждой и продовольствием, за что был арестован, судим и в мае 1834 г. приговорен к лишению всех прав, конфискации имущества и ссылке в Сибирь на поселение. Отправленный по этапу 1 сентября 1834 г., он прибыл в Тобольск, где прожил почти год, а 25 июля 1835 года был переведен в Ишим. Здесь он будет находиться с 1835 по 1842 годы.

Заметки Зелинского в “Календарях” (записных книжках), относящихся к этому времени и сохранившихся в библиотеке им. Зелинских в Плоцке, дают представление об его занятиях, интересах, увлечениях. Он занимается астрономическими и метеорологическими наблюдениями, отмечая, к примеру, появление кометы и время замерзания реки Ишим, скрупулезно

фиксирует свои охотничьи трофеи, указывая количество убитых им куропапок, перепелок, зайцев, составляет реестр писем, отправленных на родину с пометками времени их написания, имени или инициалов адресата, краткого содержания.

В письмах, обращенных к “дяде Й.” (Йозефу - Т.С.) и “сестре С.”<sup>2</sup>, сообщается о плане дома, в котором он живет в Ишиме, плане города, особенностях здешнего климата, портрете, написанном, по всей вероятности, художником Краевским, курганах, концерте заезжего итальянского певца. К сожалению, сами эти письма в Библиотеке и архиве Зелинских не были обнаружены.

Известна характеристика Ишима, данная Зелинским в письме к Игнатию Орпишевскому, товарищу по тобольской ссылке, отправленному впоследствии на поселение в Туруханск Енисейской губернии: “ветхий деревянный городишко с единственным каменным строением в середине - церковью”<sup>3</sup>. А в другом письме тому же адресату рассказывается о сильном буране, после которого за околицей города были обнаружены тела замерзших людей<sup>4</sup>. Основным развлечением Зелинского летом является охота на птиц, а зимой - шахматы и чтение. Он углубляет свои знания по философии, истории, социологии, литературе. Из записей в “Календарях” видно, что его, кроме современных польских книг, интересовали также произведения французов, немцев, итальянцев. На русском языке он читает “Гамлета” В. Шекспира в пер. Н.А. Полевого, комедию “Горе от ума” А. Грибоедова, произведения А. Пушкина. Так, в календаре за 1838 год он помечает: “Сочинения А. Пушкина, СПб., 1838, т.2 (“Руслан и Людмила”, “Кавказский пленник”, “Бахчисарайский фонтан”, “Братья Разбойники”, “Граф Нулин”, “Полтава”, “Домик в Коломне”, “Анджело”). В календаре 1840 года есть запись: “Евгений Онегин”, соч. А. Пушкина, в 1841 году: “Сочинения А. Пушкина, СПб., 1837, томы IV-VIII”.

В круг его чтения входят также “Отрывки о Сибири” М. Гоенштрома, СПб., 1830, “Сказания современников о Димитрии Самозванце” (изд. Н. Устрялова), СПб., ч.1, 1832-1834; “Буддийская космология, изложенная С. Ковалевским”, Казань, 1837, “О китайском календаре” (О.Ковалевский), Казань, 1835. Следил Зелинский и за русской периодикой, журналами: “Совре-

менник”, “Москвитянин”, “Журнал Министерства народного просвещения”.

Читательские впечатления способствовали интенсивной творческой деятельности. Кроме уже названных произведений Зелинского: “Киргиза” и “Степей”, в Ишиме также были написаны поэмы “Конь бедуина”, “Антар. Восточная легенда”, историческая драма “Збигнев”, ряд стихотворений.

В конце 1842 г. Зелинскому было разрешено вернуться на родину. Немалую роль в этом сыграли хлопоты родных. В Российском историческом архиве (С.-Петербург) хранится документ под названием: “По отношению министра Статс - секретаря Царства Польского об освобождении от каторжных работ уроженца Царства Польского Михаила Грушецкого и возвращении на родину таковых же Иеронима Зельветра и Густава Зелинского”. В обращении к министру внутренних дел Российской империи Л.А. Перовскому от 2/14 июля 1842 года Статс-секретарь Царства Польского (подпись неразборчива) пишет следующее: “Милостивый Государь Лев Алексеевич! Государь Император по Всемиловейшему вниманию к похвальным качествам и преданности к Законному Правительству помещика Царства Польского, Плоцкой губернии, Остроленкского обвода Феликса Зелинского, засвидетельствованным местным начальством и повергнутым на высочайшее воззрение господином наместником Царства (генерал-фельдмаршалом, князем Варшавским, графом Паскевичем-Эриванским - Т.С.), соизволил излить Монаршее милосердие на родного племянника и крестника этого помещика Густава Зелинского, лишенного в 1834 году шляхетского звания и сосланного в Сибирь на поселение за сношение с шайками вооруженных бродяг, вторгнувшимися в 1833 году из заграницы в Царство, - дарованием ему, Густаву Зелинскому, прощения и дозволением возвратиться на родину, без освобождения однако ж имения его от конфискации”<sup>5</sup>.

На родине Зелинский почти прекратил поэтическую деятельность, занимаясь хозяйством в имении, унаследованном им после смерти дяди Йозефа. Любовь же к литературе выражалась в коллекционировании редких книг и рукописей. Впоследствии библиотека Густава Зелинского была передана его сыном горо-



ду Плоцку. В настоящее время это Музей, архив и библиотека им. Зелинских.

Основным творческим достижением поэта считается “Киргиз”. Поэма создавалась в соответствии с законами романтической стихотворной повести, сложившейся в творчестве Байрона (цикл “восточных поэм”) и его западноевропейских последователей. В ней наблюдается отрывочность повествования, начинающегося с середины рассказа, “вершинность” композиции, оставляющей непроясненными многие промежуточные события, открытая эмоциональность, выраженная в монологах и диалогах героев. Она и начинается с внутреннего монолога юноши-киргиза (в XIX веке киргизами называли казахов), который бежит из плена.

После блужданий по бескрайним степным просторам безымянный герой, выступающий здесь только как Всадник, оказывается у своих соплеменников, радушно принимающих гостя. Здесь он видит красавицу Демелю, дочь главы этого племени - Бия. Внезапно вспыхнувшее чувство не дает юноше покоя, ночью он выходит из юрты и становится невольным свидетелем таинственной сцены ворожбы Старца (шамана), который в своей пророческой песне поет о путешествии (своем и Бия) на коне Пелигване в небеса, предсказывая гибель хозяину аула от молнии, то есть молодого гостя.

Перед глазами Бия встает картина из прошлого: убитый им табунщик и ребенок, защищающий отцовское тело. Бий не сомневается, что его гость - тот самый мальчик, отомстит за смерть отца и тягостные годы своего рабства. Шаман и Бий сговариваются убить Всадника, когда начнется переезд племени на летнее кочевье и уже не будет иметь силы закон гостеприимства. Зная об этом коварном замысле, Всадник, из любви к Демеле, отказывается от кровной мести, а при переезде уговаривает девушку бежать. Бий пускается за ними в погоню, но, не сумев догнать, устраивает степной пожар, в котором влюбленные погибают.

Поэму с драматически напряженными событиями отличала этнографическая точность, свидетельствующая об интересе Зелинского к быту казахов. В произведении встречаются такие слова как чадра, ергак, курдюк, калым, кумыс, пилав и пр., которые поясняются в словаре местных понятий и терминов, сопровож-

дающем текст. И все ее события разворачиваются не в условном пространстве, а в ишимских степях, описанию которых посвящены едва ли не лучшие страницы “Киргиза”. Эти степи в окрестностях Ишима были хорошо известны Зелинскому, часто совершавшему поездки за город.

Друг поэта Павел Чеплинский в своих мемуарах, опубликованных после смерти Г.Зелинского в журнале “Клосы” (1882, № 891), отмечал: “...проживали вместе в Тобольской губернии, в городе Ишиме, где нас было тринадцать. Адольф Янушкевич, Густав Зелинский, Евгений Лемпицкий, Михаил Морачевский и я, ниже-



*Густав Зелинский.  
Портрет художника  
Я.Краевского, созданный  
в 1835 г. в Ишиме.*

подписавшийся, любили охоту на птиц; каждый из нас имел свою легавую, а в совместном использовании у нас были два коня и две телеги, на которых мы выезжали в степь, и настолько успешно, что потом не знали, куда девать добычу.

От жителей Ишима нам стало известно, что в семи милях от города есть Бурлаковская степь, богатая разнообразной птицей. Не помню в каком году мы решили ее осмотреть. Узнав дорогу, приготовив самовар и еды дня на четыре для себя, псов и коней, отправились в середине июля на большую охоту. На ночь остановились в деревеньке, лежащей в трех верстах от этой степи, у хозяина Лукошкина, который принял нас наисердечнейше. Рано утром, на восходе солнца, мы двинулись в поисках юрт киргизских и вскоре счастливо наткнулись на них. Одну из этих юрт сняли внаем на три дня и сразу же познакомились с ее хозяином, или паном, а также его сыновьями и тремя дочерьми: Ныхмелей, Демелей и Картанкой. Картанка, наиболее привлекательная (все киргизки, в основном, некрасивы), и должна была быть героиней поэмы, так как умела немного щебетать по-русски и очень занимала и развлекала нас. Не знаю, как это Густав забыл ее имя”<sup>6</sup>.

В дополнение к этому можно привести свидетельство Варвары Фирсовны Савченковой (Каргополовой), 1925 года рождения, о том, что юрты казахов, именуемых ишимцами “кыргызами”, можно было видеть не только в степях Приишимья, но и в непосредственной близости от самого города, за рекой Ишим, еще сравнительно недавно, в начале 40-х годов XX века.

Поэма “Киргиз” впервые была опубликована в 1842 г. в Вильно (Литва) издателем Глюксбергом. Рукопись попала к нему через Януария Янушкевича, брата Адольфа Янушкевича, находившегося вместе с Зелинским в ишимской ссылке. Позднее она многократно переиздавалась и переводилась на многие европейские языки. Интересна история “русского” “Киргиза”. Ею занимались польский литературовед Януш Одровонж-Пененжек<sup>7</sup> и алма-атинская исследовательница творчества Зелинского Фаина Ивановна Стеклова<sup>8</sup>.

Ими установлено, что в 1843 году журнал “Денница”, издаваемый Петром Дубровским в Варшаве, представил на своих страницах фрагмент “Киргиза” в польском оригинале и в русском параллельном прозаическом переводе<sup>9</sup>. Дубровский не раскрыл еще полного имени Зелинского, так как на титульном листе первого, виленского издания “Киргиза” стояли инициалы автора. В предисловии к отрывку издатель “Денницы” писал: “Приветствуем новый прекрасный поэтический талант, недавно явившийся в области польской литературы, и считаем приятнейшим долгом познакомить с ним наших читателей”.

И в более позднее время русские переводчики обращались к этой поэме. Так, в 1872 году в журнале “Дело” Н.Д. (В.И. Немирович-Данченко) поместил стихотворный отрывок из поэмы “Киргиз” (с польского), сопроводив “примечанием переводчика”, в котором есть следующие слова: “Прекрасная польская поэма “Киргиз”, окончание которой мы перевели, давно известна всем любителям славянской поэзии”<sup>10</sup>. Этот же стихотворный перевод В.И. Немировичем-Данченко включил в свою повесть “Сам себе помогай!..”, в 13-ю главу “Несосветимая глушь”. Фрагмент о пожаре в степи имел предварительное замечание: “Я лучше передам это словами польского поэта. Тот видел такой же пожар и приурочил его к похищению киргизом своей невесты”<sup>11</sup>.

В 1910 г. товарищество “Бытовая Сибирь” в Томске издало полный перевод поэмы. Текст сопровождался этнографически точными рисунками художников Г.Гуркина и В. Белослюдова. Переводчик Г.Гребенщиков в своем предисловии писал: “Чуткий и талантливый автор поэмы “Киргиз” - польский поэт Густав Зелинский, бурю событий 1831 года заброшенный к нам в Сибирь, а затем и в Киргизские Степи, окружая романтический сюжет своей поэмы столь разнообразной и узорчато-нежной рамкой из душистых и живых цветов степной жизни, будто знал, что в наши дни она не даст уже ни тех ярких образов, ни тех звучных мелодий, какие вдохновляли поэта еще так сравнительно недавно. Обширный и оригинальный мир кочевника киргиза, еще недавно находившийся в полном расцвете поэтической воли - быстро на наших глазах начинает блекнуть...”<sup>12</sup>.

Не считая свой перевод адекватным оригиналу (в нем не соблюдались строфика и размер подлинника), Гребенщиков здесь же замечал: “Впервые прослушав “Киргиза”, я невольно полюбил его и искренно пожалел, что наша литература не только не имеет его в переводе, но и почти не знает о нем, и только поэтому, несмотря на свои скромные силы, я рискнул дать “Киргиза” в русском переводе”<sup>13</sup>.

“Киргизу” в переводе Гребенщикова уже почти сто лет, само издание стало большой редкостью, а нового перевода поэмы, рожденной в Ишиме и занимающей одно из почетных мест в истории польского романтизма, до сих пор еще не появилось.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

1. Цит. по предисловию Я. Одровонж-Пененжка к книге: “Густав Зелинский. Киргиз и другие произведения”. - Варшава, 1956 (на польском языке), с. 31.
2. Научный сотрудник Библиотеки им. Зелинских Ванда Качановская сообщила автору данного очерка, что одним из адресатов Г. Зелинского являлась его сестра - Стефания Зелинская.
3. Библиотека им. Зелинских в Плоцке. Письмо Г. Зелинского И. Орпишевскому от 14 октября 1835 г.
4. Там же. Письмо Г. Зелинского И. Орпишевскому от 22 февраля 1838 г.
5. РГИА. Ф.1286. Оп. 8. Д.459.
6. Цит. по: Зелинский Г. Киргиз и другие произведения. - Варшава, 1956, С.203.

7. Одровонж-Пененжек Я. Пушкин и польский романтик Густав Зелинский // Пушкин. Исследования и материалы. - М.-Л., 1958. - Т.2. - С.362-368.

8. Стеклова Ф. Густав Зелинский и его поэма // Альманах библиофила. - М., 1975. - Вып. 2. - С.177-182.

9. "Киргиз". Отрывок из повести в стихах г. Г.З. // Денница. Словянское обозрение. - Варшава, 1843. Ч.1. - С. 85-89.

10. Дело, 1872, № 6. - С.215-217.

11. 11 Детское чтение, 1901, № 5, май. - С.180-183.

12. Зелинский Густав. Киргиз. Поэма. Пер. с польского Г. Гребенщикова. - Томск: Изд-во т-ва "Бытовая Сибирь", 1910. С. 4.

13. Там же.

Г. Зелинский

## Из поэмы “Киргиз”

Перевод Георгия Гребенщикова

В злой неволе, в черном рабстве,  
Как в могиле задыхаясь,  
Узник юный тратил силы  
И истерзанный душою  
В степь родную уносился.  
В степь седых просторов милых,  
Где под синей кровлей неба,  
На лихом коне скакал он  
С ветром вольным вперегонку,  
Где на глади изумрудной  
Юрты круглые белели,  
Где дни детства прозвучали  
Песней-сказкой золотой!..  
И, как беркут, тайно взятый  
Из гнезда рукой коварной,  
Он берег в душе надежду:  
Сбросить рабства гнет тяжелый  
И на крыльях смелой воли  
Улететь в родные степи.

\* \* \*

В стойле вражеской конюшни  
Конь его стоял поджарый  
И в тоске по степи вольной,  
Еле трогал корм обильный...  
И мечтою жили оба:  
Взять украдкою минуту  
И удел тоски унылой  
В юртах каменных оставить...  
Дождалися ночи темной! -  
Молча звезды с неба смотрят,  
Степь укуталась в туманы,  
Лес пути-дороги спрятал...  
Мирно спит богатый тахсыр  
И не знает, что поутру  
Не придут к нему с приветом  
Раб и конь на окрик властный.  
Ветра вольного гуденье  
Пусть о них ему расскажет...  
И, припав коню на гриву,  
Тихо выехал в ворота,  
Огляделся, тронул повод  
И смешался с черным мраком...  
И бежит под песню ветра

161

Без оглядки и без думы,  
Без дорог - по зову сердца,  
На простор степей родимых...  
Вот за чащею лесною  
Ширь седая развернулась  
И к далеким горизонтам  
Шла равниной беспредельной...  
Ночь темна... Безлюдно, тихо,  
Гладь степная бездорожна  
И Джигит, как в детстве раннем,  
Путь искал по звездам неба.

\* \* \*

Вновь бегут, сгибая травы  
Под копытами айгыра  
И, качнувшись, вслед кивают  
Им цветы, всплакнув росой...  
И, загладив след побега,  
Дремлет вновь трава степная -  
И молчит, скрывая тайну,  
Ароматом пьяным вея...  
Тихо... Степь молчит, вкушая  
Сладкий сон пустынной ночи,  
Точно в храме на молитве  
Смолкло все в благоговеньи...  
Круг волшебный замыкая,  
Мрак припал к земле ревниво  
И для зрения Джигита  
Встал стеною непроглядной...  
Только звездный мир, далекий,  
Искрясь взором многооком,  
Тихо грезит, опоясан  
Светлой лентой посредине...

\* \* \*

Опираясь на стремена  
Встал Джигит и, как ребенок,  
К степи руки простирая,  
Замер в сладком умиленьи...  
После долгого страданья  
В злой удушливой неволе  
Жадно пил он степи воздух,  
Ароматом насыщенный.  
И, вздыхая полной грудью,  
Трепетал в восторге счастья  
Перед девственной природой,  
Перед сбывшейся мечтою...

\* \* \*

Вот очнулся и поводья

162

Опустил коню на гриву  
 И, поникнув головою,  
 Он задумался глубоко.  
 Нитью тонкой паутины  
 Жизни путь его неровный  
 Дуновеньем чьей-то воли  
 На простор пустынь нанизан...  
 Той пустыней пробегая  
 Был загадкой дум глубоких,  
 Воплощенных в бег айгыра,  
 Что носил его по степи...  
 Конь улавливал те думы  
 И копытом отбивал их,  
 Чтобы знали степь да небо  
 И в молчании таили...  
 И рысцою пробежали  
 Детства дни невозвратно,  
 Шалость детская - прыжками  
 И галопом - дни веселья...  
 Годы ж молодости милой  
 Мчатся бешеным карьером  
 И уносят в край неволи,  
 В черный край тоски унылой...

\* \* \*

Вот галоп коня сдержал он,  
 Описавши круг по степи  
 И, встревоженный минувшим,  
 Вспомнил горечь злой неволи,  
 И в волненьи закружилась  
 Голова от злобы жгучей...  
 Пожелтела кровь, как травы



*Ишимская степь и река Карасуль.  
 Фото Г. Крамора. 1998.*

Поздней осенью желтеют:  
 Будто змей, обвивший сердце,  
 Зашипел в нем: "месть злодею!"  
 И, почуяв, конь Джигита  
 Захрапел, прося поводи...  
 Удила в зубах зажавши  
 На дыбы он взвился гордо  
 И, как луч во мраке ночи,  
 Полетел стрелой певучей!..

\* \* \*

Длинным бегом утомленный  
 Конь бежал рысцою ровной,  
 А Джигит, прогнавший думы,  
 В небеса свой взор направил  
 И мечтою вопрошал он:  
 "Что вы звезды, где вы, кто вы?  
 Кто, как искрой золотою,  
 Небосвод усыпал вами?  
 Иль цветы вы на роскошных  
 И иных полях цветете,  
 Иль сердца иных созданий  
 Жизнью лучшею горите?  
 Или вы, цветы земные,  
 Отразились в синем небе  
 И сияете, как звезды,  
 Тем, кто по небу кочует?..  
 Как дышу я здесь свободно,  
 Вечной сказкою любуюсь  
 И природе, вечно юной,  
 Умиленный, поклоняюсь!  
 И не сон ли снится дивный,  
 Что мой путь коврами устлан,  
 А вверху шатер безбрежный,  
 Бриллиантами расшитый?.."

\* \* \*

Вот и свет... Зардел зарю  
 Небосвод востока нежный,  
 Как пред клятвою любовной  
 Юных дев горят ланиты...  
 Ветерок волной прохладной  
 Зашумел, погнувши стебли  
 И столбы обильных мошек  
 Закружились над травой...  
 Журавли вдали проснулись  
 Переключкой день встречая  
 И Востока луч веселый  
 Озарил теплом равнины...



*Ишимская степь. Фото Г. Крамора. 2003.*

Точно скатерть парчевая  
Разостлался он по степи  
И играл в росе кристальной,  
С каждой капелькой целуясь...  
Пробудившиеся птички  
Хором стройно - стоголосым  
Гимн запели свету солнца,  
Рея трепетно в эфире.  
И запел Джигит восходу  
Песню радости-привета:  
Серебристо нежной нотой  
Полилась она из сердца,  
Колокольчиком далеким  
Зазвенела переливно  
И, как жаворонок к небу,  
Трепеща, взлетала тихо...  
В нотах низких опускалась  
На поля рососою чистой  
И, как звуки в эхе дальнем,  
Затихая, умирала...  
О, киргизские напевы,  
Сердцу близкие мотивы!  
Вы грустны, как степи осень  
И, как гладь небес, раздольны...  
Вы стремительны, как стрелы,  
Будто месть неотразимы,  
Как пожар степной вы жгучи  
И прекрасны, как восходы...  
О, когда поет вас вольный  
Сын степей свободной грудью -  
Вся природа умолкает,  
В сладкой дреме цепенея.  
И, как будто в том напеве,

Плачет степь в тоске по небу,  
Иль небесные созданья  
По земле грустят красиво,  
А давно почивших души  
Ханов, пращуров далеких,  
Те напевы пробуждают  
В чревах каменных курганов.  
И родные слыша звуки,  
Тени их встают в могилах  
И, вкушая сладость песни,  
Тихим шепотом ей вторят.  
И из уст в уста ту песню  
Отдают друг другу ханы  
И несутся эхом чутким  
Звуки песни по курганам...  
О, отцы степей седые,  
Старины святой кумиры,  
Долго ль будут жить напевы,  
Что и ваш покой ласкают?..

*Из 6-й главы поэмы*

По условному сигналу  
Собран скарб и свиты юрты,  
На арбах и на верблюдах  
Все уложено проворно...  
И, скрипя, обоз тяжелый  
Тихо движется по степи...  
И пустыня, оживая,  
Населяется, пестреет...  
А над табором высоко  
Стаи диких птиц большие,  
Перелетной тучей рея,  
С криком в теплый край несутся...

\* \* \*

Серой лавиной по степи  
Шумно движутся бараны  
И, качая курдюками,  
Шерстью темной отливают.  
Вслед за ними бык угрюмый,  
Лоб к земле понурив важно,  
Сам ведет, рыча октавой,  
Гурт обильный жен рогатых.  
Жеребят гурьба большая  
Скачет возле шаловливо;  
Грациозно-бородатых  
Коз волна спешит за ними...  
А в конце верблюдов вьючных  
Караван гуськом ступает...

И под бдительным надзором,  
Шумно все плывет по степи...

\* \* \*

Ряд джигитов, аксакалы  
В ергаках и малахаях,  
В белоснежных джавлук катын,  
Баладар, кыздар в камзолах  
И в цветных дамбалах кемпер -  
Все сидят в нарядных седлах!  
Молодежь гарцует лихо,  
Старики ведут беседу,  
Катын - детям напевают...  
Блеют овцы, ржут кобылы -  
Жеребят зовут игривых;  
Арбы скрипом оглашают,  
И сливаясь в общий гомон  
Все разносится по степи...

\* \* \*

И пустынною дорогой  
Людно, весело, привольно...  
Вместе с песнею раздольной  
Крик охотников несется  
И за волком тальниками  
Льется гиканьем веселым,  
И преследует, гоняясь,  
Степью гладкой и просторной...  
Вот с руки слетает беркут  
И, взвиваясь в поднебесье,  
С шумом падает стрелюю,  
За хребет цепляясь волку...  
И, вонзивши крепко когти,  
Бьет могучими крылами,  
А кривым и острым клювом  
Оба глаза вырывает...  
И в борьбе ожесточенной,  
Теплой кровью обливаясь,  
Подбегающим киргизам  
Оба в руки попадают.  
А гурьба седых куянов,  
Перетрусив, бестолково  
И напрасно убегает  
От нагайки таволожной...

\* \* \*

Табор движется, грохоча,  
А лихие джигитляры,  
Ловкость пробуя задорно,  
Впереди гарцуют бойко:

Ставши в ряд, коней ретивых  
Отпускают по сигналу,  
Забавляясь, будто в схватке,  
Мчатся к видимой могиле...  
Вороной бегун поджарый  
Под Джемелей пляшет гордо,  
И она на нем, как птица,  
Обгоняя всех, несется.  
По байге ее соперник  
Задержать рукою хочет,  
Но Джемеля, защищаясь,  
Бьет его, смеясь, нагайкой...  
И летит вперед к кургану,  
Шумно воздух рассекая.  
Те отстали, те вернулись,  
Лишь один отстать не хочет,  
А когда на холм взбежали  
Он сказал с мольбою нежной:  
“О, любимая Джемеля,  
Нам пора бежать с тобою!  
Для тебя одной, клянуса,  
Я от мести отказался...  
Не хранит гостеприимство  
Здесь меня уже, ты знаешь...  
Вон смотри, они все близко.  
Беззащитного изрубят!..  
Не желай, чтобы могила,  
Что лежит теперь пред нами,  
Кровью оной оросилась  
На глазах твоих Джемеля!..  
Время есть - бежим, Джемеля,  
Защитить тебя сумею!..  
Скоро ночь покровом темным  
Нас укроет бережливо!”  
И, сказав, в волненьи страстном,  
Он дрожащею рукою  
Взял коня ее поводья,  
Крепко стиснув их в ладони...  
И ускоренным галопом,  
С нею трепетно-безмолвной,  
Бег направил к горизонту,  
Что каймою леса венчан...

\* \* \*

Оглянулись - три джигита  
От обоза отделились  
И во след карьером полным,  
Как за зверем погнались...  
“То отец мой!” - простонала

Поблдневшая Джемеля...  
“О, не бойся, ай налаин! -  
Он ей ласково ответил -  
Далеко еще погоня,  
Солнце низко, кони добры,  
А кусты уж недалеко: -  
Не догнать с тобой нас Бию -  
Завтра ж нас никто не сыщет!..”  
И он свистнул, и запел им  
Встречный ветер песню воли...

\* \* \*

И бегут их следом лихо  
Три гонца с главою Бием,  
Но пространство между ними  
Не уменьшил бег погони...  
Вот и солнце закатилось,  
Ветром с запада пахнувши,  
И холодно-молчаливый  
Сумрак кутал степи лоно,  
А во тьме, все ближе к лесу,  
Точно меркнувшие точки,  
Беглецы все дальше скачут,  
Чистя шелком трав копыта...

\* \* \*

“Стойте! - крикнул Бий дружине -  
Уж темно, ни зги не видно -  
Дальше гнаться нету пользы:  
Коней лучших им отдали...  
Путь счастливый! Пусть их скачут!.. -



Иллюстрация А. Рыщевского к поэме  
"Киргиз". Издание Бобровича.  
Львов, 1867.

Крикнул он со смехом адским...  
“Пусть их скачут!” - повторило  
Эхо степи молчаливой...  
“Как вернемся мы в аулы,  
Как мы будем жить с позором?  
Стойте! Ветер нам попутный  
Дует все сильнее... Погоню  
Пусть им вслед такую,  
От какой уйти не сможет  
Никаких коней проворство!  
Дальше в стороны бегите,  
Трут и кремень доставайте  
И ковыль сухой скорее  
Поджигайте... Поджигайте!..

Публикация текста по изданию: Густав Зелинский. Киргиз. Поэма.  
Пер. с польского Г. Гребеницкова. - Томск: Изд-во "Бытовая Сибирь",  
1910.

Г. Зелинский

## Из поэмы “Киргиз”

Перевод Василия Немировича-Данченко

С трех сторон с огнива сыплются, сверкая,  
Искры, и заглелась “зеленя” сухая.  
Дикий ветер пламя раздувает жарко,  
Три костра в пустыне поднялися ярко.  
Каждый издалека кажется звездою,  
Свет от них, мерцая, стелется порою,  
Тонкие былинки лишь обнимет пламя, -  
Вихрь его разбросит, будто вскинет знамя.  
Вот и три большие круга запылали,  
Будто бы три солнца на землю упали.  
Из кругов огнистых по степи далеко  
Ветер гонит пламя, словно три потока.  
То помчатся прямо, то змеею гибкой  
Перескочат зелень, колыхаясь зыбко.  
Миг еще, - и с треском, степи озаряя,  
Три реки громадных тянутся, пылая;  
Всюду разливают волны огневые,  
Небо освещают зарева ночные...

\* \* \*

Милый! Погляди-ка: небосклон светлее?..  
Или месяц ясный на небо восходит?  
- “Люба, моя любя! Свет луны бледнее:  
“То сполох полночный, колыхаясь, бродит...”



\* \* \*

Стелется по небу дым громадной тучей,  
Поднялося пламя яростней, могучей,  
Злится, искры сыплет над сухой равниной;  
Три реки широких слилися единой.  
И пожар ужасный влево и направо  
Катится безмерной огневою лавой;  
Из кустов зеленых, светлый день встречая,  
Вылетает быстро малых птичек стая.  
Вьется над землею, громко распекает  
И в кипящем море, падая, смолкает.  
А пожар все шире... Пламенным дыханьем  
Охватил деревья... С мерным колыханьем,  
Словно осыпая звезды огневые,  
Стряхивают ветви - листья золотые.  
Минуло - деревья пеплом развалились,  
С грохотом потоки дальше прокатились;  
Небеса ж над этим морем величавым  
Ярче осветились заревом кровавым.

\* \* \*

- "Как светло, мой милый!.. Неужели мощно  
"В небесах сияет так сполох полнощный?..."  
- О, - воскликнул всадник, - это степь сухая  
Загорелась разом от конца до края.  
Милая, повсюду, что окинет око,  
Пламя охватило полосой широко  
И по целой степи разлилось, сверкая...  
Не дрожи, не падай духом, дорогая,  
Только бы поток нам миновать огнистый, -  
Перед нами степи лягут гладью чистой.

\* \* \*

Вновь помчались. Ветер свищет над степями,  
Дым все гуще-гуще стелется клубами.  
Словно вестник смерти, где ни прикоснется,  
Знамя истребленья там, чернее, вьется.  
- Дорогая! Кони все бегут, слабея,  
Посмотри, отстал твой, о, скорей.. скорее!  
Падает он, Боже! Но садись со мною, -  
Час спасенья близок. Темною чертою  
Виден лес, - лишь только б в нем остановиться, -  
Как пожар по ветру в сторону умчится.

\* \* \*

Девушка, как птичка, на коня вскочила,  
Милаго рукою трепетно обвила;  
И коня он гонит, степь окинув взглядом.  
Позади, сверкая, льются целым адом  
Огненные волны... Вот, уж настигая,

Дым его окутал, словно туча злая.  
Конь летит стрелою... Вдруг с безумным воем  
Вихрь пахнул с пожара духотой и зноем,  
Конь, объятый чадом, дрогнул, спотыкаясь,  
И упал на землю... бьется, задыхаясь.

Всадник к небу очи грозно поднимает,  
Лик его тоскою дикою пылает.  
- "Люба моя, любя! Смерть уж надо мною,  
"Здесь должны мы вместе умереть с тобою!"  
И безумный взор свой на нее кидая,  
Он едва промолвил, словно замирая:  
- "Уж не знать мне больше ни вражды могучей  
"Ни заветной мести, ни любви кипучей!"  
Будто бы сплелись вместе под струями  
Две зеленых вербы гибкими ветвями,  
Обнялися крепко в той степи пылавшей  
Юноша отважный с девушкой дрожавшей.  
Через них промчалось огненное море  
И вдали затихло на немом просторе.  
Где шумело пламя - там роскошной ныне  
Зелень молодая поднялась в пустыне...

*Публикация фрагмента поэмы в пер. В. Немировича-Данченко по изданию: Детское чтение, 1901, № 5 (май), с.181-183.*

□.□. □□□□□□□□□□. □□□□ □□□ □ □□□□□□



*А.И. Одоевский.  
Гравюра А.Скино  
по рисунку Н.А. Бестужева.*

Александр Иванович Одоевский (1802-1839), поэт, декабрист, прибыл в Ишим 21 августа 1836 года<sup>1</sup> после восьмилетнего пребывания в Читинском остроге и Петровском Заводе и трехгодичного поселения в селе Елань под Иркутском. Родные Одоевского, в особенности отец, князь Иван Сергеевич Одоевский, бесконечно любивший своего единственного сына, немало хлопотали о его переводе в Курган или Ишим, поближе к Европейской России. Но все было безрезультатно, пока в качестве ходатая не выступил влиятельный вельможа Иван Федорович Паскевич, женатый на двоюродной сестре А.И. Одоевского Елизавете Алексеевне Грибоедовой. От

его имени царю Николаю I была отправлена записка: “Александр Одоевский третий год поселен в Восточной Сибири в деревне Елани. Нельзя ли переместить его в Западную Сибирь в город Ишим или в Ялуторовск”<sup>2</sup>. 27 мая 1836 г. статс-секретарь Н.С. Мордвинов уведомил Паскевича, что Одоевский по высочайшему повелению переводится в Ишим.

Свой дом в Елани и все хозяйство Одоевский оставил декабристу В.И. Штейнгейлю с указанием переслать в Ишим только фортепиано. Незадолго до переезда на новое место проживания он получил письмо от своей троюродной сестры Варвары Ивановны Ланской с вложенной в него запиской, в которой друг его юности – “граф Георгий” (Егор Евграфович Комаровский) сообщал о своей женитьбе на сестре поэта Д.Веневитинова – Софье. Отвечая В.И. Ланской из Иркутска (письмо от 17 июля 1836 г.) Одоевский просит передать графу привет и

поблагодарить его за присланные книги. Здесь же он замечает: “Мне очень любопытно прочесть Менцеля, но я только из Ишима могу послать Вам небольшой список, который попрошу Вас передать графу Георгию и в котором отмечу все, что мне нужно: я знаю доброе дружеское расположение ко мне графа и уверен, что ему доставит удовольствие то, что обращусь к нему непосредственно и тем самым исполню его собственное желание”<sup>3</sup>.

Примечательно, что через 90 лет в ишимской ссылке окажется внук “графа Георгия” - художник Владимир Алексеевич Комаровский (1883-1937), который в письмах из Сибири будет вспоминать и о своем деде<sup>4</sup>. Так в одной пространственной точке неизбежно соединятся разные судьбы и эпохи.

Место проживания Одоевского в Ишиме не установлено, сведения журналиста и краеведа П.Машканцева о том, что декабрист поселился на улице Ярмарочной в доме Филиппа Евсеевича Лузина представляются весьма сомнительными, так как не подтверждаются документально<sup>5</sup>. Известно, что Одоевский в Ишиме обрел друга, ссыльного поляка Адольфа Янушкевича, имевшего дом с хорошей библиотекой в Киселевке (ныне ул. Коркинская). Представление об этом доме можно получить из писем Янушкевича родным в Литву, но, к сожалению, в них мы не найдем упоминаний об Одоевском<sup>6</sup>. Возможно, по этой причине факт знакомства Одоевского с Янушкевичем был установлен не сразу, что и показывает история публикации стихотворения Одоевского “В странах, где сочны лозы виноградные...”, созданного в Ишиме.

Оно было напечатано в журнале “Отечественные записки” в 1844 г. под заголовком: “К Я – у, который подарил автору ветку с могилы Лауры в Авиньоне”, за подписью: “А. Од-й”. Обозначение фамилии адресата двумя литерами навело исследователей на неверный след и какое-то время считалось даже, что за ними скрывается декабрист И.Д. Якушкин. Истина была открыта после издания стихотворений Одоевского бароном А.Е. Розеном в 1883 году<sup>8</sup>. Розен связывает это стихотворение с Адольфом Михайловичем Янушкевичем, а также указывает дату и место его создания: “в городе Ишиме, на поселении, в 1836 году, 30 августа”<sup>9</sup>. Стихотворение это приводит в своих “Записках” и другой

друг Одоевского – Н.И. Лорер, подтверждая, что оно написано в Ишиме и посвящено А.М. Янушкевичу<sup>10</sup>.

Будучи романтическим по своему характеру (здесь последовательно противопоставляются поэтическая мечта и суровая действительность, “чудный юг” и “отчизна вьюг”, “сень лесов” и “край снегов”) это стихотворение в то же время отражает один из моментов жизни Янушкевича, который до ссылки в Сибирь путешествовал по Европе, побывал в южной Франции, в Авиньоне (город Воклюзского департамента, славящийся виноградниками и источниками), где посетил могилу Лауры, возлюбленной итальянского поэта XIV века Ф.Петрарки. Оказавшись через три года в Сибири, Янушкевич в одном из своих писем к родным просит сестру Касыльду выслать ему в Тобольск веточку кипариса с могилы Лауры<sup>11</sup>.

В розеновском издании вслед за стихотворением “В странах, где сочны лозы виноградные...”, опубликованным под заголовком “А.М. Янушкевичу, разделившему со мною ветку кипарисовую с могилы Лауры”, следует стихотворение “Ты знаешь их, кого я так любил...”. Оно напечатано под заглавием: “Ему же [т.е. Янушкевичу – Т.С.], передавшему привет от курганских товарищей, 3 октября 1836 года”. Представляя это стихотворение гораздо раньше в “Русской старине”, Розен использовал заголовок не столь определенный: “Приезжаем из Кургана, который передал Одоевскому поклон от Курганских его товарищей”<sup>12</sup>.

В XX-м веке советские литературоведы уже с гораздо большей уверенностью начали называть в качестве адресата этого стиха именно А. Янушкевича. Так, алма-атинская исследовательница русско-польских литературных связей XIX столетия Ф.И. Стеклова писала о том, что осенью 1836 года Янушкевич лечился на одном из соленых озер под Курганом, а по дороге заезжал в Курган, где и встретился с “соузниками-друзьями” Одоевского<sup>13</sup>. При всем уважении к памяти Ф.И. Стекловой, известного историка литературы, следует заметить, что о всех выездах за пределы Ишима с целью поправки здоровья Янушкевич сообщал своей матери, например, о своих купаниях в Горько-Соленом озере, которое находится в 20 верстах от Ишима, а отнюдь не под Курганом. О предполагаемой или состоявшейся поездке в Курган он ничего не пишет, а поэтому и вопрос об адресате

стихотворения “Ты знаешь их...” можно рассматривать как открытый. Еще меньше оснований считать посвященным Янушкевичу стихотворение “Пусть нежной думой...” (“В альбом”), тем более, что в розеновском издании оно имеет лишь одну отметку: “В Ишиме, 1836”.

По свидетельству А.Е. Розена, в Ишиме были также написаны стихотворения “Как недвижны волны гор” (“Отцу”), “Как я давно поэзию оставил”, а также “На проезд наследника престола” и “На приезд в Сибирь наследника цесаревича”. В отношении авторства последнего стихотворения Розен ошибался, оно было написано не Одоевским, а П.П. Ершовым<sup>14</sup>. Стихи создавались в честь “державного гостя” Сибири цесаревича Александра Николаевича. Будущий царь Александр II летом 1837 года совершал путешествие по России и в Сибирь прибыл в июне. В число сопровождавших его лиц входили К.И. Арсеньев, бывший учитель Одоевского, и знавший Одоевского поэт В.А. Жуковский. Возможно, под влиянием последнего и возникла полноразмерная и величественная “кантата на проезд наследника престола”, заставляющая вспомнить оды Державина и Ломоносова.



**Открытие бронзового бюста А.И. Одоевскому в Ишиме. 1989.**

Находясь в Ишиме, Одоевский не оставляет надежды вернуться в европейскую часть России, его тяготит бездеятельность, он тоскует по отцу, который со своей стороны прилагает все усилия увидеть сына. Попытка старого князя встретиться с сыном в Ишиме была пресечена Бенкендорфом, который уведомил генерал-губернатора Западной Сибири П.Д. Горчакова, что родственникам находящимся в Сибири государственных преступников не может быть дозволяемо приезжать в Сибирь для свиданий.

В январе 1837 года Иван Сер-

геевич возобновил через императрицу ходатайство о переводе сына из Ишима в свое имение во Владимирской губернии, но согласия не дождался и на сей раз. Александр Иванович со своей стороны обращается к высокопоставленным лицам. 18 мая 1837 года он пишет из Ишима А.Х. Бенкендорфу и просит его “испросить место в рядах Кавказского корпуса”<sup>15</sup>. Это прошение было принято царем 20 июня 1837 года с резолюцией: “рядовым в Кавказский корпус”. Предполагают, что на решение царя повлияло стихотворение Одоевского “Как недвижимы волны гор” (“Отцу”), переданное царю Бенкендорфом вместе с ходатайством Александра Ивановича.

Относительно даты отъезда Одоевского из Ишима имеются два указания. В дневнике товарища А.Янушкевича Г.Зелинского за 1837 г., хранящемся в рукописном отделе Музея и библиотеки им.Зелинских в Плоцке, есть запись, сделанная в Ишиме в августе месяце: “27. Отъезд пана Одоевского на Кавказ”<sup>16</sup>. Под письмом же самого Одоевского, отправленном отцу уже из Тобольска, стоит “23 августа 1837”<sup>17</sup>. Может быть, дальнейшие архивные разыскания позволят определить время отбытия Одоевского из Ишима более точно.

Через два года после отъезда из Ишима Одоевский умирает от малярии на восточном берегу Черного моря. В поселке Лазаревское (Пезуапе) ему установлен памятник. Второй памятный знак – бронзовый бюст поэта московского скульптора А.Иванова (?), постамент ишимского архитектора М.Коваленко, воздвигли в Ишиме на улице Карла Маркса 27 октября 1989 года.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

1. Дмитриев-Мамонов А.И. Декабристы в Западной Сибири. –СПб., 1907, с.42.
2. Цит. по: Одоевский А.И. Полное собрание стихотворений и писем. Подготовка текста, биографический очерк и комментарии И.А. Кубасова. Вступит. статья и редакция Д.Д. Благого. –М.-Л.; Академия, 1934, с.425.
3. Там же, с.461.
4. “Необыкновенно яркие здесь звезды...” Письма В.А. Комаровского к В.Ф. Комаровский 1925-1928 гг. Публикация и комментарии А.В. Комаровской и Т.П. Савченковой // Коркина слобода. Вып. 3-й. –Ишим, 2001.
5. Машканцев П. История одной улицы // Урал, 1964, № 10.

6. См. очерк об А.Янушкевиче и его письма из Ишима в данной книге.
7. Отечественные записки. –СПб., 1844, т.34, № 6, с.146.
8. Полное собрание стихотворений кн. Александра Ивановича Одоевского (декабриста). Собрал барон Андрей Евгеньевич Розен. –Санкт-Петербург. В типографии А.А. Краевского, 1883.
9. Там же, с.46.
10. Записки декабриста Н.И. Лорера. –М., 1931, с.179.
11. Янушкевич Адольф. Письма из Сибири. - Варшава: Изд-во "Читательник", 2003, с. 57 (на польском языке).
12. Русская старина. –1870, т.П, с.527.
13. Стеклова Ф.И. А.И. Одоевский и Адольф Янушкевич // Советское славяноведение. –1968, № 3, с.58-62.
14. Замахаев С.Н. и Цветаев Г.А. Тобольская губернская гимназия. Историческая записка о состоянии Тобольской гимназии за 100 лет ее существования. 1789 - 1889. - Тобольск, 1889, с.111- 113.
15. Цит. по: Одоевский А.И. Полное собрание стихотворений и писем, с.330-331.
16. Стеклова Ф.И. В кругу декабристов // Советское славяноведение. –1978, № 4, с.92.
17. Беспалова Л.Г. И дум высокое стремление. –Свердловск, 1980, с.28, 142.

*А.И. Одоевский*

\*\*\*

Как недвижимы волны гор,  
Обнявших тесно мой обзор  
Непроницаемую гранью!  
За ними – полный жизни мир,  
А здесь – я одинок и сир,  
Отдал всю жизнь воспоминанью.

Всю жизнь, остаток прежних сил,  
Теперь в одно я чувство слил,  
В любовь к тебе, отец мой нежный,  
Чье сердце так еще тепло,  
Хотя печальное чело  
Давно покрылось тучей снежной.

Проснется ль темный свод небес,  
Заговорит ли дальний лес  
Иль золотой зашепчет колос –  
В луне, в туманной выси гор,  
Везде мне видится твой взор,  
Везде мне слышится твой голос.

Когда ж об отчий твой порог  
Пыль чуждую с иссохших ног

Стрясет твой первенец-изгнанник,  
Войдет, растает весь в любовь,  
И небо в душу примет вновь,  
И на земле не будет странник?

Нет, не входить в отчий дом  
И не молиться мне с отцом  
Перед домашнею иконой;  
Не утешать его седин,  
Не быть мне от забот, кручин  
Его младенцев обороной!

Меня чужбины вихрь умчал  
И бросил на девятый вал  
Мой челн, скользивший без кормила;  
Очнулся я в степи глухой,  
Где мне не кровною рукой,  
Но вьюгой вырыта могила.

С тех пор, займется ли заря,  
Молю я солнышко-царя  
И нашу светлую царицу:  
Меня, о солнце, воскреси,  
И дай мне на Святой Руси  
Увидеть хоть одну денницу!

Внеси опять мой бедный челн,  
Игралище безумных волн,  
На океан твоей державы,  
С небес мне кроткий луч пролей  
И грешной юности моей  
Не помяни ты в царстве славы!

*А.М. Янушкевичу, разделившему со мною  
ветку кипарисовую с могилы Лауры*

В страна́х, где сочны лозы виноградные,  
Где воздух, солнце, сень лесов  
Дарят живые чувства и отрадные,  
И в девах дышит жизнь цветов,  
Ты был! – пронес пылливый посох странника  
Туда, где бьет Воклюзский ключ...  
Где ж встретил я тебя, теперь изгнанника?  
В степях, в краю снегов и туч!  
И что осталось в память солнца южного?  
Одну лишь ветку ты хранил  
С могилы Лауры: - полный чувства дружного,  
И ту со мною разделил!

Так будем же печальями заветными  
Делиться здесь, в отчизне вьюг,  
И крыльями, для мира незаметными,  
Перелетать на чудный юг,  
Туда, где дол цветет весною яркою  
Под шепот Авиньонских струй  
И мысль твоя с Лаурой и Петраркою  
Слилась, как нежный поцелуй.

\* \* \*

Ты знаешь их, кого я так любил,  
С кем черную годину я делил...  
Ты знаешь их! Как я, ты жал им руку  
И передал мне дружный разговор,  
Душе моей знакомый с давних пор;  
И я опять внимал родному звуку,  
Казалось, был на родине моей,  
Опять в кругу союзников-друзей.

Так путники идут на богомолье  
Сквозь огненно-песчаный океан,  
Их пальмы тень, студеных вод приволье  
Манят их в даль... лишь сладостный обман  
Чарует их; но их бодрят силы,  
И далее проходит караван,  
Забыв про зной пылающей могилы.

\* \* \*

Пусть нежной думой, жизни цветом  
Благоухает твой альбом!  
Пусть будет дума та заветом  
И верным памяти звеном!  
И если кто, альбома данник,  
Окончит грустный путь земной  
И, лучшей жизни новый странник,  
На век разлучится с тобой.  
Взгляни с улыбкою унылой  
На мысль, души его завет,  
Как на пустынный скромный цвет,  
Цветущий над его могилой.

\* \* \*

Как я давно поэзию оставил!  
Я так ее любил! Я черпал в ней  
Все радости, усладу скорбных дней,  
Когда в снегах пустынных мир я славил,  
Его красу и стройность вечных дел,  
Господних дел, грядущих к высшей цели  
На небе, где мне звезды не яснили,  
И на земле, где в узах я коснел,

Я тихо пел пути живого Бога  
И всей душой его благодарил,  
Как ни темна была моя дорога,  
Как ни терял я свежесть юных сил...  
В поэзии, в глаголах провиденья,  
Всепреданный, искал я утешенья –  
Живой воды источник я нашел!  
Поэзия! – не Божий ли глагол,  
И пеньем птиц, и бурями воспетый,  
То в радугу, то в молнию одетый,  
И в цвет полей, и в звездный хоровод,  
В порывы туч, и в глубь бездонных вод,  
Единый ввек и вечно разнозвучный!  
О друг, со мной в печалях неразлучный,  
Поэзия! Слети и мне повеи  
Опять твоим божественным дыханьем!  
Мой верный друг! когда одним страданьем  
Я мерил дни, считал часы ночей, –  
Бывало, кто приникнет к изголовью  
И шепчет мне, целит меня любовью  
И сладостью возвышенных речей?  
Слетала ты, мой Ангел-утешитель!  
Пусть друг сует, столиц животный житель,  
Глотая пыль и прозу мостовой,  
Небесная смеется над тобой!  
Пусть наш Протей Брамбеус, твой гонитель,  
Пути ума усыпав остротой,  
Катается по прозе вечно гладкой  
И сеет слух, что век проходит твой!  
Не знает он поэзии святой,  
Поэзии страдательной и сладкой!  
В дни черные не нежил твой напев  
Его души; его понятен гнев:  
Твой райский цвет с его дыханьем вянет,  
И на тебя ль одну! – на все, на всех  
Он с горя мечет судорожный смех –  
Кроит живых, у мертвых жилы тянет.  
Он не росу небес, но яд земли –  
Злословье льет, как демон, от бессилья;  
Не в небесах следит он орли крылья,  
Но только тень их ловит он в пыли,  
И только прах несет нам в дар коварный –  
Святой Руси приемыш благодарной!  
Но нет! В пылу заносчивых страстей  
Не убедит причудливый Протей,  
Что час пробил свершать по музам тризны,  
Что песнь души – игрушка для детей,  
И царствует одна лишь проза жизни.

Но в жизни есть минуты, где от мук  
Сожмется грудь, и сердцу не до прозы,  
Теснится вздох в могучий, чудный звук,  
И дрожь бежит, и градом льются слезы...  
Мучительный, небесный миг! Поэт  
В свой тесный стих вдыхает жизнь и вечность,  
Как сам Господь вдохнул в свой Божий свет –  
В конечный мир – всю духа бесконечность.

Когда шутя наш Менцель лепит воск  
И под ногой свой идеал находит,  
Бальзака враг, его же лживый лоск  
На чуждый нам, наборный слог наводит, –  
Поэт горит! Из глубины горнил  
Текут стихи, – их плавит вдохновенье;  
В них дышит мысль, порыв бессмертных сил –  
Души творца невольное творенье!

#### *На проезд наследника престола в Сибирь*

На западе подымется заря,  
На встречу ей кипит народ могучий  
И шлет привет наследнику царя,  
Сливая гул из всех любви созвучий  
И вздрогнула от радости святой  
Вся русская земля, заколебалась:  
“К нам будет гость державный, наш родной!”  
И мыслью той, как солнцем обновлялась:  
“Дум царственных отеческую цель  
“Исполни гость, слей душу ты с полсветом”.

Вступил он в путь, и Руси колыбель  
Он первую почтил своим приветом.  
Сам Рюрик князь, с дружиной удалой,  
На Новгород из светозарной тучи  
Глядит и пьет из чаши круговой  
Янтарный мед, как радость их, шипучий.  
А там, нося святыню честных ран,  
Монгольских мук нетленное преданье,  
Князь Михаил с небес склоняет стан,  
Своей Твери он слышит ликование:  
“Нежданный – здесь!” У всех забила грудь,  
И Тверь его с любовью угостила,  
И вся, как взор один, следила путь,  
Где встретит гость иного Михаила  
Витая над обителью святой,  
Где Русь нашла единство и спасенье,

Он с неба шлет невидимой рукой  
Напутное тебе благословенье.

Он предок твой, Петра высокий дед,  
Кем лже-царей окончен пир кровавый.  
Родник всех дел высоких, всех побед,  
И первый луч неугасимой славы.  
Взгляни: волной сменяется волна,  
Тесна для них широкая дорога;  
Спешат к тебе всей Руси племена  
Твой встретить взор и громко славят бога.  
Что град, что весь, все – здоровый русский ум,  
Плоды труда и русское приволье;  
Для чувств добра, для благотворных дум  
Везде царю роскошное раздолье.

И где предел? Там – гранью Арарат,  
Тут – вечных льдов полярные громады,  
И та же мысль все движет: все горят,  
Ждут на всю жизнь одной себе отрады.  
Но здесь – чья тень? Кто в думу погружен?  
Над Иртышем стоит Ермак печальный,  
Все скорбь одна его тревожит сон,  
Опальный сон: обрел он край опальный,  
Века идут, о берег бьется вал,  
И каждый вал приносит плач изгнанья.  
Не край, а мир Ермак завоевал,  
Но той страны страшатся и названья.

Взирай: крутит Иртыш; до крайних стран  
Промчалась весть, за нею ликований  
Несется гром, и лдяный Океан  
Заискрился от радужных сияний.  
Слилась Сибирь в гимн радости; сердца  
В ее сынах забилась русской кровью,  
Боготворя отечества отца, -  
К тебе они исполнены любовью.  
Сибирь стрясла двухвековой укор,  
И вся восторг – к стопам твоим припала.  
Как сладостен ей первый царский взор!  
Твой взор блеснул, и рушилась опала.

Минула ночь: от солнца тьма бежит;  
Теперь Сибирь не та же ли Россия?  
Уж гостя нет! Но вся еще дрожит,  
Храня о нем предания святые.  
Уж гостя нет! Куда ж далекий путь  
Лежит царя возлюбленному сыну?

Туда, где Русь ему откроет грудь  
И крепкий дуб окажет сердцевицу,  
Приволжские – горнило русских сил,  
Где Нижний-Новгород разгул готовил царский  
И где четой хранительных светил  
Нам светит Минин и Пожарский.

А там, как Рим, разлегшись на холмах,  
Внося тьмы глав, святыни украшенье,  
Москва хранит их памятник в стенах,  
Как вечное потомства вдохновенье.  
Спасенья град, где враг великий пал,  
Чья длань грозой победною владела;  
Святой костер, где гибли Лях и Галл  
И дважды Русь как феникс возъюнала,  
Москва! Москва! В чьем русском сердце нет  
Отзывных чувств на клик сей величавый?  
Она блестит и славой древних лет  
И твоего рожденья юной славой;  
Свой первый взор ты кинул на Москву,  
Твой первый звук отгрянул в них громами;  
Внемли ж ее восторженному зву  
И озари престольную очами,  
Всей юностью и красотой,  
Ее надежд небесных исполняем  
Святы ж и будь нам радостной судьбой,  
Нас радуй всех безоблачным воззреньем.

Но подвиг твой не кончен! Не свершон  
Возвышенный урок самодержавья.  
Ты слышишь ли печерский звон  
Над первою купелью православья?  
Туда твой путь: во сретенье спешит  
Весь Киев град веселыми толпами.  
И самый Днепр торжественно шумит  
Под мирными обители стенами.  
Лазурь небес раскрылась над тобой.  
Сплетясь в венцы, горят лучи святые,  
И райскою сияют в них красой  
России всей хранители святые;  
Ко господу возносятся хвалой  
Апостол-князь и все светила веры,  
И вторят им из глубины земной  
Угодников священные пещеры:  
“От бога – власть и в госпде предел  
Путей земных и всех благих деяний!”  
Конец пути в святыне ты обрел,  
Исполнив цель высоких назиданий.

Ждет гостя царь: крылатых сто полков  
 Приветствует их сладкое свиданье;  
 И примет сын награду всех трудов, -  
 Родителей державных целованье.  
 В тот самый миг склоня колено в прах,  
 Внесет царю чело свое Россия;  
 Признательность блестит в ее очах,  
 Уста дрожат от радости немая,  
 И свежих чувств всей юностью горит,  
 Могучим вся восторгом пламенеет  
 И за тебя его благодарит.  
 Мужаясь в нем, она в тебе юнеет,  
 Благодарит за свет твоих очей  
 Царя отца и кроткую царицу,  
 Прозрев в тебе бессмертный цвет царей  
 И будущих судеб своих денницу.

*Публикация стихотворений по изданию:  
 А.И. Одоевский. Полное собрание стихотворений и писем. - М. - Л.:  
 Академия, 1934.*

□□□□□□ □ □□□□□□□□□ □ □□□□□

Совершенно особое место в судьбе автора знаменитой сказки “Конек-горбунок”, поэта, прозаика, педагога Петра Павловича Ершова, проведшего большую часть своей жизни в Тобольске и хорошо знакомого также со многими другими городами и селениями Западной Сибири, занимает его малая родина - деревня Безрукова. Известные факты биографии писателя, дополненные сведениями из новонайденных архивных материалов, позволяют увидеть самые разнообразные нити, связывающие Ершова, а также родных ему людей, с Безруковой и Ишимом.



**П.П. Ершов.**

Петр Ершов родился 22 февраля (6 марта по новому стилю) 1815 г. в семье “комиссара Черемшанской части” Павла Алексеевича Ершова. Представляя административную структуру Ишимского округа того времени, убеждаешься в значительности поста отца будущего поэта. В 1804 г. Ишимский округ был разделен на пять комиссариатств: Абатское, Бердюжское, Мальшенское, Петропавловское и Черемшанское. Каждое комиссариатство состояло из ряда волостей. В Черемшанское входили Жиликовская, Бердюжская, Ларихинская, Гагарьевская и Черемшанская волости. Павел Алексеевич был комиссаром Черемшанского комиссариатства, а не волости, как ошибочно указывается в ряде биографий Ершова. “Резиденцией” черемшанского комиссара была деревня Безрукова, расположенная на большом сибирском тракте.

Отец Ершова нес ответственность за обширный край, в его обязанности входил контроль за работой волостных правлений, переписью населения, устройством переселенцев, а также розыск ссыльных, беглых, проведение рекрутских наборов, расследо-



вание всевозможных происшествий. Так, в протоколах Ишимского уездного суда за 1813-1814 гг. из Тюменского областного архива отражено содержание судебных дел “произведенных Черемшанским частным комиссаром”. Это дела “О крестьянине Осипе Селеткове, о неотдаче за закупленную им муку крестьянину Ялуторовской округи Потрепалову денег 10 руб. 58 3/4”; “О произносимых в пьянстве похвальных словах, относящихся к волостному голове Лоскутову крестьянином Василием Хухариным”; “О смерти сына черемшанского крестьянина Анциферова, утонувшего в реке Черемшанке” и т.д.<sup>1</sup> А из формулярных списков Павла Алексеевича, найденных весной 2002 г. в Тобольском архиве, можно почерпнуть сведения о “препровождении” им 21 ноября 1808 года партии рекрутов “От Абацкой слободы по линии до крепости Пресновской”, а в 1814 г. 200-т человек пленных поляков до города Казани, а также о неоднократном “исправлении” им правительственных поручений в “соседственных” комиссариатах: Малышенском и Абатском (“Абацком”)<sup>2</sup>.

В этих же списках есть и другие интересные данные, раскрывающие биографию отца Петра Ершова и в какой-то степени опровергающие немногие известные о нем сведения и, в частности, факт о занимаемой им в “доишимский” период должности омского капитана-исправника<sup>3</sup>. В действительности, начало карьеры Павла Алексеевича, родившегося, по всей вероятности, в 1782 году, следует связывать с Тарой<sup>4</sup>. Происходя из сословия “подъяческих детей” (так еще с петровских времен называли служилых людей, занимавшихся в армии письменными делами), он “вступил в службу” 30 декабря 1796 г. копиистом Тарского уездного казначейства. В декабре 1798 г. он становится подканцеляристом, 27 апреля 1800 г. - канцеляристом, а 12 марта 1801 г. его переводят в Тобольскую казенную палату. 31 декабря 1802 г. он получает чин коллежского регистратора, в 1803 г. назначается столоначальником, а 24 декабря 1804 г. он уже является казначеем Тобольского уездного казначейства. Именно отсюда он и назначается 2 марта 1807 года “Ишимской округи Черемшанским частным комиссаром”.

В должности частного комиссара он получает 31 декабря 1808 года чин губернского секретаря, а 31 декабря 1814 года - чин кол-

лежского секретаря. 8 октября 1817 года его назначают комиссаром Петропавловского комиссариата (той же самой “Ишимской округи” - Т.С.)<sup>5</sup>.

В подчинении Ершова оказались такие волости как Ильинская, Казанская, Красноярская, Сладковская, крепости Полуденная и Лебяжья, редуты Гагарий, Скопин, Плоский. Примечательным является то, что Ершов еще в 1815 году, то есть до своего нового назначения, уже вел дела в этом комиссариате, в частности в Сладковской волости<sup>6</sup>.



*Комиссарова роща в окрестностях села Ершова (Безрукова).  
Фото Г.Крамора.*

О матери Петра Павловича Ершова известно гораздо меньше. В формулярном списке Павла Алексеевича за 1818 год значится, что он “женат на купечской дочери”<sup>7</sup>. Ее имя и фамилия были впервые указаны тобольским краеведом Е.В. Кузнецовым, выступавшим в печати под псевдонимами Кузнецов Тобольский и Кузнецов Сибирский. В начале XX столетия он обнаружил в одном из Тобольских архивов дело за 1829 год, которое называлось: “По прошению титулярного советника Павла Ершова о выдаче ему о времени рождения сыновей его метрических свидетельств”. Выдержки из этого документа были опубликованы им в “Сибирском листке”<sup>8</sup>. Дело показывало, что матерью Ершова была Ефимия Васильевна, урожденная Пиленкова, с которой Павел Алексеевич обвенчался в Тобольской Воскресенской церкви 8 июня 1810 г. Других сведений о матери Ершова в этом деле, вероятно, не содержалось, но в качестве дополнения можно заметить, что род тобольских купцов Пиленковых имел связь с Коркиной слободой (с 1782 г. Ишимом), так как дед Ефимии Васильевны - Семен Пиленков в 1777 году был выбран “ларешным у

продажи вина и соли в Коркину слободу Ишимского округа, через три года в гильдейские старосты, а в 1782 году по болотированию был выбран ратманом в городской магистрат<sup>9</sup>.

Возвращаясь к заметке Е.В. Кузнецова, следует сказать, что далее в ней идет речь о детях Петра Алексеевича и Ефимии Васильевны - Николае и Петре, родившихся в деревне Безруковой Черемшанского комиссариатства Ишимского округа 16 апреля 1813 г. (Николай) и 22 февраля 1815 г. (Петр). Из этого же дела берутся сведения о принадлежности деревни Безруковой в те времена к приходу Градо-Ишимской Богоявленской церкви, а также имена священника, совершавшего крещение Петра Ершова (Иоанн Симонов), “восприемников от купели” (губернский секретарь Семен Алексеевич Ершов и жена титулярного советника Христина Сергеевна Наливайко) и даже повивальной бабки (“ишимская крестьянская жена Марфа Ивановна Непряхина”)<sup>10</sup>.

К этим сведениям можно добавить еще один штрих, относящийся к титулярной советнице Христине Наливайковой (точная форма фамилии установлена по документам ГАТО). За год до рождения Петра его будущая крестная мать хлопочет о “крещении калмычки ею купленной, а затем проданной коллежской ассессорше Елизавете Фишер”. Об этом свидетельствует журнал Ишимского уездного суда за 1814 год из Тюменского архива<sup>11</sup>.

После отъезда Павла Алексеевича с женой и детьми (к этому времени, как показывают формулярные списки ишимского комиссара, в семье трое детей: Петр, Николай, Серафима) в Петропавловск связь с Безруковой и Ишимом, по всей вероятности, не прервалась. Как установлено по документам Омского архива краеведом В.Н. Малышевым, у Ершовых оставалась здесь недвижимость: дом с налаженным хозяйством в Безруковой, с которым управлялись их дворовые люди, и дом в самом Ишиме. В одном из документов за 1818 год ишимский исправник Каргопольцев сообщал генерал-губернатору И.Б. Пестелю: “В полуночи в 5 часов мая 10 числа из калмык дворовый господин коллежского секретаря Павла Алексеевича Ершова человек Николай Самсонов поехал из дому господина своего в городе Ишиме на двух запряженных в телегу с насыпанным в оную ячменным хлебом лошадях в село Безруковское Ишимской ок-

руги, и при выезде из города оные (лошади) побежали обратно к дому и смяли идущую дорогой Ишимской округи Жилковской волости деревни Епанчинской крестьянскую женку Ирину Колобову, которая тогда же померла”<sup>12</sup>.

Многoletнее пребывание отца писателя в ишимском крае запечатлелось также в народной памяти. И до сегодняшнего дня жители села Ершова (бывшей Безруковой) называют один из окрестных березовых лесов Комиссаровой рощей.

О посещениях Ершовыми Ишима и Безруковой после переводов Павла Алексеевича из Петропавловска в Омск, затем в Березов и вновь в Омск ничего неизвестно, но такая возможность не исключается, так как здесь могли оставаться родственники, в частности, родной брат Ефимии Васильевны - Иван Васильевич Пиленков, “с 1816 года ишимский купец”<sup>13</sup>. Со временем архивные документы, касающиеся семьи Ершовых и близких ему людей, помогут установить или опровергнуть это предположение, а также определить точное число приездов на свою малую родину Петра Павловича Ершова уже по возвращении его из Петербурга в Тобольск (1836 г.) и в последующие годы. На одно из таких посещения указывает, к сожалению без комментариев, современный польский литературовед Я. Одровонж-Пененжек, рассказывая об ишимской жизни А. Янушкевича и Г. Зелинского. Он пишет, что в 1840 году в Ишиме побывал “выдающийся русский писатель Петр Ершов, автор “Конька-горбунка”<sup>14</sup>. Вероятно, это свидетельство было взято из дневников-“календарей” Г. Зелинского, которые тот вел в ссылке.

Гораздо больше известно о приездах Ершова на родину в пору его директорской деятельности. Директором гимназии и



*Здание женской гимназии (бывшего женского училища) на Базарной площади. Конец XIX века.*

училищ Тобольской губернии он был назначен в январе 1857 года и незамедлительно развернул деятельность по организации женских школ. Решив вопрос открытия женского училища в Тюмени, он сообщил об этом жене в письме от 12 марта 1859 года: “Положено открыть школу 22 июля, в день тезоименитства Государыни. К этому же дню постараюсь открыть женскую школу в Ишиме; и того, кроме Тобольска, будет в Тобольской губернии 4 женских школы, а с Омским приютом - 5. Ведь недурное начало”<sup>15</sup>.

Школа в Ишиме была открыта в указанный Ершовым срок в деревянном двухэтажном доме, имеющем на каждом этаже по две небольших комнаты, из которых две нижние находились под квартирой надзирательницы. Начальницей женского училища стала Мария Николаевна Деляти. Но здание, в котором обучалось до 69 учениц, было тесным и малоприспособленным для учебных целей. Поэтому городскими властями было принято решение о строительстве более просторного дома. Для этого был осуществлен сбор денег у купцов, приезжавших на зимнюю Никольскую ярмарку, и “у местного благородного общества”. Архитектор И.А. Чуйкевич взял на себя обязанности построить здание к 1 октября 1863 года и 25 мая 1862 года была произведена, освященная религиозным обрядом, закладка дома, а к 1 июля уже были возведены стены<sup>16</sup>. Это деревянное здание, построенное в самом центре города, вблизи рынка, сохранилось до сегодняшнего дня (ул. Советская, 30), но Ершов, по всей видимости, не успел в нем побывать, так как в марте 1862 года ушел в отставку.

За несколько лет своей административной работы Ершов не менее трех раз побывал в Ишиме, посещая всякий раз и место своего рождения - деревню Безрукову, с которой у него были связаны воспоминания о близких ему людях - родителях и брате.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

1. ГАТО. Ф.И-111. Оп.1. Д.52. Л.68(об.); Л.105(об); Д.55. Л.332.
2. ТФ ГАТО. Ф.329. Оп.19. Д.8. ЛЛ.136(об.); 137(об.); 126(об.).
3. Кузнецов Тобольский (Кузнецов Е.В.) К родословию П.П. Ершова // Сибирский листок. 1904, 17 октября.

4. ТФ ГАТО. Ф.329. Оп.19. Д.8. Л.125(об.). В деле за 1818 г. указан возраст - “36 лет”.

5. ТФ ГАТО. Ф.329. Оп.19. Д.2. ЛЛ.114 об.-115; Д.8 ЛЛ.126 об.-127.

6. Малышев В.Н. Ершovy в Приишимье // Коркина слобода. Краеведческий альманах. - Ишим, 1999, вып. 1-й, с.50.

7. ТФ ГАТО. Ф.329. Оп.19. Д.8. Л.126.

8. Кузнецов Тобольский (Кузнецов Е.В.) К родословию П.П. Ершова. В самой же Метрической тетради (книге) Градотобольской Вознесенской церкви за 1810 год, месяц - июнь, можно видеть запись о венчании губернского секретаря Павла Ершова с дочерью умершего купца Тобольского Василия Пиленкова Ефимией. Их венчали: священник Михаил Васильев Арефьев, дьякон Иосиф Лаврентьев и причетники Андрей Плунов и Николай Александров, а поручителем был надворный советник Иван Дмитриев Лапин. Венчание состоялось 10 июня, а не 8-го, как ошибочно указывает Кузнецов Тобольский (ф. 156. Оп. 20. Д. 69. Л. 20. № 6).

9. Установлено по некрологу Н.С. Пиленкова - двоюродного брата Ефимии Васильевны // Тобольские губернские ведомости. - 1858, № 5, 1 февраля, отдел II, с.74.

10. Кузнецов Тобольский. К родословию Ершова.

11. ГАТО. Ф.И-111. Оп.1. Д.55. Л.319(об.).

12. Цит. по: Малышев В.Н. Ершovy в Приишимье, с.49.

13. Задорожная О.А. Династия купцов Пиленковых // Родиноведение. С.У. Ремезов и история культуры Западной Сибири. - Тобольск, 1992. - Вып.1, с.45. Здесь же мы находим указание и на год рождения Ефимии Васильевны (Афимьи) - 1785.

14. Одровонж-Пененжек Я. Мицкевичана, собранная со всего света. - Варшава, 1998 (на польском языке), с. 183.

15. Цит. по: Ярославцов А.К. П.П. Ершов, автор сказки “Конек-горбунок”: биографические воспоминания университетского товарища. - СПб., 1872, с.181-182.

16. Об ишимской женской школе // Тобольские губернские ведомости, 1863, 21 сентября, часть 2-я.

□□□□ □□□□ □ □□□□□□□□□ □□□□□□  
□□ □□□□□□ □□□□□

Петровская церковь в деревне Безруковой (селе Безруковском) Ишимского уезда Тобольской губернии – родине автора «Конька-горбунка», строилась с 1862 по 1876 гг. и была разрушена в июле 1969 года. До самого последнего времени о внешнем облике этого храма, возведенного при содействии самого Ершова,



*Храм Петра Столпника  
в селе Безрукове. 1898.*

можно было судить только по графическому рисунку в журнале «Нива» за 1898 год и фотоснимку 1960-х годов, на котором церковь уже без колокольной и с зияющими оконными проемами. В литературе о П.П. Ершове упоминания об этой церкви и участии Петра Павловича в ее строительстве достаточно редки. О ней писал в конце XIX века Н.И. Палопеженцев, ялutorовский педагог и общественный деятель, занимавший в течение нескольких лет должность чиновника по крестьянским делам в Ишимском округе<sup>1</sup>, а в XX веке – тюменские литературоведы и краеведы Л.Г. Беспалова<sup>2</sup>, Ю.А. Дворяшин<sup>3</sup>. И все они обращались, прежде всего, к книге А.К. Ярославцова, включавшей письма самого Ершова и воспоминания его жены Елены Николаевны Ершовой, урожденной Черкасовой<sup>4</sup>.

В книге этой есть цитаты из двух писем Петра Павловича к родным за 1858 год, когда он, будучи директором училищ всей Тобольской губернии, совершал длительные инспекторские поездки по бескрайним сибирским просторам и не пропускал ни одной возможности для посещения Безруковой. В письме от 22 февраля он сообщал: «Я остановился часа на два на своей родине, ходил смотреть место, где был комиссарский дом, в котором

я родился. Смотритель училищный, провожавший меня до Безруковой, хотел посадить около места дерево – на память, а во время приноса иконы Божией Матери в Безрукову – отслужить на месте дома молебн...»<sup>5</sup>.

И в другом своем письме, от 23 ноября, он пишет жене следующее: «Милая Елена. Вот я и в Ялutorовске. Это последний город настоящего моего маршрута, а потом к вам, обнять тебя и милых детей. Из Ишима я выехал в субботу, в 5 часов. Обедал у смотрителя вместе с П.И., который приехал проводить меня. В 6 часов мы были уже с смотрителем в Безруковой, месте моего рождения, и пили чай. Тут явилось несколько крестьян с сельским головой, с просьбами о моем содействии – соорудить в Безруковой церковь. Они хотят составить приговор – в течение трех лет вносить по 1 рублю серебром с человека (а их – душ, примерно, до 800), что в три года составит до 2500 р.с. Мое дело будет – испросить разрешение на постройку церкви, доставить план и помочь по возможности. Смотритель сказал, что церковь надобно соорудить во имя преподобного Петра, и крестьяне согласились. Место для церкви они сами выбрали то самое, где был комиссарский дом, то есть именно там, где я родился. Признаюсь, я целую ночь не спал, раздумывая о том – неужели Господь будет так милостив, что исполнится давнишнее мое желание и освятится место моего рождения и восхвалится имя моего Святого. Недаром же в нынешнем году в календаре в первый раз упомянуто имя его. Сближение, как ни суди, пророческое. А как приятно мне было слышать от старых крестьян неличемерные похвалы моему отцу! Все это составило для меня 22 число одним из приятнейших дней моей жизни»<sup>6</sup>.

Обнаруженное в Тобольском архиве в апреле 2002 года дело под названием: «О разрешении крестьянам деревень Безруковой и Завьяловой выстроить вновь церковь в деревне Безруковой» позволило увидеть, как осуществлялись высказанные в письме намерения писателя по поводу возведения храма на его родине, а также представить непростую историю «хождений» крестьян деревень Безруковой и Завьяловой, вознамерившихся организовать самостоятельный приход и построить церковь на свои средства и «доброхотные» пожертвования. Документ включал в себя прошения, донесения, сопроводительные бумаги Ершова,

указы Тобольской Духовной консистории и резолюции Тобольского губернского правления, приговоры Черемшанского волостного правления и рапорты Ишимского земского суда, личные прошения крестьян епископу Феогносту, проект храма и т.д.

Дело началось в феврале 1859 г., а завершилось 24 марта 1863 г., открывалось оно прошением Статского Советника Петра Ершова Его Преосвященству Феогносту Епископу Тобольскому и Сибирскому:

*«Государственные крестьяне Ишимского округа Черемшанской волости деревень Безруковой и Завьяловой уполномочили меня ходатайствовать у Вашего Преосвященства о дозволении построить им в деревне Безруковой однопрестольную деревянную на каменном фундаменте церковь. Представляя при сем два подлинные приговора крестьян упомянутых деревень, я имею честь покорнейше просить Ваше Преосвященство о дозволении построить в деревне Безруковой церковь во имя преподобного отца Петра Столпника и исповедника, которого память церковь совершает 22-го февраля, а для пособия в построении церкви благоволить снабдить крестьян деревень Безруковой и Завьяловой книгою для сбора приношений на все время до окончательного устройства и освящения церкви. Статский Советник П.Ершов. Апреля «4» дня 1859 года»<sup>7</sup>.*

Из первого «приговора», составленного 27 февраля 1859 года на общем собрании, стало известным, что в этот день крестьяне слушали «частное письмо Господина Директора Училищ Тобольской губернии Статского Советника и Кавалера Петра Павловича Ершова, адресованное к Исправляющему Должность Штатского Смотрителя Ишимских училищ Маршалову, в котором он, господин статский советник Ершов, вследствие словесно изъясненного нами в



**Проект храма Петра Столпника  
из ТФ ГАТО.**

бытность его в деревне Безруковой искреннего желания построить в деревне Безруковой церковь принимает на себя по сему делу ходатайство» (Там же. Л.2).

А далее крестьяне выносили «суждение», состоящее из 6 пунктов: «1-е. Что хотя деревня Безрукова, имеющая 262 души мужского пола, принадлежит к Градо Ишимской Богоявленской церкви, а деревня Завьялова, имеющая 237 душ мужского пола, принадлежит к Село Тоболовской Покровской церкви, однако же быть может высшему начальству будет благородно дозволить нам составить из означенных деревень особый независимый приход и построить в деревне Безруковой однопрестольную деревянную на каменном фундаменте церковь; 2-е. Жертвуем землю, потребную под сию церковь и под ограду ее; 3-е. Во имя ли Господне, во славу ли Пречистой Матери его, или в честь кого-либо из святых будет она построена, а также избрание плана и фасада ее – все это мы предоставляем совершенно на волю господина Статского Советника Ершова; 4-е. Жертвуем для имеющих быть при церкви священника и двух причетников следующие им по закону девяносто десятин земли и обязываемся выстроить дом для священника; 5-е. На постройку церкви по числу душ мужского пола в деревнях Безруковой и Завьяловой, которых состоит по последней ревизии 499 душ, согласны вносить в течение трех лет по одному рублю серебром с каждой души, что составит одну тысячу четыреста девяносто семь рублей серебром; 6-е. Недостаток этой суммы на постройку церкви мы надеемся восполнить пожертвованиями добрых дателей, для чего положили просить Его Высокопреосвященство Епископа Тобольского и Сибирского Феоноста о снабжении нас книгою для сбора приношений.

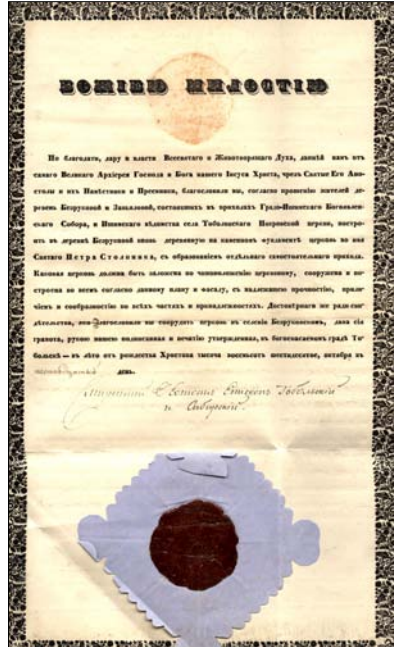
В чем постановя сей приговор представляем оный вместе с просьбою к Преосвященнейшему Владыке о дозволении и благословении строить церковь – на благоусмотрение Высшего начальства. К сему приговору вместо крестьян Осипа Нечаева, Ивана Старкова, Андрея Корзухина, Агафона Шаропова, Андрея Калмакова, Михаила Карпова, Гаврилы Евдокимова, Федора Белоногова, Ивана Шихова, Власа Аверина, Григория Турунова, Семиона Иванова, Терентия Шихова, Василия Карпова, Власа Карпова, Николая Карпова, Степана Карпова, Егора

Бронникова, Григория Андриянова, Артемия Баженкова, Дмитрия Дехтерева, Михаила Савенкова, Якова Афонасьева, Андрея Отвесова, Гаврилы Шихова, Феклиста Дехтерева, Павла Иванова, Василия Белоногова, Варлама Отвесова, Петра Васильева, Ефима Улеева, Иннокентия Андреева, Максима, Петра, Александра, Романа, Поликарпа Завьяловых, Василия Берешкова, Ильи Завьялова, Петра, Осипа Завьяловых, Михаила Пахтусова, Ивана Пахтусова, Матвея, Герасима, Екима, Федосея Беловых, Алексея Пахтусова, Александра Завьялова, Тимофея, Филиппа Завьяловых, Николая Завьялова, Павла Фролова, Ильи Завьялова, Ивана Пахтусова, Степана Сулова, Андрияна Завьялова, Абрама Берешкова, Федора Завьялова, Василия Завьялова, Василия, Осипа Завьяловых, Афонасия Завьялова неграмотных по их личной просьбе и за себя крестьянин Василий Дорофеев руку приложил» (Там же. ЛЛ. 2,3,об.).

Второй «приговор» от того же года, числа и с теми же подписями заключался в том, чтобы «испросить благословение на постройку в деревне Безруковой деревянной на каменном фунда-

менте однопрестольной церкви у его Высокопреосвященства Преосвященнейшего Владыки», а препровождать этот документ крестьяне поручили П.П. Ершову, так же как и получение книги для «доброхотных дателей» (Там же. Л.4).

На заседаниях Тобольской Духовной консистории и Тобольского губернского правления было предписано Ишимскому Земскому суду собрать необходимые для разрешения постройки церкви сведения, что и было сделано ишимским заседателем Дмитриевым и депутатом с духовной стороны, священником Бо-



*Грамата на постройку храма.*

гоявленского собора Иоанном Вишневым, «показавшими» следующее: «1. Место, где предположено построить в деревне Безруковой деревянную на каменном фундаменте церковь, принадлежит крестьянам Илье Петрову и Ефиму Улееву, у которых находятся на том месте избы, подлежащие сносу на счет общества по обязательству, данному им; означенное место заключает в себе 34 сажени по поперечнику; церковь намерены построить посредством сбора денег в течение трех лет по 1 р. серебром и доброхотными пожертвованиями. К предполагаемому приходу должны отойти, по собственному желанию и согласию общества, деревни Безрукова от Градо Ишимского Богоявленского собора и Завьялова от Село Тоболовской церкви, первая по дальнему расстоянию и неудобному в весеннее время сообщению, а последняя по случаю тесноты помещения Село Тоболовской церкви; 2. Приход должен состояться из 440 душ; 3. Место под кладбище крестьяне отводят в 200 сажнях от церкви, под усадьбу для священноцерковнослужителей – против церкви в 30 сажнях от нее, пахотную и сенокосную землю в 99 десятин при деревне Безруковой – в 1 1/5 верстах от деревни и вся эта земля для предназначенной цели удобна; 4. Для содержания причта предполагают собирать с каждого работника, считая с 15 до 50-летнего возраста, каковых состоит в приходе 220 душ, по 20 копеек серебром с каждой и обязываются построить для причта удобные и приличные дома и поддерживать их на свой счет, не касаясь церковной суммы: до построения же домов дать причту удобные квартиры. По отчислению же деревень Завьяловой от Тоболовского прихода, а Безруковой от Градо Ишимского Богоявленского собора в означенных приходах остается: в 1-м – 345, а во 2-м – 2904 душ. К построению церкви в деревне Безруковой препятствий со стороны Земской полиции нет; 5. Из числа жителей деревни Безруковой 58 душ крестьян не желают поступить в предположенный приход, потому что причислились к Село Тоболовской церкви по добровольному согласию» (Там же. Л.18, об., л.19).

Последний пункт этого «рапорта», а также ряд других документов данного дела свидетельствовал, что крестьяне двух деревень не были единодушны в своем решении возводить новую церковь. Несогласные с решением общего схода объясняли свой

отказ тем, что ими уже были потрачены деньги на строительство Покровской церкви в селе Тоболовском.

Несмотря на это, деятельность по созданию нового прихода не прекращалась.

Настойчивость проявляли не только крестьяне, но и их «депутат» П.П. Ершов. В деле находилось пять документов за 1860 г., написанных его рукой или с его подписью:

*В Тобольскую Духовную консисторию  
Директора Училищ Тобольской Губернии  
Июля 21 дня 1860 г.*

*По доверенности крестьян Ишимского округа, деревни Безруковой, честь имею препроводить в Консисторию выданную из оной книгу для сбора добровольных пожертвований на сооружение предполагаемой в этой деревне церкви*

*Статский Советник Ершов  
(Там же. Л.20).*

*В Тобольскую Духовную Консисторию  
Доверенного крестьян деревни Безруковой  
Ишимского округа Статского Советника Ершова  
Донесение*

*Представляя план и фасад на имеющую устроиться церковь в деревне Безруковой имею честь покорнейше просить Тобольскую Духовную Консисторию по надлежащем утверждении взыскать означенный план и фасад по принадлежности, вместе с разрешением устроить церковь*

*Статский Советник Ершов  
18 августа 1860 г.  
(Там же. Л.53).*

*1 октября 1860 г.*

*В Тобольскую Духовную Консисторию  
Статского Советника Петра Ершова  
Присланный ко мне крестьянами Тобольской Губернии Ишимского Округа Черемшанской волости деревень Безруковой и Завьяловой общественный приговор о построении церкви в деревне Безруковой при сем в Тобольскую Духовную Консисторию препроводить честь имею. Октября 1 дня 1860 года*

*Статский Советник Ершов  
(Там же. Л.56).*

*16 октября 1860 г.*

*Благословенную грамоту, план и фасад на сооружение церкви в деревне Безруковой для доставления крестьянам означенной деревни получил доверенный их Статский Советник Петр Ершов  
(Там же. Л.60).*

*В Тобольскую Духовную Консисторию  
Статского Советника Петра Ершова  
Представляя при сем приговор крестьян Черемшанской волости, деревень Безруковой и Завьяловой об избрании ими в церковностроители крестьянина Поликарпа Завьялова я имею честь покорнейше просить Тобольскую духовную консисторию сделать по сему надлежащее распоряжение*

*Доверенный от крестьян  
Статский Советник П. Ершов.  
Ноября «17» дня  
1860 года  
(Там же, Л.63).*

В этом же году Ершов вручил епископу Феогносту крестьянский приговор, в котором была просьба «по разрешении постройки церкви» определить во вновь создаваем



*Храм Петра Столбника с разрушенной колокольней. 50-е годы XX века.*

мый приход священника. Им становится дьякон Градо Тобольской Кладбищенской церкви Семи Отроков Эфесских Николай Агафонов, который был рукоположен «Его Преосвященством, Преосвященнейшим Феогностом, Епископом Тобольским и Сибирским в 15-й день января 1861 года во храме Св. Антония и Феодосия (Теплый храм кафедрального собора в Тобольске, построенный в 1746 г. В 1867 г. переименован во имя Покрова Пре-

святой Богородицы – Т.С.) во священника ко храму Святого Петра Столпника, что Тобольской Епархии Ишимского ведомства, в Безруковском селе»<sup>8</sup>.

Николай Агафонов, первый священник еще не построенного в 1861 году храма, и дьячок Евгений Буров, выражая желание прихожан, отправляют в Ишимское Духовное правление рапорт с просьбой «Походатайствовать у Его Преосвященства разрешения на сооружение каменного храма (разрядка моя – Т.С.) во имя того же Св. Петра Столпника»<sup>9</sup>. Решение выстроить вместо деревянной церкви каменную объяснялось сложностями в доставке леса и «дороговизною онаго» (Там же. Л.73).

Тобольская Духовная консистория предписала Ишимскому Духовному правлению доставить «сведение о состоянии прихожан с мнением, можно ли надеяться, что они выстроят каменную церковь», при этом указывая, что в Безруковском приходе всего – 382 души мужского пола – «число ограниченное» (Там же).

В своем рапорте епископу Феогносту от 22 марта 1862 священник Николай Агафонов, дьячок Евгений Буров и церковный строитель Поликарп Завьялов сообщали, что прихожане средства к сооружению каменного храма имеют, так как в течение трех лет обязались вносить ежегодно по рублю серебром с души, кроме того имеются добровольные пожертвования, которых «по строительной приходной книге значится 1136 руб. 85 коп. серебром» (Там же. Л.76); в достаточном количестве церковной утвари и облачения; заготовлено 100 тысяч кирпичу и собственные кирпичные сараи. И, наконец, постройка деревянного храма по дороговизне лесных материалов обойдется немногим дешевле каменного. Выражая общее мнение, вышеозначенные лица просят разрешить «сооружать каменный храм по фасаду деревянному с тем, чтобы потолки сделать накатные, без сводов» (Там же. Л.76, об.).

К рапорту прилагалась «храмозданная грамота с фасадом». Эта грамота, жалованная епископом Феогностом 16 октября 1860 года, - очень красивый образец документа середины XIX века на плотной цветной бумаге, с орнаментом из переплетающихся стеблей, листьев, соцветий, а также рельефной сургучной печатью на прозрачной розовой ткани в виде фестона. Печатный текст грамоты гласил:

### БОЖИЕЙ МИЛОСТИЮ

*По благодати, дару и власти Всевятого и Животворящего Духа, данный нам от самого Великого Архидиакона Господа и Бога нашего Иисуса Христа, чрез Святые Его Апостолы и их Наместники и Преемники, благословили мы, согласно прошению жителей деревень Безруковой и Завьяловой, состоявших в приходах Градо-Ишимского Богоявленского Собора, и Ишимского ведомства села тобольского Покровской церкви, построить в деревне Безруковой вновь деревянную на каменном фундаменте церковь во имя Святого Петра Столпника, с образованием отдельного самостоятельного прихода. Каковая церковь должна быть заложена по Чиноположению церковному, сооружена и построена во всем согласно данному плану и фасаду, с надлежащей прочностью, приличием и сообразностью во всех частях и принадлежностях. Достоверного же ради свидетельства, яко благословили мы соорудить церковь в селении Безруковском, дана сия грамота, рукою нашею подписанная и печатью утвержденная, в богоспасаемом граде Тобольске – в лето от рождества Христова тысяча восемьсот шестидесятое, октября в шестнадцатый день*

*Смирный Феогност Епископ Тобольский и Сибирский.*

Тот же Епископ Феогност, шестилетнее правление которого Тобольской епархией уже заканчивалось, так как 27 сентября 1862 г. он будет переведен в Псков<sup>10</sup>, вновь благословляет безруковцев. Вторая грамота, а точнее ее рукописный вариант, отличается от первой лишь одной фразой: «построить в деревне Безруковой вновь каменную церковь» и датой: «в лето от рождества Христова тысяча восемьсот шестьдесят второе, месяца июля в семнадцатый день»<sup>11</sup>.

Проект деревянного Петровского храма, по которому впоследствии строился каменный, был разработан в Тобольском губернском строительном правлении тридцатипятилетним архитектором Дмитрием Степановичем Черненко, заслуги которого, как строителя Тобольского тюремного замка, считались общепризнанными еще в 1856 году<sup>12</sup>. На проекте начертана резолюция, «дозволяющая» постройку и заверенная несколькими лицами, среди которых есть подписи гражданского губернатора Виноградского и самого архитектора Д.Черненко, а над рисун-



ком церкви слова: «Строение храма по чертежу сему Господь благословит! Феогност Епископ Тобольский и Сибирский. 1860. Октября 16».

Одноэтажное здание храма в стилевом отношении представляло эклектичное соединение примет так называемого «русско-

го» стиля, сформировавшегося в России в 30-50-е гг. XIX в. с барочными и классицистическими элементами. Оно имело базиликальный или «кораблевидный» тип, как большинство храмов Западной Сибири XVIII-XIX вв., т.е. было организовано по продольной оси: притвор с вырастающей из него восьмигранной колокольней в виде шатра и классицистическим портиком с двумя колоннами коринфского ордера соединялся с основным объемом небольшой трапезной. Основной объем имел пятиглавое завершение и апсиду с главкой.



*Храм Петра Столпника.  
60-е годы XX века.*

Форма основного объема была необычна: неравносторонний восьмигранник, расположенный поперек основной оси. Обращала на себя внимание и очень просторная (больше трапезной и равная двум третям основного объема) четырехгранная апсида с прямоугольным выступом – «своего рода» ризалитом. На южном и северном фасадах церкви было по пять оконных проемов прямоугольной формы и по одному дверному проему. «Ризалит» апсиды имел два окна аналогичной формы.

В декоративном оформлении фасадов наблюдалась та же эклектичность: капители коринфского ордера, украшающие колонны портика западного входа и порталы южного и северного проемов, соседствовали с барочными фронтончиками окон и входов. Центральная часть колокольни декорировалась балясинами, а основание шатра – рядом килевидных кокошников. Верх притвора и основного объема имел филенки и нишки прямоугольной, квадратной и восьмигранной формы.

При «перевод» деревянного храма в каменный облик его стал несколько иным. Восьмигранный шатер приобрел опору в виде мощного куба звона.

Единственным украшением этой части церкви стали полукруглые декоративные двойные фронтоны, а над ними – у самого основания шатра – треугольные выступы. Изменилась форма куполов главного объема, трансформировавшаяся из круглой в восьмигранную шлемовидную. Были построены и не предусмотренные проектом портики южного и северного входов. В целом храм приобрел некую приземистость и тяжеловесность, но вместе с тем и особую монументальность. Он стал очень выразительной доминантой бескрайней лесостепной равнины, на которой и расположилось село Безруковское с рядом деревянных домиков.



*Храм Петра Столпника.  
1965.*

Будучи уверены в получении разрешения на строительство каменной церкви безруковские крестьяне еще 26 марта 1862 года постановили на общем собрании иметь подряд на постройку каменного храма во имя Св. Петра Столпника. Постройку «единогласно присудили поручить знающему свое дело подрядчику Сибирского казачьего войска округа № 4 полка станицы Архангельской отставному казаку Фаддею Александрову Федорову» (Там же. Л.83). Перед Федоровым были поставлены условия: сделать кирпич «лучшей доброты, прокаленный по надлежащему, потпятный»; известь для кладки стен использовать ишимскую, для штукатурки – екатеринбургскую; заготовить железные решетки в окна «сколько таковых будет назначено по плану», три железные двери с наружными задвижками, с прочными петлями и крюками; внутри с северной и полуденной стороны сделать столярной работы полусветлые со стеклами двери и выкрасить белилами; во все окна сделать столярной работы двойные рамы, выкрасить также белилами на месте и врезать в них стек-

ла; «самую как снаружи, так и изнутри церковь обштукатурить»; «для полов и потолков сосновые балки толщиной не тоньше 7 вершков в отрубе»; настлать полы сосновыми плахами «не тоньше двух вершков»; «представить кровельное железо и гвозди, сколько на всю церковь будет потребно»; «водосточные трубы с воронками красить черною краской» и т.д.

Общество, со своей стороны, принимало обязательства доставить для подмостков лес, построить сараи для хранения всевозможных стройматериалов, извести и пр. (Там же. Л.7, 84, 85).

«Бригада» Ф.А. Федорова состояла из казаков «торгового общества» Сибирского казачьего войска 4-го полкового округа Алексея Муроя, Пимена Колесникова, Степана Друсевицкого, Трофима Павленкова, Демьяна Муроя, Петра Лямова, Александра Колесникова и Корнея Челапкина (Там же. Л.87). По всей вероятности, они и начали летом 1862 г. строительство храма.

Имя П.П. Ершова в документах за 1861-63 гг. уже не упоминается. Но из книги А.К. Ярославцова известно, что «заботы об устройстве церкви в селе Безруково составляли для него одно из самых отрядных занятий до последних минут жизни». Ему не удалось дожидаться окончания строительства и присутствовать, как ни желал он этого, при освящении церкви. «Свое посредничество для получения от правительства разрешения на сооружение церкви, всякое пожертвование, даже непосильное, в пользу церкви он делал охотно и в возможной тайне: так, для покупки некоторых церковных потребностей, заложил он однажды золотую цепочку от часов своих, о чем сказал жене уже только в конце своей последней болезни». Рассказывает Ярославцов и трогательную историю встречи безруковцев с умирающим поэтом: «Ершов уже сильно изнемогал; он понял, что крестьянам нужна какая-либо помощь для отделяемой церкви, а он – ничем уже помочь не может. Прослезился Ершов, заплакали крестьяне, да так и расстались с ним навсегда»<sup>13</sup>.

Об участии поэта в делах безруковской церкви писал также и другой биограф Ершова – Артемий Иванович Мокроусов, тобольский учитель гимназии и краевед. В своей неопубликованной работе «Петр Павлович Ершов. Его жизнь, личность и твор-

чество» 1919-1920 гг. Он указывал на то, что видел в витрине Тобольского краеведческого музея наряду с «храмозданной» грамотой Феогноста также и акварельный эскиз художника М.С. Знаменского с изображением Петра Столпника, выполненный по просьбе Ершова для иконы, которую тот намеревался пожертвовать в Безруковский храм<sup>14</sup>.

Строительство церкви было окончательно завершено, по свидетельству Н.И. Палопеженцева, только в 1876 году, то есть через семь лет после смерти Ершова<sup>15</sup>. Но службы в ней совершались уже с 1866



*Разрушение храма. 1969.*

года. Здесь крестили, венчали, отпевали несколько поколений безруковцев и завьяловцев, имена которых, как и имена священников, от первого – отца Николая Агафонова и до последнего – отца Никифора Серебрянского, можно видеть в метрических книгах Петровской церкви с 1866 по 1919 год, хранящихся в Ишимском архиве<sup>16</sup>.

В 1919 г. храм закрыли, разобрав колокольню и превратив его в зерносклад, а потом и совсем забросили. Он стал использоваться как каменоломня для добычи кирпича в хозяйственных нуждах, а 20 июля 1969 г., в столетнюю годовщину смерти поэта, его подвергли окончательному разрушению. Этот момент нашел отражение на фотоснимках ишимского фотографа В.И. Ипполитова, который в этот день оказался в селе и увидел только груды камней и деревянных балок. Двое мужчин сосредоточенно выбирали из этого завала отдельные уцелевшие кирпичи, относили их в сторону и укладывали в штабеля. Рядом с апсидой – единственной еще уцелевшей частью Петровской церкви, валялись два купола, ржавые листы кровельного железа и фрагменты кованых оконных решеток.

Почти тогда же село получило другое название – «Ершово», что явилось далеко не самой удачной попыткой напоминания о

месте рождения писателя, потому что «как бы ни велико было имя человека, в честь которого идут на переименование городов, сел, улиц, оно всегда будет нести меньше исторической памяти, чем несло прежде»<sup>17</sup>. Ушел топоним, который ценил сам Ершов, называвший безруковским себя и своих героев: полковник Безруковский в «Осенних вечерах», атаман Безрукий в «Сибирском казаке».

А о самом разрушенном храме, который в XX веке уже никто из местных жителей с Ершовым и не соотносил, стали вспоминать все реже, и даже старожилы с большим трудом могли указать его точное местонахождение. Об ершовской церкви напомнил Ишимский краеведческий музей, по инициативе которого 6 марта 1998 года в селе был поставлен памятный деревянный крест, а найденные через четыре года архивные материалы по истории ее возведения и непосредственном участии в этом самого Ершова заставили интеллигенцию села и города всерьез задуматься о восстановлении святыни. Продолжающаяся в этом направлении исследовательская деятельность принесла свои результаты: были обнаружены остатки фундамента храма, две новые фотографии церкви середины XX века и, наконец, хоругвь с изображением покровителя этого храма – Петра Столпника, которая хранилась у 82-летней жительницы села Ершово Натальи Федоровны Беловой почти всю ее жизнь.

И сегодня хочется надеяться, что вся краеведческая работа была не напрасна и храм во имя преподобного Петра Столпника, являющийся лучшим памятником писателю и просветителю XIX века Петру Павловичу Ершову, будет возвращен безруковцам, ишимцам и всей России.



*Наталья Федоровна Белова с иконой Петра Столпника.*

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Палопеженцев Н.И. На родине автора «Конька-горбунка» // Нива. – 1898. - № 46 (перепеч.: Коркина слобода: краеведч. альманах. – вып. 1 – Ишим, 1999).
2. Беспалова Л.Г., Беспалова Ю.М. Тюменский край и писатели XVII-XIX веков. – Екатеринбург, 1998.
3. Дворяшин Ю.А. На родине автора народной сказки // Ишим далекий-близкий. – Ишим, 1997.
4. Ярославцов А.К. П.П.Ершов, автор сказки «Конек-горбунок»: биографические воспоминания университетского товарища. – СПб., 1872.
5. Там же, с.165.
6. Там же, с.179-180.
7. ТФ ГАТО. Ф. И-156. Оп.25. Д.231 «О разрешении крестьянам деревни Безруковой и Завьяловой выстроить вновь церковь в д.Безруковой».
8. ТФ ГАТО. Ф. И-156. Оп.25. Д.252 «То же к Безруковской вновь строящейся церкви дьякона Николая Агафонова».
9. ТФ ГАТО. Ф. И-156. Оп. 25. Д.231. Л.71.
10. Софронов В.Ю. Светочи Земли Сибирской. – Екатеринбург, 1998, с.173.
11. ТФ ГАТО. Ф. И-156. Оп.25. Д.231. Л.100.
12. ТФ ГАТО. Ф. 152. Оп.30. Д.171. ЛЛ.96-102 (об.). Формулярный список Д.С. Черненко.
13. Ярославцов А.К., с.196, 198.
14. РГАЛИ (Москва). Ф.214. Оп.1. Д.12. Машинописный вариант работы А.И. Мокроусова «Петр Павлович Ершов (1815-1869). Его жизнь, личность и творчество», с.104.
15. Палопеженцев Н.И., с.916.
16. ИФ ГАТО. Ф.829. Оп.1. Метрические книги храма Петра Столпника в селе Безруковском.
17. Васильев А.И. Отодвинутая судьба (очерк о П.П. Ершове) // Любезен я народу. Сб., посвященный 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина. – Тюмень: Изд-во «Вектор Бук», 1999, с.56.

## Чудный храм

*Рассказ “Чудный храм” из прозаического цикла “Осенние вечера”, над которым Ершов работал с начала 50-х гг., был опубликован в “Живописном сборнике замечательных предметов из наук, искусств, промышленности и общежития” за 1857 год. Издатели журнала в своем предисловии писали, что “Осенние вечера”, “содержащие в себе ряд повестей, рассказанных с редким талантом”, придадут “много занимательности первым выпускам сборника”. Здесь же было обещание “в скором времени получить от автора дозволение объявить его фамилию”. Но инициалы создателя этого цикла - “П.Е.”, стоящие под заголовком, так и не были раскрыты.*

*“Чудный храм” относится к жанру пасхального рассказа, распространенного, наряду со святочным, в литературе XIX века. В основе его сюжета - чудо, пережитое героями в день самого великого христианского праздника. С особой отчетливостью выражена здесь очень значимая для Ершова, человека религиозного мировоззрения, мысль о том, что храм, так же как и другие высшие православные ценности, нельзя разрушить, потому что они будут продолжать свое незримое существование в вечности.*

### Вечер II

Через два дня после описанного вечера наши приятели снова собрались у Безруковского. Разменявшись вопросами о здоровье, о новостях, потолковав о литературе и политике, они, по приглашению хозяйина, по-прежнему составили кружок около чайного стола, и как бы по взаимному согласию обратили глаза на Лесняка.

- Принимаю, господа, ваш безмолвный вызов, - сказал Лесняк с меланхолическою улыбкою, - и открою этот вечер преданием, которое мне удалось услышать в одно из моих странствований по пустыням Сибири.

- И разумеется, это предание будет иметь основою мир невидимый, а атрибутами леших, русалок и их причет, - сказал Таз-баши, лукаво улыбаясь.

- В основании ты не ошибся, - сказал Лесняк, - но все прочее в сторону.

- Как? - вскричал Таз-баши. - Твой рассказ и не будет ни одного чёртика. Это вещь необыкновенная.

- Мир духов состоит не из одних выходцев ада, любезный Таз-баши, есть там и райские жители.

- Понимаю. На этот раз явятся души блаженных и крылатые жители небес. Значит, это будет что-то вроде христианской эпопеи.

- Назови эпизодом христианской эпопеи, и твои слова будут иметь несколько правды.

- Ну, я теперь отдыхаю, - продолжал Таз-баши. - А то прежние твои рассказы о сизых душах умерших и о чёрных телах демонов заставля-

ли меня беспрестанно придерживать свои волосы. Изволь же начинать свои les harmonies du ciel.

Лесняк начал:

Наступила страстная седмица. Христиане всякого пола и возраста спешили в храмы очистить души свои покаянием и причащением, чтобы в белых одеждах чистоты и невинности встретить величайший праздник христианского мира. Вот уже приступили они к жертвеннику примирения, и из рук пастырей приняли страшные тайны Христовы. В соборе совершился трогательный обряд умовения, и наступил великий Пяток - день скорби и траура для душ христиан. Казалось бы, в эти торжественные дни ни одно из земных помышлений не должно было омрачать мысли православных, - но не так было на самом деле. Большая часть людей, хотя более в простоте незнания, думали, что, очистив внутреннее, они должны были очистить и внешнее, чтобы достойнее встретить светлый праздник. В домах хлопотали об уборке; рынки были наполнены припасами; ремесленники, заваленные работой, не могли и подумать - хоть раз побывать в церкви. Правда, в часы богослужения и без них храмы были полны народа; но за то остальное время все посвящалось суеде мира.

В это время два брата случайно услышали от приезжих крестьян, что недалеко от города показался медведь. Так как они были страстные охотники, то эта весть заняла все их мысли и желания. Место было не дальнее: до праздника оставалось еще два дня. Авось можно будет заповелевать зверя и воротиться в город накануне Пасхи. Сколько домашних ни упрасивали братьев, сколько ни представляли им убеждений о неуместности их желания; два брата решительно отвечали, что такие случаи очень редки, что они с удачей или нет - непременно воротятся к празднику. Делать было нечего; оставалось предоставить их собственному произволу.

И вот братья, вооруженные винтовками и ножами, отправились полевая зверя. Хотя Пасха в том году была ранняя, и снег не думал еще сходить, однако ж погода стояла тихая и теплая, обещавшая приятную охоту.

В шести верстах от города, по указанию крестьян, они свернули в лес, по следам зверя. Не будь они заняты мыслью - скорее встретиться со своим косматым противником, они невольно остановились бы полюбоваться представлявшимся им ландшафтом. След зверя вел их редким лесом, часто прорезывавшимся прогалинами, которые открывали приятные виды в отдаленности. Деревья в зимней своей одежде из белого бархата рисовались такими разнообразными группами, что глаз затруднялся решить - которая лучше. Здесь низкий боярышник или калина представляли шалаши из сетчатой ткани, опушенной зубчатою бахромою; тут высокая рябина выдавалась из купы кустарников павильоном в китайском вкусе; там березы, соединенные ветвями, образовали длинные переходы со стрелчатými арками и с кистями по обеим сторонам перспективы, в которой стволы деревьев заменяли колонны. Прогалины, словно огромные залы, покрытые белым пушистым ков-

ром, под голубым сводом неба, разрисованным гротесками выдающихся вершин, - придавали новое очарование зимнему ландшафту. Там и сям небольшие холмы рисовались лагерем таинственных воинов леса. Этот оптический обман еще более увеличивался разбросанными одинокими деревьями, которые с простертыми своими ветвями и в плюмаже вершин казались стражами этого лагеря. Если к этому прибавить контраст зелени высоких сосен и елей, сохранивших свою летнюю одежду под холодом зимы и представлявших как бы странниками между белыми жильцами лесов, вы будете иметь идею о ландшафте, который окружал охотников.

Простите меня за длинное описание. Я люблю зиму почти столько же, сколько и лето. В моих глазах зима не смерть природы, а только время ее упокоения. Снаружи бездейственная, безмолвная, зимняя природа сосредоточивает свою работу внутри, и кажется, думает о том - каким образом с первым лучом весеннего солнца развернуть свою мысль в красоте видимого образа. Зима - это углубление природы в самое себя, зерно будущего её развития, то мрачного и угрюмого, то веселого и пленительного, соответственно разным частям плана той огромной картины, которую она, во время весны и лета, развертывает на протяжении полмира, оживляя пластику образов жизнью людей и животных.

Но охотникам, как я сказал, было не до созерцания. Они видели в лесу одни деревья, покрытые снегом, а на земле только след зверя - единственный предмет, наполнявший их мысли. Размениваясь изредка словами о дороге и об охоте, они, по указанию следов, все шли далее и далее в лес. Сильное желание их - скорее встретиться с медведем - заставило их даже пренебречь обыкновенную осторожность охотников, то есть, они шли, не замечая пути, который беспрестанно переменил свое направление. С наступлением вечера братья решились остановиться и провести ночь в лесу, чередуясь на страже. Нарубили сучьев и развели огонь. Рюмка вина и кусок хлеба удовлетворили неприветливый аппетит охотников. Младший из них, завернувшись в свою шубу, тотчас же заснул; а старший сел к огню, положив на колени к себе винтовку, и то поправлял огонь, то оглядывал окрестность. Беспрепятственное ожидание встречи с неприятелем изгоняло всякую другую мысль из его головы. Изредка запевал он в полголоса песню, или делал несколько шагов подле костра, чтобы размять свои члены, а потом снова сидел молча на своей страже. Через несколько часов он разбудил брата, и сам лег уснуть.

Мысли меньшего стража сперва колесили около тех же мыслей, что и у старшего; но вскоре приняли другое направление, более приятное. Он вспомнил серенький домик в городе, с небольшим садом подле ворот и с светлыми комнатами. Там он видел молодую девушку, которая своим взглядом заставляла сердце его биться особенно приятным образом. Ему пришла на память первая встреча с нею в летний день на берегу реки; робость его вопросов, застенчивость ее ответов; потом знакомство с ее родителями, которые приняли его с патриархальным радушием. Дни за днями проходили в его воображении - то с веселою

улыбкою награжденного ожидания, то со вздохом обманутой надежды. Но вот он дошел до того дня, когда он несвязным своим признанием похитил из уст робкой девушки сладкое слово взаимности. Тут следовало согласие родителей и мена колец на вечную верность. Живо представился ему наступающий праздник, в который он - по праву жениха и по христианскому обычаю - в первый раз напечатлеет горячий поцелуй на розовых губках невесты. Мысль его забежала вперед - за окончание праздника. Вот уж он ведет к алтарю свою возлюбленную: священник благословляет союз их; веселый поезд сопровождает его домой вместе с супругой. Стол блестит приборами и ломится под кучею блюд. В перспективе комнат видна парадная постель с закрытыми занавесками, как символом тайны и скромности. Сердце его бьется неудержимо: сладкая слеза готова вырваться из глаз...

- Хорош караульный! - вдруг раздался голос старшего брата. - Спит себе, как будто дома на кровати. Хоть бы за огнем-то присмотрел немного. Смотри, уж одни угли остались.

Вывранный из чар воображения незавидною действительностью, мечтатель, казалось, был сброшен с неба на землю. Но не желая даже родного брата посвятить в заветные свои думы, он охотно перенес незаслуженный упрек в дремоте и сказал:

- Виноват, Федя, вздремнул немножко.

- Да, видно немножко, - возразил брат. - Взгляни-ка на восток: там уж заря свой костер зажигает. Перекусим чего-нибудь и вперед. Если до полудня удастся встретить мишку, так хорошо, а не удастся, так надо повернуть оглобли.

Братья вынули из сумы убогий завтрак и, подкрепив им силы, отправились далее.

Лес становился чаще и чаще. Березы, пробужденные присутствием людей, точно с досадою осыпали их снежною пылью; длинные ветви цеплялись за их платье, будто желая остановить их. Но след зверя, словно обманчивый вожатый, манил их все дальше и дальше и с каждым шагом решительнее обещал довести их до берлоги медведя. Время близилось уже к полудню. Решившись еще час попытать удачи, братья, уже усталые не столько от утомления, сколько от напрасного ожидания, сделали еще несколько верст вперед. Вдруг погода, до того времени тихая, внезапно изменилась. Снег повалил хлопьями прямо в глаза охотникам и вскоре замел не только след зверя, но даже и их собственные следы. Братья решились воротиться. Оглядев местность, сколько позволяла им снежная непогода, они повернули назад, и пошли лесом напрямик, держась направления к западу, где лежал город. Молчание их прерывалось только треском сучьев, которые отбивали они на пути, и изредка несколькими словами, сказанными кем-нибудь из них, по случаю небольшого обхода. Снег все усиливался, и наконец пошел так густо, что нельзя было различить самых близких предметов. В это время характер братьев выразился в различных чувствах, наполнявших их души. Старший, с твердою волею и неизменяемым хладнокровием, шутил насчет неудачной охоты; младший же готов был сердиться на каждую снежинку, которая попадала ему в лицо.

- Ну, брат Саша, - говорил старший, - теперь очередь медведю за нами охотиться. А впрочем, это было бы очень скверно, если б г. Мишук напал на подобную мысль.

- Сердце мое чувствовало, что охота наша будет неудачна, - отвечал младший. - И признаться, я пошел только потому, что не хотел тебя одного предоставить опасностям охоты.

- Спасибо, Саша. Зная твою ко мне привязанность, я не удивляюсь этому. Вот на днях надеюсь отблагодарить тебя, выпив лишнюю рюмку вина на твоей свадьбе.

- Полно, Федя, говорить об этом. Каждый шаг теперь кажется мне осязкой верстой, и я охотно бы уступил всех медведей в мире за тощую клячу, которая бы дотащила меня до города. Сердце так и поет, как подумаю, что теперь делает моя Лиза.

- Ничего, Саша. Сердце хотя и вешун, но иногда делает ужасные промахи. Вот хоть бы мое. Когда я услышал о звере, так оно застучало так, как бы медведь лежал уже под выстрелом моей винтовки. Ну, а на деле, почтеннейший Михайло Иванович, вероятно, преаппетитно сосет теперь свою лапу, и посмеивается над нашим донкихотством.

Еще несколько времени продолжался разговор в том же тоне. Но когда короткий день свечерел, а большая дорога скрывалась еще в тумане неизвестности, шутки прекратились, и нетерпение овладело даже душой старшего брата. Молча они шли еще несколько времени, осыпаемые снегом и сражаясь на каждом шагу с ветвями дерев. Темнота постепенно увеличивалась, и вскоре мрак вечера соединился с мраком непогоды. Тоска овладела младшим. Он бросил свою винтовку и кинулся на снег.

- Нет сил больше идти, - вскричал он в порыве отчаяния.

Старший принялся утешать его, представляя, что, по всем приметам, они уже недалеко от города, что еще час-два, и они будут дома. Но как утешения эти выходили не из уверенности, то они только увеличивали тоску младшего.

- Оставь, пожалуйста, братец, свои утешения, - сказал он тоном досады. - Вот привел Бог узнать на опыте, как сладкие слова в иную пору хуже горькой редьки.

- Эх, Александр, я не ожидал от тебя такого малодушия, - отвечал старший, остановясь подле брата. - В прежнее время ты был гораздо бодрее. Вспомни хоть ночь под Искером, когда мы на дырявой лодке ночью переправлялись через шумящую реку. Или уж любовь так разнежила твое тело, что сделала тебя слабее женщины.

- Ни слова о любви, Федор, если не хочешь меня оскорбить. Напоминание о ней теперь - острый нож прямо в сердце.

- Ну, о любви в сторону. Я сказал о ней только в надежде, что ты найдешь в ней новые силы продолжать путь.

- Я сказал, что не могу идти. Ступай, если хочешь, а меня оставь на волю Божию.

- Брат! - сказал старший с упреком.

Александр почувствовал свою неосторожность и подал брату руку в знак примирения.

- Вот этак лучше, - сказал старший, пожимая брату руку. - Хоть убей меня, а я так убежден, что мы воротимся здоровы и невредимы, что готов прозакладывать свою голову за орешную скорлупу. Вот отдохнем немного, - продолжал он, садясь подле брата, - выпьем винца и вперед.

Сказав эти слова, Федор выпил вина и, снова наполнив рюмку, передал ее брату. Но тот с досадою оттолкнул рюмку.

- Если не хочешь, так по крайней мере не проливай вина, - сказал Федор, выливая вино в баклагу... - А посмотри-ка, Саша. Я иногда мастер угадывать. Снег помельче. Даст Бог, через час совсем прекратится.

Александр взглянул вокруг себя, и слабая надежда затеплилась в его душе.

- Пойдем, - сказал он, вставая.

Братья снова пошли.

Снег действительно скоро перестал, но зато мрак ночи быстро навигался на предметы. Пройдя около часу лесом, братья наткнулись на шалаш, вероятно, сделанный пастухами или охотниками.

- Вот и признак жилья, - сказал старший. - Теперь совет: дожидаться ли здесь утра или идти вперед ощупью? Ба! Скоро уже 10 часов, - продолжал он, подавив репетир часов. К заутрене все-таки не поспеем.

Младший вместо ответа бросил свою винтовку и лег в шалаш, не говоря ни слова. Федор покачал головой при виде такого малодушия своего брата, наломал сучьев и развел огонь у входа в шалаш. Закурив сигару, он сел подле огня и дал волю своим мыслям.

Главная дума его была о наступающем празднике и об их положении. Верно, думал он, Господь прогневался на них за то, что они в такие великие дни допустили овладеть собою житейским мыслям, и в наказание лишил их христианской радости - встретить Воскресение Спасителя в храме Божиим. Ему сделалось грустно. Он мысленно просил у Бога прощения в своем грехе, и дал обет - целую неделю Пасхи ходить ко всем службам. Успокоенный обетом, Федор стал мысленно припоминать знакомые ему молитвы, и в этой внутренней беседе с Богом, казалось, забыл и брата и свое незавидное положение.

Между тем Александр, завернувшись в шубу, предался овладевшей им тоске. Но у него дума имела более житейское направление. Мысль о невесте, о поцелуях христосования затмила все другие мысли, которые приближение великого праздника вызывало из христианской души. Поэтому, вместо спокойствия она только разжигала его малодушие, так что наконец он не мог удержать себя и горько заплакал. Но в этих слезах, хотя источник их был не без упрека, благодать небес послала ему отраду. Наплакавшись вдоволь, он заснул глубоким сном.

Так проходили для братьев последние часы той великой субботы, в которую Богочеловек снова почил от великих дел Своих. Не знаю, найдется ли хоть один сколько-нибудь питающий религиозное чувство, кто бы в это навечерие великого дня, по крайней мере одну минуту не посвятил духовному размышлению. Великость события, в котором небо, земля и ад были сценою, в котором любовь Божества превозмогла над неумолимым правосудием, и смерть Бессмертного отворила заключен-

ные врата вечной жизни, это событие, подавляя плоть и ум, окрыляет душу и все сердце обращает в одно чувство, полное неизъяснимого блаженства. Никогда мысль о бессмертии не представляется так ясно пред очами веры, как в эти минуты совершившегося искупления. Кажется, что во мраке Голгофы с самой минуты: совершилась! Заблестел уже неугасимый свет новой жизни. И когда апостолы еще оплакивали смерть своего Учителя, на небе и в сени смертной раздавался уже победный клик воскресения!

Между тем ночь субботы оканчивалась. Федор вынул часы и при свете костра следил за движением стрелки - единственной вестницы наступления праздника. Вот уже осталось пять минут.

- Скоро, - думал он, - раздастся звон колоколов и обрадует православных. Мы одни, по собственной вине своей, будем лишены этой радости. Но творись воля Божия! Для христианина везде храм и божество. Мы огласим этот пустынный лес гимном воскресения, и бездушные деревья отзовутся на наш христианский привет!

Поправив огонь, Федор снова взглянул на часы. Оставалась одна минута. Встав на колени и сняв шапку, он смотрел на стрелку часов, бывших у него в левой руке, а правую готовился осенить себя крестом со словами: Христос воскрес! Но едва только стрелка указала на 12, и рука поднялась для осенения крестом, вдруг звучный благовест поразил слух Федора. Изумленный этой неожиданностью, он удержал крестное знамение и, казалось, не верил ушам своим. Но вскоре повторяемые звуки колокола уверили его, что он не ошибся. Это был действительно благовест - ровный, звучный, торжественный. Слезы брызнули из глаз Федора. Он сделал земной поклон, и несколько времени лежал ниц, повторяя вполголоса: "Христос воскрес! Христос воскрес!"

Потом он кинулся к своему брату.

- Саша! Саша! Вставай! Бог милостив еще к нам. Слышишь?

Александр проснулся и с удивлением смотрел на брата, у которого слезы восторга капали из глаз.

- Что с тобой, Федя? - спросил он, быстро вставая. - Ты плачешь?

- Да, да! Плачь и ты, Саша. Слышишь?

Александр прислушался и вскоре благовест коснулся и его слуха.

- Это благовест, - сказал он с непритворною радостью. Значит, близко деревья.

- Да, да. Ну, что же ты? Христос воскрес, Саша!

- Во истину воскрес, Федя.

И братья со слезами кинулись друг другу в объятия.

Тут рассказчик на минуту замолчал. В звуках голоса его дрожала слеза. Казалось, он сам был одним из братьев или был очевидцем этого торжественного объятия христиан во имя Христа воскресшего. Слушатели были тоже тронуты. Через минуту Лесняк стал продолжать рассказ

Нечего, кажется, говорить, что братья поспешно отправились в ту

сторону, откуда слышался благовест. Сердца их были так полны, что вместо всякого разговора, они говорили только по временам: Христос воскрес! Между тем благовест с каждым шагом их делался все слышнее. Нельзя было описать впечатления, производимого колоколом. Это была звучная серебряная струя, которая катилась ровно и торжественно, изредка дрожа на волнах воздуха. Что-то особенное слышалось в этом звуке, по крайней мере для слуха братьев. Они внутренне сознавали, что ни один колокол не производил на них такого сладкопотрясающего чувства; казалось, что это был голос неба, а не земли.

Часа через полтора они увидели на небольшой поляне одинокую церковь, ярко освещенную внутри. Но никакого жилья, даже признака обитания не было поблизости. Между тем чрез окна виднелась в церкви толпа народа всякого пола и возраста.

Не дошедши нескольких шагов до храма, братья увидели торжественную процессию встречи воскресшего Спасителя. Веселый звон колоколов сливался с радостным пением гимна: "Воскресение Твое, Христе Спасе!" Блеск множества свечей в руках молящихся озарил окрестность на большое расстояние. Впереди за св. иконами, с крестом и с пасхального свечою, шел седой священник величественной наружности. Ему сопутствовал диакон в самом цвете молодости и поразительной красоты. Казалось, это был ангел, принявший вид человека.

Братья, оставив свои охотничьи принадлежности под одним деревом, подошли к процессии, и вместе с нею вступили в церковь. Старый придверник вручил им свечи с радостною улыбкою и с приветствием: "Христос воскрес!" Но к удивлению их он не взял денег, а просил отдать их первому нищему, который будет просить милостыни во имя Христа. Братья со свечами в руках прошли вперед. Народ, пропуская их, приветливо им кланялся и говорил: "Христос воскрес!"

Первые минуты посвящены были обзору церкви, которая им была совершенно неизвестна. Это был небольшой храм в византийском вкусе. Иконостас не блестел золотом; но архитектура его и живопись икон невольно привлекали зрение величественною своею красотою. Кроме лампад, множество свечей освещали иконы, и сливаясь с блеском свечей в руках народа, разливали яркий поток света. Но этот свет, казалось, был только отражением того блеска, которым горел алтарь, а особенно престол, хотя на нем кроме обыкновенных подсвечников ничего другого не было. Трудно было угадать - откуда изливалось это море сияния: от иконы ли воскресения, стоявшей пред престолом, или с алтарного купола, закрытого иконостасом. Самый дым фимиама над престолом являлся прозрачным облаком, невольно напоминавшим собою путеводный столп Израильтян в пустыне. -Клиросы были пусты; но зато весь народ составлял один согласный клир. Тут звучали все голоса, начиная от нежного детского и женского до могучего мужского, и ни один неверный звук не растроивал этой дивной гармонии - пасхального напева. И что более увеличивало торжественность службы, так это благоговейное спокойствие молящихся. В продолжение всей службы ни один не перешел со своего места, кроме священнослу-

жителей, ни одно дитя не обернулось в сторону. Все взоры были устремлены на алтарь и иконы, и только движение губ при пении и благоговейный образ креста - доказывали, что это живые существа. Братья так увлечены были этим величественным спокойствием, что невольно приняли те же чувства, то же положение, и также невольно присоединили голоса к общему канону.

Наконец заутреня кончилась. Народ облобызал животворящий крест и образ Воскресения, и при братском объятии друг друга разменялся пасхальными приветями. Сколько братья ни вслушивались, они не слышали ни одного слова, которое напомнило бы мир с его суетою. Не было даже произнесено ни какого имени, кроме одного великого: Христос.

Между тем двери храма отворились, и молящиеся с радостными лицами стали выходить из церкви. Братья следовали последние.

Было еще темно. Снова оглядев окрестность в надежде открыть какое-нибудь жилище, чтобы приютиться до рассвета, братья не видали ни малейшего признака обитания. Тогда Федор обратился к одному из богомольцев.

- Здесь должно быть близко село, - сказал он, похристосовавшись.

- Не только село, но и город близко, - отвечал с улыбкою старик.

- Как же мы не могли увидеть? - спросил Федор с невольным изумлением.

- Должно быть, вы шли в другую сторону: притом же ночью немудрено просмотреть.

- Но мы блуждаем целые сутки и ни один признак не показал нам близости города.

- Это место редко посещается городскими жителями, хотя оно и недалеко от города. Вот подите отсюда прямо к оврагу; тут поверните направо до мостика. А там тропинка выведет вас на большую дорогу. Я бы сам взялся проводить вас до оврага, да у меня есть дело. Впрочем, скоро рассветает и вам нельзя заблудиться; а до того времени подождите у церкви.

Братья взглянули друг на друга. У них была одна мысль: отчего же не приглашают их в село. Старик должно быть угадал их мысль, потому что прибавил с улыбкою:

- В нашем селе вам нельзя быть до времени. Да это сверх того отдало бы вас от города, где, чай, давно уж вас ожидают.

Старик поклонился и пошел по направлению к ближнему лесу. Братья, подумав, что это должно быть старообрядческое село, не хотели нарушать их обычая своим неуместным приходом, и решились сождать рассвета у церкви.

Но вот на востоке забрезжил свет. Окрестность постепенно как бы выходила из тумана. Взяв свои охотничьи вещи, они пошли по указанному пути.

При входе в лесок, они оглянулись на церковь и - остановились в изумлении. Вместо нового красивого храма стояла деревянная полуразвалившаяся церковь, почерневшая от времени, с разбитыми окнами. Высокие стебли травы, видневшиеся из-под снега, покрывали не

только крыльцо, но проглядывали даже во многих местах ветхой кровли. Все дышало мраком и запустением.

Братья посмотрели друг на друга.

- Неужели это та самая церковь, в которой мы слышали заутреню? - сказал Александр. - Глазам не верится.

- Я сам не могу понять этого превращения, - отвечал Федор. - Но, может быть, освещение придало этому храму тот чудный вид, который поразил нас ночью. Притом же я слышал, что старообрядцы берегут древность, как святыню, и если украшают церковь, то только внутри.

- Но посмотри. Все стекла выбиты, стены наклонились; а по этой траве, которая покрывает крыльцо, можно полагать, что нога человека тут сто лет не ходила.

- И странная вещь, - прибавил Федор, - сколько ни напрягаю зрения, кроме наших, никаких следов не видно. А ведь такая толпа народа могла бы протоптать порядочную дорожку.

- Это непостижимо! Я бы подумал, что все виденное нами был сон, если бы эта разрушенная церковь и ясное воспоминание о службе не противоречило этому. Не знаю, как ты, а мне даже страшно становится.

- Признаюсь, и я начинаю чувствовать беспокойство. Но пойдем скорее отсюда. Может быть, дорога успокоит нас, или мы узнаем разгадку этого чудесного превращения.

Перекрестившись на храм, братья молча пошли указанной тропинкой. Вскоре достигли они глубокого оврага, повернули вправо и через несколько времени увидели полуразломанный мостик. Все было так, как сказал старик, и через полчаса они вышли на большую дорогу, прямо к верстовому столбу.

Поблагодарив Бога за окончание своего пути, они разрядили винтовки и весело отправились в город, куда и пришли перед поздней обедней. Домашние осыпали их расспросами, но они на все вопросы отвечали: после, после, и стали переодеваться к обедне. По окончании службы оба они отправились в дом родителей невесты Александра, и разговорившись, стали рассказывать свои приключения. Федор хозяину и гостям, а Александр своей невесте.

- Удивительно, - сказал хозяин. - Если бы не вы, я принял бы это за сказку. Кажется, как коренной житель, где я ни шатался по окрестностям, а подобной церкви не только не видал, но и ни от кого о ней не слышал. Вот ты, матушка, не слыхала ли чего на своем веку об этой церкви, - продолжал хозяин, обращаясь к восьмидесятилетней старушке, своей родственнице.

- Слыхала, батюшка, слыхала, - отвечала старушка. Покойный отец мой говаривал, что где-то вблизи была в старое время церковь во имя Воскресения Христова. Церковь эта сгорела во время пожара, который выжег и всю деревню. Крестьяне расселились по другим местам, и церковь больше не возобновляли.

- Но ведь они видели не сгоревшую церковь, а только ветхую, - сказал хозяин.



- Так, батюшка, так. Но у Господа Бога нет ни старого, ни нового, ни целого, ни сгоревшего. Притом же покойный мой батюшка говаривал, что не раз бывали явления на тех местах, где стоял храм Божий. Мудрено ли, что Господь внял раскаянию двух душ христианских и сотворил чудо.

- Другим ничем нельзя объяснить этого случая, - сказал хозяин. - А вот по весне, бог даст, отправимся на розыски. Верно господа охотники не забудут к тому времени дороги.

Этим прекратился разговор о чудном храме.

Что ж сказать вам еще. Весною в один хороший день, все участники этого рассказа в сопровождении братьев отправились на розыски. В числе прочих лиц тут была и Лизанька, теперь уже жена Александра. Но сколько ни исходили лесу, они не нашли ни малейшего признака существования церкви. Даже та тропинка, по которой братья вышли на дорогу, и которая им была очень памятна, исчезла совершенно.

- Наш любезный Лесняк все-таки верен своей идее - таинственности, - сказал Академик, когда тот кончил свой рассказ о чудном храме. Но, признаюсь, я был бы очень недоволен, если б это видение оказалось сущест­венностью.

- Притом, как это предание народа, то естественная развязка отняла бы у него много поэтического колорита, - сказал Безруковский. - Народная фантазия имеет свои привилегии, и всякое объяснение холодного разума тут было бы пустой придиркой скептицизма. По мне пусть мечта будет мечтой, а действительность - действительностью. Лишь бы только эта мечта не нарушала тех вечных законов души, с которыми связано все наше существование.

- Совершенная правда, - отвечал Академик. - Кроме общего, так сказать, ощутимого порядка в явлениях мира, есть еще другой порядок мира высшего, к которому мы принадлежим бессмертной душой. И здесь-то разгадка всего, что носит название тайны или чудес на нашем языке. Но пока смерть или особый случай не раздернет средостения между нами и миром чудес, до тех пор будем довольствоваться одною мыслию явления, которая всегда светится в этом облаке над святилищем, и которой достаточно для того, чтобы согреть душу и раздвинуть пределы знания.

*Публикация текста осуществляется по изданию: "Живописный сборник замечательных предметов из наук, искусств, промышленности и общественной жизни". - СПб.: Издание А. Плюшара и В. Генкеля, 1857, с. 198 - 206.*

В конце 70-х – начале 80-х годов в Ишиме формируется колония из участников народнических революционных кружков. Здесь находится С.И. Бардина, известная всей России своей речью, произнесенной на «процессе 50-ти» (осуществила побег из ишимской ссылки в декабре 1880 г.), а также в течение ряда лет проживают И.Гурвич, Д.Ф. Руднев, А.Руднева, Н.Диоманди, М.В. Лаврова, писатели Н.Е. Петропавловский, И.И. Сведенцов. Здесь же провел большую часть своей сибирской ссылки и писатель Мачтет.



*Г.А. Мачтет.*

Григорий Александрович Мачтет (1852-1901), прозаик, журналист и автор ряда стихотворений, среди которых наибольшую известность приобрело «Последнее прости!..» («Замучен тяжелой неволей...»), считавшееся в течение долгого времени своего рода официальным траурным гимном нескольких поколений русских революционеров. Он был арестован в 1876 г. в Петербурге за участие в подготовке побегов политических заключенных и в 1878 г. после полуторагодового пребывания в Петропавловской крепости выслан в Архангельскую губернию (г.Шенкурск), откуда за попытку побега в 1879 году отправлен в Западную Сибирь, город Тюкалинск.

Прожив в Тюкалинске несколько месяцев, он начинает хлопотать о своем переводе в Ишим, где в это время отбывала ссылку Е.П. Медведева, судимая по «делу 50-ти». Мачтет знал ее раньше и переписывался с ней. Решив связать свою судьбу с Еленой Петровной, Мачтет обращается с официальным прошением к тобольскому губернатору о дозволении ему вступить в брак. Оно было получено не сразу, о чем и свидетельствует достаточно большое дело «О высылке в Тобольскую губернию государ-

ственного преступника Григория Мачтета и о браке его с государственной преступницей Е.Медведевой» из Тобольского архива<sup>1</sup>. Среди разнообразных бумаг, составляющих это дело, обращает на себя внимание послание матери ссыльной – Анны Медведевой, вдовы титулярного советника. 12 февраля 1880 г. она пишет из Москвы тобольскому губернатору:

«Ваше Высокопревосходительство

Простите матери осмеливающейся беспокоить Вас просьбой о своей дочери Елене Медведевой, живущей в городе Ишиме. Счастье детей дорого матери, дочь же моя находится от меня за несколько тысяч верст, больная и с теми только скудными средствами, которые я могу уделить ей от своего небольшого состояния, средствами далеко неудовлетворяющими даже самых необходимых потребностей жизни. Из этого Ваше Высокопревосходительство позволите увидеть, как должно было меня порадовать предложение сделанное моей дочери Григорием Мачтетом из Тюкалинска. Полагая, что жениться на моей дочери в ее теперешнем грустном положении может только человек имеющий искреннее расположение я спешу всепокорнейше просить Ваше Высокопревосходительство успокоить исстрадавшееся сердце матери Вашим разрешением на ускорение их брака и переехать кому-нибудь из них в город назначенный для другого, тогда я буду покойна хоть в том отношении, что моя больная дочь не одна и имеет около себя человека, готового всегда помочь ей в трудную минуту.

Простите Ваше Высокопревосходительство матери убитой горем и не откажите в просьбе оказать покровительство моей дочери и ее жениху. Для них каждый день ускорения будет истинным благодеянием, а мне на старости лет даст возможность спокойно прожить остаток дней моей жизни»<sup>2</sup>.

В марте 1880 года властями было принято решение перевести Г.Мачтета в Ишим, а 23 мая того же года окружной исправник Киселев доносил тобольскому губернатору, что «переведенный из Тюкалинска на житье в Ишим государственный преступник Григорий Александров Мачтет привезен в Ишим 19 числа сего мая месяца и над ним учрежден строгий полицейский надзор»<sup>3</sup>.

О приезде в Ишим сообщил своей сестре Марии в письме от 20 мая 1880 года и сам Григорий Мачтет: «Вчера лихая тройка

подкатила со мной к Леле... Я так полон теперь счастьем (вечным), что больше и не надо мне»<sup>4</sup>. А 27 июля 1880 г. в самом красивом храме Ишима – Богоявленском соборе, состоялся обряд венчания Григория Мачтета и Елены Медведевой.

Жизнь молодой супружеской пары в Ишиме была сопряжена с немалыми трудностями. Елене запретили преподавание музыки, а Мачкету – иностранных языков, и он вынужден был устроиться «подвальным» при складе купца Трусова. Но они были вместе и не боялись



*Г. Мачтет.*

*Е. Медведева.*

вместе и не боялись невзгод. В одном из писем к сестрам Мачтет писал о своей жене: «Она не умеет нюнить и, даже голодная, не изменяет расположения духа, а только потуже стягивается кушаком...»<sup>5</sup>.

О силе характера Е.Медведевой-Мачтет свидетельствуют и ее «объяснительные», которые ей приходилось писать всякий раз, когда она во время прогулок отдалялась от города даже на одну версту. Их можно видеть не только в уже цитируемом деле Тобольского архива, но и в новообнаруженном документе из канцелярии Ишимского окружного суда, хранящемся в Тюменском областном архиве под названием: «О самовольном увозе из г.Ишима в село Безруковское состоящей под надзором полиции политической Елены Мачтет крестьянином Астраховым»<sup>6</sup>. Обвиненная в желании тайно скрыться из Ишима, она пишет в июне 1884 г.: «... виновной себя не признаю, я ехала только до села Безрукова, с целью проводить знакомую, уезжающую в Россию, и, проводив ее, тотчас же вернулась обратно... нахожусь в ссылке уже 6 лет и думаю, что заслужила себе право на какие-либо льготы»<sup>7</sup>.

Ее здоровье, подорванное тюремным заключением и много-

летней ссылкой, ухудшалось с каждым годом. В одном из своих обращений к ишимскому окружному исправнику от 16 апреля 1885 года она просит разрешить ей проживание в течение предстоящей весны и лета в деревне Синицыной (Дятли), находящейся в семи верстах от Ишима, «ввиду необходимости пользоваться сосновым воздухом по совету врача»<sup>8</sup>. К прошению прилагалось свидетельство ишимского городского врача Бончковского, в котором «ишимской мещанке Елене Петровне Мачтет, 35 лет» рекомендовалось «для излечения имеющегося у нее хронического процесса в легких проживание в деревне с сосновым лесом»<sup>9</sup>.

Для Мачтета ссылка закончилась раньше, чем для его жены. Осенью 1884 года с него был снят гласный надзор, и он получил возможность служить в Ишимском окружном по крестьянским делам присутствии, а в 1885 году выехать из Сибири. В рапорте ишимского исправника В.Кондратовича тобольскому губернатору сообщалось: «Состоящий под негласным надзором полиции в городе Ишима политический ссыльный Григорий Александров Мачтет 18 августа из города Ишима выехал в Европейскую Россию»<sup>10</sup>.

Свой отъезд он не рассматривал как окончательный, надеясь, приислав в России постоянное место жительства и занятие, вернуться в Ишим за женой, болезнь которой неуклонно прогрессировала. Пытаясь добиться у власти смягчения участи своей жены, он посылает 5 августа 1885 года прошение начальнику Тобольской губернии, в котором есть следующие строки: «Неблагоприятные условия жизни и климата, медленно подтачивая здоровье и силы жены моей, довели ее теперь до чахотки. Теперь – она безнадежно умирающий человек, дни которого сочтены. По мнению врачей она может прожить еще несколько лет только в теплом морском климате Крыма или Кавказа. Об этих то нескольких годах жизни для нее я и прошу Ваше Превосходительство... Я прошу Вас исходатайствовать безнадежно умирающему человеку тепло, солнце и несколько лишних лет жизни, - прошу во имя человеколюбия, во имя всего того чистого и светлого, что отличает истинных христиан»<sup>11</sup>.

Положительное решение по рассмотренному прошению было принято через несколько месяцев по отбытии Григория Алек-

сандровича из Западной Сибири, а 12 декабря 1885 года Елена Мачтет получает «проходное» свидетельство, подписанное ишимским окружным исправником В.Кондратовичем, на «свободный проезд из г.Ишима в г.Кутаис Кутаиской губернии». На нем был указан маршрут ее следования из Ишима к месту назначения через Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Казань, Н.Новгород, Москву, Тулу, Орел, Курск, Харьков, Ростов, Владикавказ, Тифлис<sup>12</sup>. Но она преодолела только часть этого пути. На обороте данного документа можно прочесть: «Свидетельство предъявлено в охранном отделении Москвы 24 января 1886 года. Вследствие опасного состояния здоровья Мачтет оставалась для излечения в Москве. Болезненное состояние удостоверено врачом Сретенской части Гетье. Мачтет умерла в Москве. Начальник Московского охранного отделения».

Летом 1886 года к Мачтету, проживавшему в Твери под негласным надзором полиции, заехал американский публицист и путешественник Д.Кеннан. Вероятно, тогда Мачтет и передал ему свой портрет, а также изображение Елены Медведевой, которые тот опубликовал через несколько лет во втором томе лондонского издания своей книги «Сибирь и ссылка».

Годы, проведенные Г.Мачтетом в Ишима, были ознаменованы напряженной и плодотворной литературной деятельностью. Он создает здесь роман «И один в поле воин» (первоначальное название «Из невозвратного прошлого») и повесть «Блудный сын». Собственно сибирской тематике посвящены рассказы «Хроника одного дня в местах не столь отдаленных», «Мирское дело», «Вторая правда», «Сон одного заседателя», «Мы победили», в которых проявилась народническая идеализация патриархальных устоев деревенской жизни и крестьянской общины – «мира». Свои произведения писатель публиковал под инициалами Г.М. и Г. в столичных журналах «Неделя», «Отечественные записки», «Наблюдатель», «Русская мысль».

Они были замечены критикой, особо выделявшей рассказы «Вторая правда» и «Мирское дело», в которых, как писалось в рецензиях, нет «ни длинных фраз, ни лишних слов, ни цветов красноречия; несложное событие рассказывается без прикрас и претензий», но от которых «впечатление получается глубокое и длящееся»<sup>13</sup>.

Отметил эти рассказы и Д.Кеннан, писавший Мачтету: «Я уже успел прочитать «Рассказы из сибирской жизни» в той небольшой книжке, которую Вы были так любезны прислать, и остался очень доволен ими, в особенности рассказами «Вторая правда» и «Мирское дело». «Сон одного заседателя» тоже хорош, но мне больше понравились первый и последний очерки. Там есть очень много чувства и патетики в описании юноши, который умирает в тюрьме за убийство им не совершенное, и дает доктору горсть земли, чтобы тот бросил ему на могилу, и два рубля для Аннушки. Это художественно очень сильный эпизод, который верно отражает жизнь и русский характер.

«Мирское дело» - также очень трогательная история. Диалог Аксиньи и крестьян мира, зарождение их жалости и сочувствия и заключительная сцена – диалог Кузьки и Аксиньи – произвели на меня очень глубокое впечатление. Как только найду время, я надеюсь перевести оба этих рассказа и опубликовать их здесь, в Америке. Они делают Вам честь, мой дорогой г-н Мачтет. Не так часто бывает, что русский рассказ или очерк вызывают слезы на моих глазах, как это случилось с Вашими»<sup>14</sup>.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

1. ТФ ГАТО. Ф.152. Оп.8. Д.227.
2. Там же. Л.41.
3. Там же. Л.62.
4. Цит. по: Мачтет-Юркевич Т.Г. Предисловие // Г.А. Мачтет. Избранное. –М. ГИХЛ, 1958, с.15.
5. Цит. по: Физиков В.М. Г.А. Мачтет в сибирской ссылке // Ученые записки Омского педагогического института, 1968, в.36, с.57.
6. ГАТО. И-40. Оп.2. Д.323.
7. Там же. Л.18.
8. ТФ ГАТО. Ф.152. Оп.8. Д.141. Л.72.
9. Там же. Л.74.
10. ТФ ГАТО. Ф.152. Оп.8. Д.227. Л.203.
11. ТФ ГАТО. Ф.152. Оп.8. Д.141. Л.78 (об.).
12. Там же. Л.101.
13. Вестник Европы, 1888, № 7.
14. Неопубликованное письмо Д.Кеннана Г.А. Мачтету (публикация Е.И. Меламеда) // Русская литература, 1978, № 4, с.144.

В земледельческих приемах новоселы также сначала держались того, что они вынесли из России; иногда пытались унавоживать поля, переворачивать сено, пахать настоящим плугом залежи и сохой возделанные земли, но скоро бросили все это, приглядывались к старожилам и, наконец, все делали так, как они.

Относительно землевладения новоселы еще скорее усвоили сибирские порядки. Когда земля была утверждена за ними, они разделили ее по душам, с намерением поделить ее, когда будет нужно, через несколько лет; но шли года, а участки не переделывались; не переделены и теперь.

Ту же систему пользования, какая существует у старожилов, восприняли ново-локтинцы и по отношению к другим угодьям - лесам, лугам, выгонам, и проч. Оказались у них и вольные земли, но только ничтожное количество.

Итак, мы видим, что новая деревня не сливалась долгое время со старой, сибирской деревней, за исключением способов земледелия и форм землевладения, которые быстро усваивались новопришельцами. Они до последнего дня сохранили в неприкосновенности вынесенные из России обычаи и порядки. Старики, пришедшие уже сформировавшимися работниками, так и в могилу понесли лапти, и только молодежь мало-помалу, под давлением окружающего, подчинялась новым порядкам.

Теперь Ново-Локтинская имеет хороший вид; построенная на прекрасном месте, она весело глядит из-за зелени лесов, отражаясь в зеркальной поверхности окрестных озер. Половина домишек заменилась прочными избами, в которых введено разделение на две половины; наружный вид самих обитателей много переменялся. Молодежь, выросшую на месте, даже трудно отличить от сибиряков, от которых она заимствовала все, начиная от чисто выбеленной печки и вплоть до языка. Впрочем, нужно еще целое поколение, чтобы окончательно сгладить последние следы различия между Старой и Новой Локтинской.

*Публикация по изданию: Н. Петропавловский. По Ишиму и Тоболу (из путешествий и исследований крестьянского быта Западной Сибири) // Записки Западно-Сибирского отдела императорского русского географического общества, кн.8, в.1, Омск, 1886.*

## Вторая правда

Рассказ

Если вы думаете, что на свете всего одна «правда», вы рискуете, по уверению Кожина, понести разочарование и впасть в большие ошибки в жизни. Он думает, что их две и, что самое главное, они находятся будто бы в вечном противоречии друг с другом.

Прав он или не прав, это не мое дело, - я простой рассказчик и не намерен говорить ни про, ни contra. Во-первых, это завело бы нас слишком далеко, а я инстинктивно, по свойственной всем обывателям привычке, боюсь всякой «дали»; во-вторых, я не адепт «двух правд». Что бы я ни говорил, как бы ни доказывал, что бы ни приводил в подкрепление своих доводов, Кожин будет стоять на своем и на все мои аргументы будет совать мне «свой личный опыт».

Вот об этом-то «опыте» я и хочу рассказать вам.

Понятно, было время, когда Кожин, как и все, имел только «одну» правду в своем распоряжении. Он был тогда весел, смеялся, волосы его вились, глаза метали искры, так что дамы только складывали ручки в сладкой истоме при одном его приближении. Этот период обнимал всю его университетскую жизнь и первые месяцы службы городским врачом в N-ском округе, куда его послали «отбывать» университетскую стипендию. «Правда», единственная «правда», заключалась для него тогда в науке и строгом исполнении своих обязанностей. Он знал, что у нас в Сибири царил произвол, и горел жаждой все «обличить», все «раскрыть», везде дать возможность «доброу» всплыть наверх, как маслу. Его честное, правдивое сердце билось в груди для всех и меньше всего для него самого, потому что о себе, собственно, он никогда не думал.

«О-б-о-тре-тя! По-хо-ло-деет! Дайте срок!» - говорили более опытные, глядя, как сломя голову летел он в распутицу «на вскрытие» какого-нибудь «скоропостижного» или торопился к какой-нибудь бабе, которой «подкатило», забывая и ужин, и дам, и начатый разговор. «Обот-рре-ет-ся, надоест!»

И он действительно обтерся, похолодел, но только не оттого что «надело». Его сломила обретенная им «вторая» правда. Если и с одной правдой, говорят, жить иногда туго и во всяком случае хуже, чем без всякой, то отсюда отнюдь не рискованно заключить, что с двумя, пожалуй, и еще туго. Да к тому же, если обе они еще находятся в противоречии друг с другом, так ведь положение человека сильно смахивает уже на то, в каком должен находиться двоеженец в момент встречи обеих жен. По крайней мере не удивительно, что с обретением второй правды Кожин побледнел, осунулся, стал мрачен и зол; волосы его вылезли; глаза потухли; а дамы перестали находить его интересным. Он от всех заперся, захандрил, а иные уверяли, что даже «запил». Но это оказалось вздором, пущенным старым аптекарем в отместку за штраф, которым поплатился этот милейший партнер «в винт», по на-

стоянию Кожина, за чересчур высокую оценку медикаментов. Жена начальника местного батальона, танцевавшая в молодости кадрили с губернским психиатром и считавшая себя поэтому компетентно некоторым образом в психиатрии, таинственно уверяла, что у Кожина неладно «тут». Она тыкала беленькими, пухлыми пальчиками в свой крошечный, с двумя красивыми «коками», лобик. Боже меня избави восставать против «авторитетов», но я думаю, что сердце у Кожина осталось прежнее: он по-прежнему готов был лечить всех безвозмездно, и что не наткнись он только на эту проклятую «вторую» правду, то не было бы ни его насмешливости, ни раздражительности, ни хандры, ни нелюдимости и он по-прежнему оставался бы в глазах всего нашего избранного N-ского общества «весьма приятным человеком».

История этой «второй» правды начинается с темного зимнего вечера. Зима была лютая, снежная; неделю дул уже не устывая «сиверко» и на дворе все стояло 40 градусов по спиртовому термометру Реомюра. Кожин сидел в своем скромном кабинете и внимательно перечитывал заседательский рапорт о «найденном, несомненно замерзшем теле», на вскрытие которого он собирался завтра утром. Окружный врач, пользуясь «рьяностью» Кожина, часто отлынивал по болезни, и тот с жаром, насколько не тяготясь, исполнял его обязанности по округу.

«Что за черт; отчего он так категорически утверждает: «несомненно замерзшем»? – подумал Кожин и недоверчиво покачал головой.

Он пожил уже достаточно в Сибири, чтобы понимать тайный смысл всех этих «бумаг», «рапортов», «отношений» и т.д., иногда не совсем согласных с истиной. Личный опыт и разные «столкновения» точно нашептывали ему, что все эти продукты канцелярской риторики нужно понимать всегда наоборот, чтобы не попасть впросак. Он перечитал еще раз, собрал затем свой «секционный» набор, осмотрел его, уложил в крохотный чемоданчик и принялся пить чай.

В дверь постучали.

- Не помешаю-с? – спросил чей-то вкрадчивый, сильный голос.

- Нет, нет, - войдите!

Вошел осторожно, как-то крадучись по-кошачьи, заседатель, приятно улыбаясь всею своею хитрою лисьей физиономией.

- Чай пьете-с?..

- Пьем!.. И вам стаканчик?

- С благодарностью! – Заседатель по-офицерски щелкнул каблукми.

Доктор налил.

- Так завтра рано думаете отправляться? – осведомился гость, точно так себе, «для разговору», мешая ложечкой чай.

- Чуть свет... А что?

- Да так, собственно, зашел справиться, не вместе ли поехать? Я ведь тоже ч-у-у-ть свет.

- Ладно! Конечно, вместе лучше, - согласился доктор. – Далеко это?

- Н-е-ет! Верст так сорок, не больше.

- Часов в шесть доедешь?

- До-е-дешь!

- То-то, как бы засветло, а то ведь дни короткие, вскрытие трудно производить, - сказал доктор.

Заседатель как-то успокаивающе улыбнулся и махнул рукой.

- Эх! Да что и вскрывать-то там, - напрасный труд, право-с! Вы и так работой убиваетесь, даже жалко вас, - заседатель выразил на лице сожаление, - право, жалко! Дело там чистое, замерз! Шел – и замерз! Видите, какая стужа! – он ткнул в термометр.

- «Взял, покрывает, стянул!» - мелькнуло в голове Кожина, и он чуть даже вслух не высказал своей догадки.

- Одна формальность! – продолжал между тем гость, - для формы! Посельщик, знаете, вор! Сколько про него дел у меня перебивало, покою не было просто! В тюрьме сколько раз сидел, да за недостатком улик... - Заседатель сделал выразительную гримасу и щелкнул пальцем. – Знаменитый вор! Смирнов!..

- В больнице тюремной был у меня какой-то Смирнов, - вспомнил доктор.

- Ну-ну, вот-вот!.. Черный такой, высокий. Первый разбойник! Чуть попадет в тюрьму, сейчас: ох, ох, в больницу! А там, за недостатком улик, и на волюшку. Знаете наши суды? – подмигнул заседатель доктору.

- Неужто так ловко концы прятал?

- А-а-ррр-тист! Одно слово, артист, ей-богу! Из рук лошадей уводил и чист выходил... Зам-ме-ча-тельный артист!

Доктор лег спать в убеждении, что вскрытие произвести нужно весьма тщательно.

Труп замерзшего «артиста» был найден в глухом лесу, на небольшой, круглой полянке; но его заранее еще, по распоряжению заседателя, перенесли в деревню, отстоявшую на добрую версту от того места, и поместили в пустой избушке. Когда приехали доктор с заседателем, день клонился уже к концу; хотя был всего второй час пополудни, наступили густые, серые зимние сумерки. Кожин всю дорогу мысленно проклинал заседателя, который сначала долго собирался, так что они вместо пяти часов утра, как было условлено, выехали только в половине восьмого, а затем при каждой «перепряжке» подолгу беседовал, точно нарочно, о каких-то «делах» с мужиками. К тому же и верст оказалось не сорок, как уверял заседатель, а пятьдесят с лишком.

- Трудно, знаете, сказать наверное, - оправдывался заседатель, - не почтовая ведь дорога – проселок! Кто его мерил? Одни так считают, другие иначе.

Но такое объяснение мало действовало на подозрительного Кожина, все более убеждавшегося, что заседатель хитрит и нарочно подгоняет дело к сумеркам, когда легче ошибиться. В ожидании, пока заседатель собирал «понятых», доктор нервно прохаживался из угла в угол по чистой, светлой горнице избы, в которой они вместе остановились. В горнице, кроме Кожина, сидел еще, мрачно насупившись, сам хозяин, бодрый, крепкий старик, лет шестидесяти, с чрезвычайно умным, энергическим лицом.

- Твое это ружье, дедушка? – спросил вдруг доктор, сам не зная почему, останавливаясь перед стоявшим в углу ружьем.

- Мое... - глухо ответил старик, и доктору показалось, будто он вздрогнул и переменялся немного в лице.

- А далеко бьет?

- Хватает... - неохотно ответил старик, нахмурясь и подозрительно оглядывая доктора.

Тот, впрочем, не придал этому ни малейшего значения и даже совсем забыл этот короткий разговор. Придя в «покойническую», он застал там уже фельдшера и понятых, занятых раздеванием покойника, в котором он сразу признал лежавшего некогда в тюремной больнице Смирнова.

- Тот самый, - сказал он заседателю, - узнаю! Был у меня в больнице...

- Как же, как же! – как-то убеждающе подхватил заседатель. – Известный вор! Сколько раз сидел...

- Греха от него что было! – точно про себя, произнес кто-то из понятых.

- Шибко обижал! – вздохнув, поддержал другой.

Доктор внимательно следил за процедурой раздевания.

- Есть на теле что-нибудь... знаки? – спросил он фельдшера.

- Ничего-с, чисто! – отчеканил тот.

- Пам-милуйте, какие знаки! Очевидно замерз! – точно обиделся заседатель, - на промысел поди шел, - ну, а бог-то стужей пристукал, - не земным судом, так небесным.

Понятые перекрестились.

- И ничего подозрительного на месте не было, никаких следов? – обратился доктор к заседателю, начиная колебаться в своих подозрениях.

- Какие следы!.. Ничего, ни пятнышка! Лежит на снегу – и только...

Покойника раздели наконец. Заседатель сел у окна писать протокол.

- Лета? – диктовал доктор, внимательно рассматривая труп. – По наружному виду?.. За тридцать, а? – обратился он к понятым.

- Будет, будет, в самый раз! – согласились те.

- Рост?

Фельдшер прикинул тесемку.

- Два, семь вершков! – продолжал диктовать доктор.

Заседатель записал.

- Знаков насилия нет? – поспешил он уже сам, готовясь записать «нет».

- Пойдите! – доктор окинул труп взглядом и провел рукой от ног до головы.

- Кажись, нет... Поверните! – сказал он фельдшеру.

Фельдшер стоял против доктора, по другую сторону стола. Он приподнял от себя труп с натугой, точно подымая невесть какую тяжесть, и, оглядев, крикнул: «Нет».

Заседатель быстро, но четко, написал: «Нет».

Подозрения Кожина рассеялись; он сам думал, что Смирнов замерз, и потому только слегка приподнял труп с своей стороны и оглядел часть спины; там действительно, как говорил фельдшер, ничего не было. Он ошупал голову и затылок, - голова цела.

- Ну, вот видите, несомненно замерз! – весело вскочил заседатель. –

Что тут возиться за вскрытием! Поедем-ка лучше! Одна пустая формальность!

- Что тормошить покойника понапрасну! – степенно перекрестились понятия.

- Дело чистое-с! – равнодушно, как-то зевая, поддержал фельдшер.

Кожин колебался; действительно, одна пустая формальность. В протоколе можно написать, что вскрывали, - это часто практикуется.

- Поздно ведь. Когда в город вернемся? – убеждал заседатель.

- Как же так? – нерешительно спросил доктор.

- Пустяки! – заседатель махнул рукой.

Но в докторе почему-то шевельнулись прежние подозрения; он снова подошел к труп: пощупал ребра, - целы, осмотрел шею, - все как следует. Действительно замерз!

- Поверните-ка спиной, - сказал он фельдшеру так, «для очистки совести».

Тот покраснел.

- Поверните!

Фельдшер нерешительно и робко приподнял труп.

- Ничего нет! – сказал он, оглядев.

- Поверните совсем! – И доктор обеими руками повернул труп.

Все, кажется, было ладно.

На дворе начинались уже сумерки, к тому же заседатель почти совсем заслонял собою окно.

- Свету мало, отодвиньтесь-ка от окна! – сказал ему доктор.

Тот неохотно подвинулся.

- Все ладно, действительно, - говорил Кожин, поводя глазами по трупу, - все... только...

Фельдшер покраснел и насторожился; заседатель вскочил и точно нечаянно закрыл собою окно.

- Позвольте, - крикнул ему доктор, - отодвиньтесь!.. Это что? – указал он пальцем на спину у позвонков.

- Чирей-с! – глухо и робко отозвался фельдшер.

- Какой чирей! – доктор наклонился и пощупал пальцем, - какой чирей! Это рана!

Все вздрогнули. Понятые как-то потоптались на месте, заседатель разнял руки и покраснел, бормоча:

- Где, где, какая рана?

Фельдшер глухо и робко кашлял в сжатый кулак.

Доктор ничего не видел и не слышал, - он уже держал в руках нож и щипцы.

- Вот как замерз... вот! – крикнул он торжествующим голосом, вытаскивая пулю, - вот!

Эффект был ужасный: все, кроме доктора, стояли как пораженные громом.

- Рубашку, где рубашка? – кричал между тем Кожин, сам доставая снятую с покойника рубашку и осматривая ее – следы смывы, это несомненно, да и крови было мало, - поди всего несколько капель, - мало-пулька!

- Я-с... право-с... не знаю-с... не подозревал! – бормотал растерянно заседатель.

- Не подозревали! – презрительно улыбнулся Кожин. – Ну, да все равно, всплыло, - теперь не скроешь!

Заседатель вдруг разразился гневом и рьяностью.

- О-о-о! Я им дам! Я все открою... Кто тут? – неистово грозил он неизвестно кому пальцем. – Я... Помилуйте, преступление, а я и не подозревал! Ах ты!.. Спасибо вам, что открыли... А-ах ты!

- Господи помилуй! – крестились понятия.

Доктор лихорадочно бегал из угла в угол в ожидании, пока подадут лошадей, и ликовал, что не дал заседателю «скрыть концы». Что, в самом деле, если бы все поступали как должно, по совести, - как хорошо жилось бы на свете! Ни убийств, ни грабежа... врагов бы даже не было на свете!..

Заседателя не было, он о чем-то говорил на дворе с мужиками, «следов искал», как выражался он; в горнице сидел, кроме доктора, только старик хозяин все в той же мрачной, неподвижной позе, нахмутив брови и тяжело, по-стариковски, сопя. Доктор, впрочем, его не видел, - он все ликовал, все носился с своими розовыми думами.

- Барин, а барин, не губи!..

Прямо перед доктором стояла строгая фигура старика хозяина.

- Кого... что? – удивился он.

- Нас, мир не губи, не путай. Скрой это дело! Затягают нас, в конец разорят, - и старик повалился в ноги.

- Бог с тобой, дедушка, что ты! – растерялся, весь вспыхнув, доктор, делая усилие поднять старика.

- Не губи, барин, пожалей! – продолжал тот глухо, кланяясь в землю, причем седая борода его расплзлась по полу веером. – Не губи!.. Не корысть, а, как перед богом, мирское дело тут... Скрой!

Доктор понял, что его просят «скрыть», и возмутился.

- Я не могу скрыть преступления! Тебе-то что же тут?

- От мира прошу, - продолжал старик, - потому мирское, слышь, дело было. Миром дело решили, по правде, по жеребью, кому выйдет. Барин, не губи мира!

Доктор в первый раз за всю жизнь слышал подобное. Преступление – не преступление, «без греха», «не корысть», «миром», «по жеребью». Что это такое? Он и понимал и не понимал в то же время.

- Кто же убил? – спросил он, сам не зная зачем.

- Никому этого мир не скажет, барин, разве богу одному. Мир убил, по жеребью, слышь. Вор он был, разбойник, - житья от него не было, управы. Грабил, обижал.

Доктор все больше терял почву под ногами.

- Вы могли жаловаться! – нерешительно, точно оправдываясь, процедил он сквозь зубы и сам покраснел сейчас же.

- Богу, что ли? – с горечью подхватил старик. – Жаловались, молились, чтоб уберег, но, зная, прогневали господу, - не было сладу! Начальнику сколько раз представляли: посадят и выпустят!.. Он только пуще грабил.

Доктор дрожал от волнения. Что ж он так ликовал глупо?  
- Заседатель добрый барин, - продолжал старик, точно желая этим ободрить доктора, - уломали, сто рублей миром собрали.

- А-а! – протянул доктор, поняв теперь роль заседателя.

- И тебе, не постоим, соберем! – подхватил старик, по-своему объяснив восклицание доктора. – Последнее отдадим, рубаху снимем, не губи только мира, не обижай мужиков.

- Я, я... мне не нужно... не продаюсь! – то бледнел, то краснел доктор, растерянный, взволнованный. – Встань, полно!..

- Больше дадим, не постоим! – умолял старик, не вставая. – С ребят снимем, с баб; не губи, барин!

Это было слишком для Кожина. Он дрожал, растерялся; голова его закружилась; сердце как-то болезненно сжалось... Что-то новое, неизвестное до сих пор в одно и то же время туманило и освещало мозг. Мысли путались и кружились, как пчелы на солнце; он сам готов был разрыдаться. Минута, две, и он бы, может быть, разорвал свой протокол, но тут, как нарочно, вошел заседатель.

- Что тут у вас? – раздался его лисий голос.

Чары исчезли, - доктор опомнился. Старик быстро поднялся на ноги.

- Поди просят «замять»? – подмигивая, продолжал заседатель и вдруг, перейдя в жалобный, просительный тон, добавил тихо: - что ж, люди, знаете, бедные, суд разорит. Да и ничего не выйдет, - убийцу не выдадут. Мир ведь тут, знаете. Одна проволочка только... Все равно придется предать дело воле божией!

И он вздохнул.

Доктор опять дрожал, но уже от негодования.

- Много вы получили «добавочного» к полученным уже ста рублям за это ходатайство? – резко спросил он, глядя на него в упор.

- Я, я... Что вы? Какие сто рублей? Разве я брал от кого-нибудь? – обернулся заседатель к старику.

- Не слышал, - ответил тот.

Доктор посмотрел на старика и встретил такой злобный, полный ненависти взгляд, что невольно опустил глаза. Он понял, что старик отпрется от всего. Бледный, расстроенный, шагал он из угла в угол, не обращая внимания на заседательское ворчанье. Неужели ему участвовать в сделке с этим?.. Он с презрением посмотрел на заседателя... Ни за что! Понес же его черт вскрывать, - пусть бы вскрывал «окружной»! Доктор плюнул и, выбежав на крыльцо, закричал: «Лошадей!» - но их, как нарочно, не подавали. Он вернулся в горницу и снова зашагал нервно, ни на кого не глядя.

Заседатель ворчал о каких-то «врагах», по злобе распускающих про него «клеветы». Упомянул, что мог бы жаловаться «за оскорбление», но не хочет «дрязг» и т.д., а затем стал проявлять необычайную энергию и рьяность. Схватил протокол, пробежал его, погрозил, что он кому-то «задаст», и, заметив вдруг среди вещественных доказательств пулю, подбежал с ней, вероятно, в безотчетной рьяности, к стоявшему в углу ружью.

- Пришла! – не своим голосом закричал он, примеряя пулю к дулу, причем глаза его хищно заблестали, - смотрите, пришла!

Доктор невольно остановился, - пуля замечательно приходилась.

- Пришла, а?

Заседатель просто захлебывался. Он напал на «след», и покрывать было уже незачем.

- Эй ты, борода, гляди, видишь?.. Твое дело? – сверкая глазами, обратился он к старику.

Старик стоял смертельно бледный.

- Сознавайся, говор-р-ри! – наступал заседатель, сжимая кулаки. – Говор-р-ри!

Старик стоял молча, точно обдумывая что-то.

- Зак-ккую!

- Закуй, - степенно и медленно ответил старик, - закуй! Только за что? Все ружья у нас одинаковы и пули одни!

Наступило молчание.

- Правда, - грустно вздохнул заседатель, - эти «малопульки» все одного калибра, черт возьми!

Но вдруг он опять оживился и стал осматривать пулю. Он вспомнил, что сибирские охотники часто метят свои пули!..

- Стой! – закричал он, найдя метку. – Покажи-ка свои пули!..

Старик снова побледнел и не двинулся с места.

- Покажи, где? – кричал заседатель, обводя угол глазами, и сам содрал с гвоздя простой охотничий мешок.

Он высыпал на ладонь все пули; все оказались с теми же метками.

- А-а-а! – радостно закричал он. – Кандал-лы!!

.....

Когда доктор уезжал, - он уехал один, - его провожали визг и вой сбежавшей родни старика. Старик молчал, только набожно крестился и тихо плакал. Какой-то туман заволакивал глаза Кожина всю дорогу, так что он почти не различал ничего; зато слух его был напряжен чрезвычайно. Даже, подъезжая к городу, он, казалось, явственно слышал плач и рыдания деревни.

Доктор сделался какой-то мрачный, так что все невольно спрашивали его при встрече: «Что с вами?» или: «Как ваше здоровье?» Он побледнел, осунулся, никуда не ходил, а все возился в своей больнице. На пятый день его зачем-то потребовали в полицейское управление для какого-то освидетельствования. Он явился, быстро сделал все, что требовалось, и взялся было за шапку, как его вдруг остановил исправник.

- А знаете, тот старик-то ни при чем! – сказал он, наклоняясь к нему. – Убийца – другой.

- Как? – удивился доктор.

- Да! Сам пришел и повинился. К тому же и свидетели показали, что старик несколько дней подряд не выходил из дома.

Доктор почувствовал что-то вроде облегчения и удовольствия.

- Как же пули-то?

- А очень просто. Убийца взял ружье у старика. Все обнаружилось; да вот читайте!



И он обязательно подсунул ему дело.

Доктор прочитал протокол допроса.

«Парень, сирота, 19 лет, Роман Петров, сам добровольно сознавался в убийстве поселенца Смирнова. Ружье он выпросил у старика «пострелять», подстерег Смирнова в лесу и убил его, имея на него злобу за уворованных у него лошадей». В заключении стояло, что никто его не подговаривал, не учил, не просил, а он сам, по своей воле, совершил преступление. Под протоколом стояли написанные каракулями: «Роман Петров».

- Ну? – спросил исправник.

Доктор не ответил, а только пожал плечами.

- Сомневаетесь? Я и сам, признаться, того... думаю, не подставной ли. Бывает. Я слышал, что у них там дело миром было, по жребию, да что поделаешь! Сознание, да и показание свидетелей... Впрочем, я еще спрошу его. Приведите арестанта! – крикнул исправник.

Ввели молодого парня, высокого, стройного, с бледным, правильным лицом. Он вошел смело, свободно, без всякой робости, с какою обыкновенно входят арестанты. Глаза его, не то голубые, не то серые, светились такою добротой и мягкостью, что как-то странно было видеть его с конвоем.

- Послушай, - обратился к нему исправник, - правду ли ты говоришь? Не берешь ли ты на себя чужую вину? Ведь это грех.

Лицо парня передернуло, глаза его как-то беспокойно забегали, он точно вздрогнул, но быстро оправился.

- Мой грех, мое дело!

«Нет!» - промелькнуло молнией в голове доктора.

- Вон доктор говорит, - исправник указал рукою на доктора, - что слышал, будто это у вас мирское дело было, по жребию.

Доктор не спускал глаз с парня. Парень вздрогнул, сильно переменялся в лице, но голос был спокоен, только глаза блестели страшной, глубокою ненавистью, когда он повернулся к доктору.

- Зачем мир путать, барин, одна напраслина. Никакого мирского дела не было, сам я... Мое дело. Не путай!

Его увели в острог.

Как ни старался доктор рассеяться, ему часто вспоминались и мольбы старика: «мир тут», «мирское дело», «без греха» и т.д., и бледное лицо Романа Петрова, с его полным ненависти взглядом. Сколько раз ни подъезжал он к тюремной больнице, всегда казалось ему, что Роман Петров смотрит на него сквозь решетчатое окно второго этажа. Было ли это действительно его лицо, или другого арестанта, но доктор был уверен, что это непременно он. Ему становилось жутко, и он быстро перебежал тюремный двор.

Стоя вечно у окна, не удивительно, что Роман Петров достоялся до чахотки. Раз, когда доктор был в тюремной больнице, четыре человека внесли его в палату, обессиленного, исхудалого, бледного, с запекшеюся на губах кровью.

Доктор наклонился к нему, чтобы исследовать.

- Оставь... не мучай! – глухим голосом прошептал больной. – Оставь.

Доктора покорило от этих слов, но он все-таки выслушал его; оказалась чахотка.

- Отдельную палату ему! – сказал он фельдшеру.

- Барин, пусти назад меня, пусти! – взмолился больной.

- Зачем? Ведь ты болен?

- Нет... так только хворость... Перемогусь я там.

- Не могу. Тебе лучше будет здесь, увидишь.

Доктор говорил бледный; его что-то мучило, давило, и он чувствовал себя неловко.

Весь день и всю ночь не давал ему покоя бледный призрак Петрова.

На другой день, придя в больницу, он узнал, что больному хуже, что он ничего не слушает, выливает тихоньку лекарства и, чуть отвернется сторож, карабкается к окну.

- Зачем ты это делаешь? – мягко спросил его доктор.

Петров молчал, только из больной груди его выходили с каждым вздохом глухие хрипы.

- Хуже тебе?

Доктор взял его руку.

- Оставь, барин, - зарыдал больной и из глаз его неудержимо покатились слезы, - оставь... пусти!

Доктор сидел как на иголках.

- Успокойся, - заговорил он мягко, - успокойся! Тебе нужно лечиться.

- Зачем? – глухо спросил Петров, - все равно пропадешь... Скорей бы только... Ах!..

- Слушай! – наклонился к нему доктор, сам весь дрожа и ничего не видя от какого-то тумана в глазах, - слушай! – прошептал он дрожащим голосом. – Я все сделаю, все, что могу; я... я... слушай! Ведь не ты убил? Тебя выпустят...

Больной вздрогнул. Слезы застыли на глазах, блеснувших враждой и злобой.

- Барин! – его голос прерывался хрипами и глухим кашлем. – Барин, не смущай... не путай! – поправился он, приподнимаясь, - мое дело это, мое!..

И, обессиленный, он упал на подушку.

Доктор пустил в ход все свое искусство, все знание. Не жалея собственных средств, он окружил больного самым тщательным уходом, почти изысканным комфортом. Но ничего не помогло.

Был тихий летний вечер. Сквозь решетчатое окно доносилось, замирая, последнее щебетанье птичек и чей-то разговор на тюремном дворе. Слышались мерные, ровные шаги часового. Розовые лучи близкого заката багрили и золотили белые стены больничной палаты. Доктор, бледный, взволнованный, чуть не плачущий, стоял над Петровым, зорко всматриваясь в него, и щупал пульс. Петров лежал, тяжело дыша, глядя вверх бесцельно, безучастно.

- Не нужно ли чего? – спросил доктор.  
- Попа бы! – отрывисто, сухо отвечал больной, не глядя.  
- Я приказал... Нет, для тебя... может, еще чего-нибудь? – И дрожащей рукой доктор взял его холодную, костлявую руку.  
- Ты? – удивительно спросил больной.  
- Да, я! Я сделаю. Скорей! Но что нужно сделать?..  
Напоминание ли обо всем, что сделал для него доктор, близость ли смерти, или в тоне голоса и глазах Кожина было теперь что-нибудь особенное, только больной в первый раз за все время взглянул на него без вражды, мягким, добрым взглядом.  
- Спасибо! Бог тебе... - чуть слышно проговорил он.  
Доктор сжал его руку и сел, потому что ноги его подкашивались.  
- Что же?  
Худой, костлявой рукой больной вытащил из-под подушки горсточку родной, деревенской земли, завернутую в грязную тряпочку, и положил ее доктору на руку.  
- В могилку! – чуть слышно прохрипел он.  
Кожин взял ее машинально. У него захватывало дыхание, а в глазах пошли темные круги.  
Петров закашлялся. Он отвернул полу халата и стал шарить длинными худыми пальцами в подкладке.  
- Я помогу! – сказал доктор, - стой! – И он вытащил из-под подкладки две рублевые бумажки и белый бумажный платок.  
- Это?  
Больной кивнул скорей глазами, чем головой.  
- В деревне... у нас... - глухо хрипел он с тяжелой одышкой, - Аннуш-кой звать... Се-ли-фон-то-ва...  
- Ей? – спросил доктор.  
Петров опять кивнул.  
Оба они сидели молча, не глядя друг на друга. Больной смотрел куда-то вдаль, тупым, безучастным взглядом, доктор держал его руку и не видел ничего; слезы туманили его глаза. Вечер догорал, стены окрашивались в темный пурпур; больной заметался в беспокойстве.  
- Попа бы!..  
Опять наступило молчание. Больной стал спокойнее и дышал легче, - ему точно лучше становилось. Вдруг он повернул к доктору глаза и посмотрел на него долго и внимательно.  
- Слышь? – прошептал он.  
Доктор нагнулся.  
- Его без греха, слышь, без корысти убили...  
Доктор понял кого.  
- Миром, - продолжал шепотом больной, точно исповедуясь и дыша легче, без хрипов, - мир порешил, потому обида от него была!  
Тот наклонился еще ниже.  
- Не я... не мое дело... Я за мир пошел, чтоб не тягали...  
Кожин сжал его холодную руку.  
- За мир!.. Старика жалко было... Семья большая, а я один... только Аннуш-ка...

Умирающий заметался, усиленно глотая воздух. Доктор, вскочив, приподнял его голову, которая уже плохо держалась на шее.  
- За мир, правдой... - лепетали холодевшие губы.  
Доктор очнулся, когда явившийся священник стал читать отходную...

## Мирское дело

*Бытовой очерк*

Молодой парень лежал неподвижный и окровавленный. Было несомненно, как день, что он уже никогда не встанет, по крайней мере в здешней юдоли плача, скорби и... конокрадства, которого он был, правду сказать, главным героем. Застывшее в какой-то неестественной, конвульсивной позе тело, синеватая трупная бледность, пятна запекшейся крови, а главное, не то сконфуженный, не то мрачный вид и полный какой-то затаенной радости шепот всей Камышинки ясно свидетельствовали, что он мертв, мертв несомненно.

Говорили, что он был в более или менее близких отношениях с чертом, который ему покровительствовал. По крайней мере почти все объясняли именно этим, что ему сходило с рук все, что бы он ни натворил, ни «набедовал». Если некоторые скептики и кивали в сторону «заседателя»<sup>1</sup>, находя, что приплетать тут черта незачем, то таким «желторотым» или «соломенным головам» объясняли, что заседатель, мол, заседателем, а черт чертом и что путать одного с другим не следует, тем более что без черта тут никак не обходилось. Правда ли это, или неправда, но несомненно, что Ваське Рыжему сходило с рук все и что сам он только скалил свои белые зубы, когда его громко обзывали конокрадом.

С тех самых пор, как злосчастный рок принес его в «партии» из-за Урала, а волею местных судеб он был «приписан» к Камышинке, в которой, собственно, не жил, - он жил везде и нигде, - никто не знал от него покоя. Трепетала не одна Камышинка, трепетали и «карагайцы», и «огневцы», и «васильковцы», - словом, трепетала добрая часть смежного с Камышинкой N-ского округа. Кони и «скогинка» исчезали как дым, без следа, точно проваливались в землю... Получать их обратно можно было только «милостью» Васьки, уплатив за эту «милость», конечно, приличную сумму и предварительно присягнув на образ в «строгом молчании». Впрочем, последнее была одна пустая формальность, так как одного шепота Васьки: «Молчи, - не то...» - и т.д., было вполне достаточно, чтобы не только зажать всем рты, но и привести самого храброго человека в ужас и трепет. О, он умел «отплачивать»!

И вот теперь лежит он мертвый, неподвижный, холодный на пустынном выгоне, недалеко от большого стога сена. Очевидно, он лег здесь не по своей воле, - об этом красноречивее всего говорили кровавые пятна и простреленный навывлет правый глаз, или, вернее, зиявшая вместо него черная яма с запекшейся по краям кровью... Чья-то смелая, твердая рука, стрелявшая, может быть «в нос» белку, чтобы не

портить шкурки, несомненно уложила его из «малопульки» на этом сером, покрытом еще кое-где тающим снегом выгоне. Холодный ветер шевелит складками его красной кумачной рубахи; мелкий дождик сыплет на него водяною дробью; низкие, лохматые тучи кружатся над ним в беспорядке; вороны каркают, в сладостном любопытстве перелетая со стога на дерево и обратно; собравшиеся все от мала до велика камышинцы стоят понуро и мрачно и вместе с ветром, дождем, тучами, воронами как будто недоумевают: «Чье бы это дело?», «Чей бы грех?»

Конечно, этого не знал никто! Если у длинного Кузьки, лучшего стрелка во всей округе, и у многих других мужиков покойник и угнал было недавно целый десяток лошадей, который они общими силами «выкупили» у него за семьдесят рублей, то ведь это, понятно, ровно ничего не значит, - первый, что ли, раз «угонял» он лошадей? Как и всегда, Васька беспрепятственно пропил по всем смежным кабакам последний «выкуп» до копейки с какими-то темными и «расейскими» приятелями, и нет ни малейшего основания утверждать, чтобы это последнее проявление Васькиного «героизма» явилось каплей, переполнившей чашу терпения. Правда, глупая, болтливая Секлетя (известно, баба) закричала было: «Ой, батюшки, Кузькино это дело», - но ведь ее немедленно же обозвали сорокою, а старый Софрон, муж глупой Секлетей, самыми убедительными, хотя, правда, немного устаревшими приемами педагоги доказал ей основательно, какой это страшный порок «неосновательная болтливость». Что же из того, что Кузька чистил «малопульку», шептался со «старичками», а на миру-де кричали: «Пора, братцы, своим средством»? Во-первых, какой хороший охотник не чистит своей винтовки, а во-вторых, мало ли что ни говорится на миру, так бабе-то уж мешаться в это ни в каком случае не следует. Что же касается до раздавшегося ночью грохота, похожего на выстрел, то никто, положительно никто из камышинцев его не слышал и сама Секлетя, выйдя после «разъяснений» Софрона на улицу, уверяла, что ей только так приснилось. Какой такой выстрел?.. Может, сам как-нибудь человек ушибся, - мало, что ль, расшибаются-то спяна?

Кто первый из камышинцев увидел Ваську в таком неестественном положении, потонуло во мраке. Если принять во внимание, что никому не может улыбаться перспектива являться в таких случаях первым, станет понятным, почему выходило так, что «первым» его никто не увидел... Один шел по дрова, когда и узнал от людей, что... и т.д.; другой ехал за сеном, третий вышел «так», четвертый, пятый – словом, каждый узнал от «других». Если бы какой-нибудь сомневающийся скептик, - в чем только иные люди не «сумлеваются»! – найдя такое положение вещей невозможным, стал производить точные расспросы, он наверное потерял бы голову среди лабиринта разных «то ись», «во как», «пытому-самому», «провалиться» и других не менее выразительных восклицаний, не то наречий, не то глаголов, не то черт его знает что такое, на которые вообще так щедр в подобных случаях все камышинцы и их соседи и пред которыми спасовал бы и плюнул, наверное плюнул, самый завзятый грамматик. Как бы там ни было, но факт оста-

ется фактом, что все они от мала до велика стояли утром гурьбой у трупа, ахали, качали головами, отгоняли сурово «робят», подбегавших к трупу вплотную, и шептали при этом укоризненно и не моргая глазом: «Ах ты грех!» Еще бы не «грех», когда придется возиться с заседателем и еще бог знает с кем!

Приехал заседатель, потому что без заседателя дело обойтись, конечно, не могло. «Они» еще «почивают» с дороги на «земской фатере», и в ожидании пробуждения «старички» сидят на завалинке, кричат и проклинают «чужие грехи». Главный, если не единственный, вопрос, занимающий все помыслы этого импровизированного сената: сколько? Для решения чего выкапываются прецеденты в прошлом... Достоверно известно, что «малиновцам» обошлось «свое средство» в триста ровным счетом, - ну, да кто же не знает, что малиновцы испокон века ровно оглашенные какие; «огневцам» - пятьдесят, но «дело» было не на их земле, а на проезжей дороге... «Карагайцы» за общий мордобой с «лишением живота» в свалке отделались сотней... Сколько же?

- Староста! – раздается бас из «фатеры».

Все вздрогнули, - очевидно там «проснулись».

- Стар... р... р... черrrr...рт!

Поглаживая бородку, староста быстро засеменял короткими ногами. «Старички» робко и жалостливо провожают его глазами и ободрительно шепчут: «Постой за мир, Митрич, постой-от, братан», - но Митрич точно не слышит, а бежит с вытаращенными глазами, как хорошо взбученная лошадь. Он останавливается на мгновение, точно в нерешительности, у запертой двери, кричит и вдруг, будто собравшись с духом, быстро отворяет ее.

- С приездом, вашескорodie!

Заседатель, тучный, здоровый мужчина с красным лицом, сердитыми заспанными глазами, в форменном сюртуке нараспашку, сидит у стола и пишет. Скрип пера отдается каким-то болезненным царапаньем в сердце старосты и, чтобы скрыть свое волнение, он размашисто крестится на образ.

- С приездом-с!

Заседатель все это отлично видит и понимает и нарочно длит пытку, - он тоже гнет «свою линию». Наконец, найдя, что довольно, или просто наскучив выводить одни и те же: «проба пера», «Его Высок...», «рапорт...», «я вечер млада...» и т.д., он вскидывает глаза на побледневшего старосту и смотрит на него в упор.

- Как было? – раздражается он наконец густым басом.

Староста делает вид, что не понимает.

- Чьих рук дело? – спрашивает тот уже совсем сердито.

- Насчет чего-с? – осведомляется староста робким фальцетом.

- Что дурака корчишь?! Младенец!.. Как звать убитого?

- Васькой, вашескорodie, Васькой Рыжим! – скороговоркой выпаливает староста, мало-помалу ободряясь.

- А-а, поселщик, об котором следствие было?

- Так точно-с! – Староста конфузится.

- Вор?  
- Как, то ись... всяко говорят, точно... но ежели...  
- Не мели, мельница! Как было дело?  
- Не могу знать-с!  
- «Не могу знать»? Дам я тебе, сорока бородатая, «не могу знать»...  
Сами «порешили», а? Говори!  
- Господи избави! – удивляется староста, - и во сне, то есть, не снилось! Провались я, чтоб...  
- Ври! – накидывается с яростью заседатель. – Знаю ведь вас, каналый анафемских! «Своим средством»! Ведь застрелен?..  
- Господь знает! – набожно вздыхает староста.  
- «Господь знает»? – передразнивает заседатель, поднимаясь с места и наступая на старосту. – А глаз?.. Глаз видел?  
Молчание, во время которого староста напрасно силится проглотить слюну.  
- Видел, спрашиваю, а?.. Глаз-от видел?  
- Видел! – решается вымолвить староста, припоминая, что по своему официальному положению он не имел права не видеть.  
- Ну, что ж, хорош?  
Молчание.  
- Ну, что же, хорош? Цел, а?  
- Точно, что как быдто...  
- Что, «как быдто»? – передразнивает заседатель, выходя из себя.  
- Господь ведает! – вздыхает староста.

Почти час длится допрос, и заседатель убеждается, что ничего не выйдет, и что виновного нет, и дело придется предать воле божией. Да и черт с ним, с делом-то, - стоит, в самом деле, возиться из-за какого-нибудь Васьки... туда ему и дорога! Только ведь, известно, и бросить так нельзя – что ж даром-то мирволить... Им только дай потачку... Ого-го!..

Староста сразу смекает происходящий переворот в заседательской душе и потому вопрошает как-то сладостно и мягко:

«Незнаемого» человека, вашескородие, не прикажете ли, - может, кто что и знает-с?

«Незнаемый человек» - продукт чисто сибирской юриспруденции. Эта кличка производится от слова «не знать», так как «незнаемый человек» знает все, кроме своего имени... Когда следователь ничего поделать не может, виновный неизвестен и нет никаких надежд найти его, - словом, когда следователь спускает, так сказать, флаг и не прочь пойти на сделку, «чтоб не даром только, не мирволить», - он оставляет строго официальный тон и переходит в дружеский, задушевный, которым и спрашивает мягко: нет ли, мол, где такого человека, который на след бы навел, что ли? Дружеский, задушевный тон действует магически, тем более что все понимают отлично, что дело вовсе не в том, чтобы «навести на след», и на сцену является «незнаемый» - нарочно выбранный, самое доверенное лицо «мира», которое скажет все, что нужно сказать или рассказать в данном случае, и затем предложит то, что вообще предлагается всем следователям «в честь благодарности».

Никто ничем тут не рискует, так как все происходит с глазу на глаз, и в худшем случае, если бы следователь вздумал «изменить» и притянуть «незнаемого» к официальному допросу, он бы отрекся от всего и наверное нашел бы множество свидетелей, которые «стояли туточка недалече» и не слышали, чтобы он говорил то, от чего отпирается.

- Незнаемого, говоришь, человека... Ну, ладно, веди! – согласился заседатель.

Староста исчез, как видение...

Заседатель сел за стол и погрузился в задумчивость... Сколько? – За окном слышится сдержанный шепот и суетятся, видимо, люди... Маятник старых, запыленных часов мерно тикает. Серый пушистый кот сладко мурлычет в углу и зализывает себе то, что ему нужно. Так проходит с добрых полчаса, пока за дверью не слышится сдержанный кашель.

- Кто там?

- Гмм... Кхх...

- Кто, говорю? – окликает вновь заседатель.

Дверь полуотворяется, и на пороге появляется закутанная, обмотанная фигура, которую заседатель пронизывает взглядом.

- Незнаемого человека спрашивали, вашескородие!..

- А, ты, что ли?

- Он самый-с! – фигура низко кланяется.

Заседатель упорно вглядывается по привычке.

- Расскажи, братец, сделай милость, что тут такое... как дело-то было? – спрашивает он наконец мягко.

- Грех, вашескородие, - кланяется «незнаемый», - людской грех!..

- «Свое средство», что ль?

- Должно полагать...

- Нет, брат, коли назвался груздем, так полезай в кузов, - обижается заседатель на уклончивый ответ, - если на мир идти хотите, говори толком.

- Вашескородие! – решается наконец «незнаемый».

- Что, голубчик!

«Незнаемый» отворачивает полу, лезет в карман и достает пачку ассигнаций.

- В честь благодарности, вашескородие; старички благодарить при-слали...

- За что? – удивляется заседатель, но сладкая улыбка озаряет его лицо.

- За труды, собственно... Не оставьте, вашескородие! – молит и кланяется «незнаемый».

- Что же, - мягко соглашается заседатель, - я, вы знаете, никогда не прочь помочь вам... Зачем мне губить вас... Ежели что могу, всегда готов... отчего же!.. Знаю, что все это от глупости вашей... Ну, да и вор был Васька, что и говорить, разбойник... Только это такое дело... - качает он головой, - чай, сам знаешь...

- Не оставьте, вашескородие, - кланяется пачку «незнаемый», кладя пачку на стол.

- Ты постой, - останавливает его заседатель, - прежде толком расскажи, как дело-то было...

- Дело-то, вашескорodie... да бог его знает! Должно полагать, застрелен он, потому что обида от него большая...

- Застрелен! – сердится заседатель. – Я и сам знаю, что застрелен, – да кем?

- Обида от него была... Житья, вашескорodie, не было, – ну, старички и благословили, надо полагать...

- Какие старички, – ваши, что ли?

- Всех обижал, вашескорodie, все села окрест обижал...

- Да; но убил-то кто? – В заседателе заговорило простое любопытство.

- Кто его знает, вашескорodie, многих обижал, только уж если на нашей земле, так и грех, значит, пусть как будто на нас будет. Нашего мира грех!

Заседатель прошелся раза два по комнате, посвистал, протянул руку к кучке ассигнаций, пересчитал и пробасил:

- Мало!

Вмиг явилось дополнение.

- И того мало!.. Ну, да уж черт с вами! – махнул он рукой. «Незнаемый» провалился точно сквозь землю.

Садясь в тарантас, заседатель дал нужные инструкции старосте насчет доктора и прочего.

Наконец уехал и доктор. Признаться, камышинцам пришлось хлопотать-таки немало. Сначала нужно было, конечно, уломать доктора приехать поскорей, чтобы не держать «караула» у трупа в рабочую трудную пору. К счастью, при докторях всегда есть фельдшера, с которыми легко вести переговоры и сделки, стоит только не скупиться. Камышинцы знали это хорошо еще от отцов и дедов, не только от соседей, которым выпадал на долю счастливый опыт, и потому не постояли особенно за «четвертной» за выезд. За «дело», собственно, был условлен, конечно, особый гонорар. Все было сделано по положению, как следует в благоустроенном месте: прибыв в Камышинку, доктор нашел на выгоне, возле трупа, стол, а на столе традиционный полуштоф и «синенькую» сверх положения, которая с надлежащего места была перенесена им в карман. Раз, понятно, все было как следует, то и результат вышел такой, как должен был следовать. Доктор поковырял, понюхал, ругнулся несколько раз и продиктовал заседателю протокол, который тот выводил круглым, четким почерком. Чаще всего, понятно, попадались слова: «сильнейшее опьянение... неосторожность... падение... ушиб с повреждением... жестокая стужа, а потому» – и т.д. А затем и доктор и заседатель, как водится, уехали, предписав «строжайше» предать немедленно «тело скоропостижно умершего Васьки Рыжего» земле.

Камышинцы вздохнули свободнее, полною грудью, и возликовали. Все сошло благополучно. Правда, это благополучие «влезло» им больше двух добрых сотняг; да ведь кто же не знает, что деньги – дело наживное. К тому же известно: с миру по ниточке, вот те и рубашеч-

ка... За то спокойствие, благодать! Одно еще только оставалось – схоронить!

Сосновый, грубосколоченный руками деревенского плотника гроб был заготовлен еще заранее. Теперь его принесли на выгон и поставили на земле возле трупа. Труп лежал на столе, прикрытый куском грубого деревенского полотна, на котором длинные, окровавленные пальцы доктора оставили темно-розовые следы. Солнце ярко светило с ясного весеннего неба, голубого и безоблачного, и озаряло покров, отчего он блестел и казался белее, а складки пестрили его темно-синими тенями. Теплый ветерок слегка шевелил один угол, отчего он дрожал и поднимался точно живой и, поднимаясь, обнажал часть красной рубахи покойника, похожей цветом на кровь. Все было тихо. Толпа, окружавшая гроб и покойника, стояла в каком-то тупом, напряженном безмолвии. Оставалось только снять покров, уложить покойника в гроб и отнести его, своего злейшего врага, на кладбище, куда должен был прийти священник.

- Ну, что ж, братаны? – раздался вдруг чей-то нерешительный глухой голос и замер без ответа.

Толпа как будто переглянулась и потопталась на месте.

- Что же? – как эхо повторил другой голос.

Какое-то нерешительное движение, и опять молчание... Но вот один снял неожиданно шапку, за ним другой, третий – и вдруг, точно по приказанию, вся толпа обнажила головы.

- Царство небесное! – перекрестился степенно и важно седой старик, стоявший ближе к покойнику, и отвесил низкий поклон.

- Царство небесное, царство небесное! – заголосила толпа, усердно крестясь.

Опять воцарилось молчание. Кузька, смелый, бесстрашный Кузька, этот знаменитый стрелок, не моргавший перед открытою пастью медведя, стоял бледный, как труп, с широко вытаращенными глазами, а руки его дрожали, как осиновые листья.

- Дядя Корней, подымать, что ль? – окликнул вдруг кто-то надтреснутым, придавленным голосом и тотчас замолчал, точно сконфузившись или испугавшись собственного голоса... Дядя Корней, седобородый старик, оглянулся молча и не сказал ни слова.

В задних рядах задвигались, очевидно кто-то пробирался вперед. Шевельнулся один, другой, некоторые оглянулись назад, и вперед протиснулась бледная, худая бабенка, заплаканная, с красными от слез глазами и носом, с ребенком на одной и узлом на другой руке.

Бабенку видели утром, еще до докторского «вскрытия», но никто не обратил на нее внимания, – не до нее было. Некоторые, правда, сразу признали в ней Аксинью-солдатку из дальнего поселка, слышную в околотке любовницей Васьки Рыжего, но в факте ее неожиданного появления не нашли ничего особенно достойного внимания или необычайного. Теперь сотни глаз напряженно следили за каждым ее движением.

Протиснувшись вперед, Аксинья широко перекрестилась и заплакала. Слезы текли у нее по щекам и капали на серый, дырявый с заплатами сарафан. Поплавав, она обернулась к толпе.

- Хоронить, добрые люди? – спросила она сквозь слезы, кланяясь, и, не ожидая ответа, сняла покров.

Слезы заструились быстрее. Толпа набожно перекрестилась. Никто не смотрел на покойника; все стояли опустив глаза в землю, только один Кузька стоял, точно очарованный, не сводя прикованного взора с трупа. Окровавленный, изрезанный, почерневший, с запекшейся на усах и бороде кровью, труп производил крайне тяжелое, гнетущее впечатление.

- Обмыть бы, добрые люди! – обернулась опять Аксинья к толпе.

- Что ж, конечно... доброе дело... как следовало... - отозвались в толпе. – Конечно... что ж, обмыть!

Кто-то схватил ведро, стоявшее тут для доктора, и побежал зачерпнуть воды в ручье. Аксинья передала ребенка старику Корнею, и седой, бородатый старик бережно и неловко держал на своих дюжих руках завернутую в лохмотья крошку, которая шурилась от солнца. Ребенок громко кричал на чужих руках, а старик каким-то мягким, ласковым шепотом говорил: «Кшш, кшш», - и качал его, точно в зыбке, пока у него не отняла его какая-то подоспевшая баба, у которой ребенок немедленно же успокоился. Несколько человек подошли тем временем к Аксинье на помощь. Она развязала быстро и ловко принесенный с собою узел и вынула длинную белую рубаху, нечто вроде савана.

- Приодеть, добрые люди? – спросила она, встряхивая рубаху.

- Приодень... как следует, как полагается!.. Ох-хо-хо, все мы грешны богу! – заходило в толпе... Все точно легче чувствовали себя с приходом Аксиньи и, видимо, следили за ней с участием и чем-то вроде сочувствия. Точно что-то тяжелое, невеселое рассеяла или сняла она со всех этих людей одним своим появлением.

Покойник лежал обмытый, одетый в свежем сосновом гробу и не производил уже прежнего удручающего впечатления. Невесело только как-то было, грустно, как всегда бывает пред лицом смерти хотя бы чужого, нелюбимого человека. Толпа набожно крестилась. Аксинья вынула из того же узелка три дешевенькие свечки, зажгла их и, оставив одну себе, две другие отдала помогавшим ей старикам. Старики взяли их, крестясь и повторяя: «Царство небесное». Шесть человек подняли гроб на плечи и понесли, сопровождаемые толпой и плачущей Аксиньей с ребенком на руках.

У могилы после скорого отпевания Аксинья долго валялась у гроба при заколачивании его, прощаясь с покойником и суя к нему ребенка. За нею двинулся один, потом другой, третий, а там и все подходили к покойнику, клали земной поклон и целовали его в почерневший изрезанный лоб. «Прости!» - как-то глухо говорили они. Один только Кузька, бледный и дрожащий, не сказал ни слова, точно слово застыло у него в глотке.

Когда камышинцы, покинув кладбище, пасмурные и невеселые, столпились на деревенской улице, пред ними, как из-под земли, вновь выросла заплаканная Аксинья с ребенком на руках и повалилась в ноги.

- Порешили вы его, добрые люди, порешили! – причитала она плача, поднимаясь и снова падая в ноги «миру».

- Что ты, что ты!.. Не слышала, что ль, что писал дохтур. От бесчувствия, значит, пьяного ушибся! – быстро заговорил сконфуженный староста. – Кто порешил? Что ты, бог с тобой, баба!

- Ваше дело это, - продолжала, кланяясь и плача, Аксинья, точно не слыша старосты, - ваше дело, не мое... Как сами знаете, добрые люди, так богу и ответите... А только что же мне-то теперь с ребенком – помирать, что ль?

Никто не ответил.

- Помирать, что ль? Кто кормить-то будет? Куда денусь я с им, люди добрые? – Аксинья сунула ребенка.

Камышинцы почесали затылки. Какая-то баба жалостливо проговорила: «Ишь ты, бедная!»

- Как не бедная! – подхватила Аксинья, совсем разрыдавшись от выраженного ей сочувствия. – Что с ребенком-то делать будешь?.. Не оставьте, люди добрые!

И она снова поклонилась мужикам.

- Что ж, братцы? – кто-то робко, нерешительно спросил в толпе.

- Как быть, в самом деле? – отозвался другой.

- И так много роздали, братаны! Мнно-о-ого! – пессимистически прозвучал чей-то бас.

- Не покиньте, православные! – кланяясь тем временем Аксинья, суя толпе кричащего ребенка, - не покиньте!..

- Много-то, много, а все ж!.. – ответил кто-то.

- Рублей поди два ста вошло! – не успокаивался бас.

- Вошло-то вошло, да бабу-то как быдто... того! – ответил передний мужик, высокий, мрачный на вид, неистово зачесав всею пятерней затылок.

- Ничего не-е-ту! – молила Аксинья, все больше ободряясь, точно черпая новые силы в нерешительных возгласах толпы. – Ни-и-чего, православные, ни зе-е-рнушка... Молока вот нет у самой, - она ткнула кулаком в плоскую грудь – пустехоньки... ни капельки!.. Дите голодом кричит, люди добрые... Кто прокормит теперь?.. Коровку бы хоть...

- Корову? – разозлился бас. – Мало он у нас скотины перетаскал, что ль?

- Дело прошлое, - прошлое, слышь, дело, братан! – укоризненно и вместе гневно заголосила толпа как один человек и стала креститься. Бас сконфузился и тоже крестился за толпой.

- Для ребенка, для младенца божьего прошу, - продолжала Аксинья, рыдая навзрыд. – Что ж, оно виновато кому, что ему голодом пропадать?! Отцы родные! Телушечку... так... самую что ни на есть ледащую... Господи, дите-то что ж виновато!..

На другой день, как только яркое божье солнце пролило потоки тепла и света на грешную землю, а навстречу ему ясно улыбалось живое утро, и воздух, и кедры, и изумрудные нивы, и божии люди, - улыбалась ему и Аксинья. Пыльной дорогой гнала она из Камышинки до-

мой, в свой поселок, большую рыжую корову и, довольная, прижимала к тощей груди ребенка, в чистых, белых пеленках которого были засунуты «миром» собранные старые, истрепанные ассигнации.

На повороте ей перерезала дорогу высокая фигура Кузьки. Бледный, как-то робко пошел он ей навстречу. Видимо, он хотел что-то сказать, силился выговорить, но не мог, губы его дрожали. Он только совал ей потертый кожаный мешочек, в котором обыкновенно крестьяне носят деньги.

- Возьми! – с усилием выговорил он наконец.

- Зачем, что? – не то сконфузилась, не то удивилась Аксинья.

- Ему... ребенку! – дрожащим голосом продолжал Кузька, кладя мешочек на пеленки.

Аксинья взяла его как-то нерешительно, то смотря на бледного Кузьку, то опуская глаза в землю.

- Спасибо! – чуть слышно выговорила она.

Не успела она сделать несколько шагов, как Кузька ее окликнул:

- Слышь!

Она обернулась.

- Не своей волей я... От мира, - мирское дело... Прости!

Он стоял бледный, дрожащий, опустив глаза в землю.

- Бог простит! – ответила Аксинья, кланяясь.

.....

Целый месяц пропадал Кузька в тайге за медведями.

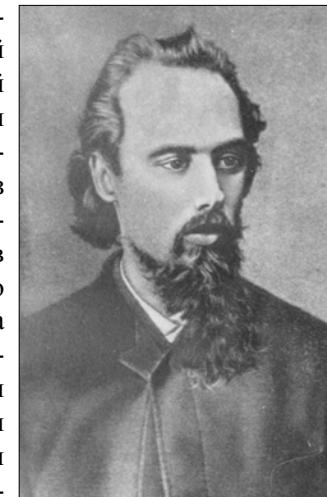
*Публикация рассказов по изданию: Г.А. Мачтет. Избранное. - М.: ГИХЛ, 1958.*

---

\* Лицо, исполнявшее в Сибири зараз обязанности станового, следователя и мирового посредника.

□ . □□□□□□□□  
(□ .□ . □□□□□□□□□□□□□□□□□□)

Одним из участников народнического движения 70-х годов был Николай Елпидифорович Петропавловский (1853-1892). Свои произведения он подписывал псевдонимом С. Каронин. Петропавловский был родом из семьи священника, учился в Бузулукском духовном училище, а затем в Самарской духовной семинарии, но за выступление против начальства был из нее отчислен. Увлечшись народничеством, он пропагандировал идеи социальной революции среди крестьян, за что в 1874 году подвергся аресту и почти четырехлетнему заключению в тюрьмах (последний год в Петропавловской крепости). По окончании срока заточения (1878 г.) он остался в Петербурге, где поселился на одной квартире с Н.И. Кибальчицем, талантливым ученым, будущим создателем проекта реактивного летательного аппарата и будущим же террористом-«бомбистом», организатором динамитной мастерской, в которой изготовят взрывное устройство для убийства Александра II.



*С. Каронин  
(Н.Е. Петропавловский).*

В 1879 году Н.Е. Петропавловского привлекли по «делу о 58-ми» и посадили в одиночку Петропавловской крепости на два года, за этим последовала пятилетняя ссылка в Сибирь: Курган и Ишим. Вслед за ним сюда поехала и его жена, Варвара Михайловна Линькова. В Ишиме Николай Елпидифорович жил с 1883 по 1886 годы. Это был очень тяжелый для семьи писателя период. Сам он находился под строгим надзором полиции, и ему было запрещено отлучаться из города даже в окрестные леса для сбора ягод и грибов. За самовольную отлучку присуждали к недельному домашнему аресту. В Тобольском архиве сохранилось прошение Петропавловского губернатору, в котором он

просит дозволения «провести наступающее лето 1884 года в одной из окрестных деревень с г.Ишимом, что, может быть, хоть несколько поправит расшатанное здоровье»<sup>1</sup>. Но разрешение на это получено им не было.

Прервалась и связь с журналами, публиковавшими его произведения, прекратилась также высылка гонораров – единственного заработка Петропавловского. В это же время его жене было запрещено заниматься акушерской практикой. Николаю Елпидифоровичу приходилось самому стирать, мыть полы, нянчиться с сыном Борисом. И он считал отрадными те минуты, которые удавалось найти лишь случайно в этой каждодневной суете и посвятить их столь любимому им литературному делу.

В Ишиме он пишет повесть «Снизу вверх. История одного рабочего», первые главы которой были напечатаны в журнале «Отечественные записки» за 1883 г. (кн.11-12); последующие три – в журнале «Северный вестник» за 1886 г. (кн.6-7), а также очерки на сибирские темы. В одном из них – «Торговля телом и душой (Сибирские нравы)», и отразились собственно ишимские впечатления. Здесь представлена знаменитая Никольская ярмарка, в которой автор, вопреки распространенному мнению, видит лишь один только вред и не находит никакой «торговой поэзии», потому что дух царящей здесь наживы вытравляет из человека все человеческое, превращая его в «бесстыдное» животное. По его мнению, ярмарка способна оказывать лишь пагубное, растлевающее воздействие на всех ее участников.

Тон филиппики, заданный с самых первых строк очерка, усиливается с каждым новым эпизодом, отражающим бессмысленную жизнь ишимских обывателей. И сам Ишим, также показанный через ярмарку, рассматривается только в качестве «гнилого, ничтожного и скверного городишки». В создании подобных характеристик имела значение не только природа художественного дарования писателя, склонного к обличению «грязной действительности» и приближающегося в своем изображении провинции (место, где гнездится абсурд) к М.Е. Салтыкову-Щедрину, но и чисто личные причины: расшатанное тюрьмами здоровье, материальная неустроенность, ощущение полной оторванности от культурной жизни больших городов.

Несколько иной колорит имеют очерки «По Ишиму и Тоболу», в которых представлены сибирские деревни. И хотя Каронин-Петропавловский не идеализирует крестьянство, как многие народники, он все же предпочитает говорить больше о положительном, нежели отрицательном в жизни земледельцев. Так, сопоставляя две деревни Ишимского округа – Старую Локтинскую и Новую Локтинскую (в настоящее время деревня Локти и село Новолокти) и обращая внимание на непростые отношения между старожилыми и «новопришельцами» из-за земли и сенокосных угодий, Петропавловский отмечает, что в дальнейшем все сгладилось, они сумели понять друг друга и извлечь пользу из самого соседства своего. Старожилы оценили необыкновенную честность и добродушие новолоктинцев, а последние усвоили сибирские порядки и изменили к лучшему свой быт и даже облик самой деревни.

Одновременно с очерками создавалась научная работа «Схема истории сибирской общины», опубликованная в приложении к «Восточному обозрению»<sup>2</sup>. Исследовательская работа, а также премия Западносибирского отдела Русского географического общества, которой Петропавловский был удостоен за свою деятельность по изучению края, значительно улучшили его душевное состояние. Большим счастьем явилось для него и появление второго сына, Степана. Кроме того, в июле 1886 г. его семье предоставлялась возможность вернуться в европейскую часть России. Но, как писал один из биографов Каронина-Петропавловского, «не было у него в жизни такой радости, которую судьба не торопилась бы отравить»<sup>3</sup>. За несколько дней до отъезда умирает старший сын Борис, его утешение и гордость. После похорон Николай Елпидифорович с женой и сыном-младенцем уехали из Ишима. Последние годы писателя были проведены под гласным надзором полиции в Казани, Перми, Н.Новгороде и Саратове. Умер он в Саратове от туберкулеза горла.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

1. ТФ ГАТО. Ф.152. Оп.10. Д.35. Л.34.
2. Сибирский сборник. Кн.2. –Спб., 1886.
3. Биографический очерк о Каронине-Петропавловском (без указания имени автора) // Собр. Сочинений Каронина (Н.Е. Петропавловского). –М.: Издание К.Т. Солдатенкова, 1899, с.7.



## Торговля телом и душой

(Сибирские нравы)

Приближается знаменитая Ишимская ярмарка. Ишимские обыватели просыпаются, встают от годовой спячки, расправляют свои окочевевшие мускулы.

Боже мой! Как опасно тут иметь с ними дело человеку постороннему, чуждому ярмарке! Обыватель спросонья, да еще голодный, страшнее зверя, опаснее сумасшедшего, отвратительнее хавроньи домашней. За грош, и даже просто так, он может повалить, загрызть, разорвать в клочки и сожрать всякого, кто ему покажется помехой его ярмарочным интересам. Недавно один обыватель побил своего квартиранта, положил ударом кулака его беременную жену, разогнал детей - единственно из-за того, что ему предложили рублем дороже за его квартиру. А перед ярмаркой все обыкновенные порядки, все человеческие связи и отношения прекращаются, уступая место беспорядку, разгулу, жадности. Сам обыватель залезает в нору, квартиранты изгоняются, каждый дом превращается в трактир, в постоянный двор, в дом терпимости, в притон воровства. Нижегородская ярмарка и все те ярмарки, которые совершаются летом, не имеют ничего общего с нашей; там нет нужды съехавшимся людям брать с бою каждый теплый угол и гнездиться в домах; там и распутство не так заметно, а потому и обывателю нет возможности пускать в обращение каждый свой угол; у нас же, в нашем гнилом, ничтожном, скверном городишке, во что бы ни стало надо разместить сотни тысяч съехавшегося народу. И вот является торговля теплом. И зараза этой торговли так велика, что перед ней не могут устоять ни бедные, ни богатые. Богатый купец торгует вдруг местами на дворе, собирая с обозчиков пяточки. Протоиерей, священник, судья вдруг превращаются в хозяев постоянного двора и самолично торгуют калачами. Житель, отдав внаймы весь свой дом, ютится сам где-нибудь в кухне и продает мороженые пельмени. Все спешат воспользоваться ярмаркой, как удобным случаем сразу заполучить хорошую добычу.

Вследствие того и нравы у нас самые необыкновенные. Ярмарка кладет на наших обывателей неизгладимую печать глупости, жадности, лени и легкой наживы. И если счастье все выгоды и невыгоды для нас этой знаменитой ярмарки, то последние в нашем жизненном "балансе" займут первое место. Несмотря на ярмарку, несмотря на тысячи способов как нажиться, они бедны, как жулики, глупы, как последние дураки, и бесстыдны, как животные. И было бы гораздо лучше, если бы этой ярмарки совсем не было; тогда наши обыватели стали бы правильно работать, правильно наживаться, вообще правильно жить. А теперь...

- Позвольте вам доложить, - говорил мне недавно один старичок, заброшенный сюда лет десять тому назад из России "несчастной судьбой", - позвольте вам доложить, что такое наша ярмарка. Оно, конечно, ярмарка, - обмен, миллионные обороты, в газете пишут... говорят

про наш город. Ждут нашей ярмарки во всей России... Это так. Но позвольте спросить вас, какая же польза нашему обывателю от этого! Никакой. А даже вред один, разврат. Возьмите вы нашего обывателя, из купцов ли, из мещан ли, из других ли народов - и что же это за человек!..

Купчишка-то наш, например, что это такое! Он целый год торгует на два с полтиной, а как придет ярмарка, торгует пельменями, мерзавец; обращает в конюшню весь дом свой, бегаёт, как собака, хватается кости, да какой же это купец?! Да ему я гроша не поверю. Потому он чистый жулик. Да у нас в Расее больше амбиции у каждого последнего пьяницы, который днем собирает милостыню, а ночует на навозной куче, - ей богу! О купчишке здешнем я такого рассуждения: дай ты ему хорошего леца по физиономии и посули за это рупь - и он ничего, доволен будет. Какую же пользу ярмарка ему приносит? Окромья сраму - ничего; денег у него, капиталу, как у настоящего купца, нет, ума нет, - ибо незачем ему его, совести нет, ничего нет, только жадность... Да что уж купчишка... А вот наш-то почтенный Федул Карпыч... полон дом напустит охальников, плюнуть некуда, да еще сам продает калачи обозчикам! А что касается до бедняков, то для них ярмарка чистая погибель! Оно со стороны-то кажется, что ярмарка дает им пропитание, а как поглядишь - нет! распутство одно. От работы они отвыкли, ждут только ярмарки, как бы сцапать, что плохо лежит, ну и выходит одна бедность... Да вот вы сами увидите.

И я действительно увидал.

Теперь у нас только приближается ярмарка, а возня в городе уже началась.

Мороз. Ветер. По улицам двигаются обозы. На площади ставят балаганы. В домах приготавливаются к встрече гостей, которые привезут деньги. От первого богача и до последнего бедняка в городе - все обыватели уже проснулись, позевывают, разевают рты, а сердца у всех тревожно бьются: что-то бог пошлет. В желаниях полное равенство. Во время ярмарки все обыватели ходят один на другого, да и дела у всех решительно одинаковы: продать у кого что имеется - дом, руки, тело, душу, во что бы ни стало продать... Перед приезжими гостями все одинаково держат себя низко, вероломно, отвратительно. Последнему, глупейшему дураку предстоит возможным заработать кучу денег...

Наудачу берем несколько примеров.

Есть здесь один купец (таких здесь много, но за недостатком места приходится говорить об одном), который в продолжение целого года не знает, куда себя деть и что делать. Есть, правда, у него торговля, но грошовая, ничтожная, а потому целый день он скучно слоняется где-нибудь. Выйдет за ворота, посмотрит зачем-то на улицу, зевнет и опять удалится домой. Иногда сидит на лавочке, хлопая глазами, а то вдруг велит запрячь застоявшегося мерина, и выскочит на нем за ворота, и поскочит сломя голову по улице, раздавит колесами подвернувшегося щенка, а через час уже лениво подъезжает к своему дому, везя в тележке телячью кожу, которую он отдавал на выделку скорняку и за кото-

рой он, собственно, так и поскакал, хотя кто-нибудь мог подумать, что дело было у него важное. Слоняется, слоняется он - и ничего не может придумать; торговля его по-прежнему грошовая, сообразить он ничего не может, а если что и придумает, то непременно выйдет нелепость. Пришло ему раз на ум построить каменную лавку; навозил он кирпичей, нанял рабочих, выкопал для извести посередине улицы яму, в которую по ночам падали свиньи и обыватели, и совсем уже построил лавку, но вспомнил, что у него для лавки нет никакого товара, и бросил; выстроенную кожевную лавку прикрыл землей и бросил ее, решив, что кому-нибудь, во время ярмарки, она и понадобится. Словом, ярмарка всю его голову заняла.

Но зато во время ярмарки он показывал необычайную юркость вместе с нечувствительностью.

Раз он деятельно что-то принялся возиться около дома. Копал какие-то ямы, ставил какие-то столбы, подобно телеграфным, а на столбы вешал фонари.

- Зачем это вы делаете? - спросили у него.

- А чтобы светло было около дома, - возразил он.

- Зачем же?

- Хочу отдать дом под... - И он откровенно сказал, под чего он отдает свой дом.

- Вроде как бы гостиницы с женским полом?

- Вот-вот. Так чтобы освещение хорошее было, привлекательность.

А то прошлый год тоже думал отдать под... Ну, так, говорят, темно, привлекательности нет. А вот я как поставил фонари на эдаких телеграфах, так мне уж и сейчас дают триста рублей.

И во время ярмарки, действительно, дом его, освещенный фонарями, поставленными на высоких столбах, был сдан под гостиницу с женским полом.

Но, кроме того, каждую четверть своего двора он утилизировал, сдавая все пространство его извозчикам. Кормились извозчики также на его счет. Но ему этого было еще мало. Однажды стал строить какую-то постройку под сеновалом; над крышей сеновала он пробуравил дыры, вставил стеклышки, а посередине сеновала прорезал дыры - и вышло нечто необыкновенное, вроде как бы собачьих конур, хотя собачьи конуры невозможно строить так высоко...

- Что это вы делаете?

- А это я хочу для возчиков приспособить. Во флигеле тесно бывает, так вот я на сеновал их...

- Это туды-то! А не высоко будет им?

- Ничего, влезут. Лестницу снаружи приставим.

- Как бы холодно им там не показалось, на крыше-то...

- Ничего, тепло будет. Вишь, окошечки повертел, а все прочее замазал, заколотил.

Действительно, когда настала ярмарка, извозчики наполнили весь двор, и вновь приезжие лезли на сеновал. И вот всю эту кучу народа наш обыватель держал и кормил, помещаясь с семейством где-то в подземелье; там же и обеды готовились на купцов и извозчиков. Какие это

были обеды - об этом постоянно заявляла нарочно для ярмарки нанятая стряпка.

- Недовольны кушаньем-то купцы... - говорила она хозяину, возвращаясь из комнат приезжих. - Ругаются...

- А как ругаются? - спрашивает равнодушно хозяин.

- Подлец, говорят...

- Ну, и дьявол с ними! Поругаются и уедут. - Хозяин так и держал себя перед квартирантами; когда те ругали его в глаза всякими словами, он хладнокровно мигал, говоря всем своим видом: мне бы только деньги-то с вас получить, а там наплевать, лайтеся.

Это равнодушие к обидам и равнодушие к рублю он практиковал и в неярмарочное время. Деньгами все его можно было заставить сделать.

Между тем в городе он числился богачом, купцом, заседал в думе в качестве гласного; ему снимали шапки. Его уважали...

А бедняку можно простить и большее.

Это дает мне возможность сказать несколько слов о другом сорте здешних людей.

Существует в городе некто Дергачев... Не живет, а именно существует, потому что обыкновенно определенного местожительства у него не было. Ночевал он, где случится, - у того, кто внезапно сжалится над ним. Промышленность его заключалась в том, что он делал и сам разносил дрожжи и квас. Но главный источник его жизни заключался в некоторого рода факторстве. Он знал весь город, мог сказать наверняка, кто вчера бил свою супругу, кто нынче пошел в баню и кто вот сию минуту кушает налима; знал, одним словом, каждый шаг каждого обывателя. Поэтому к нему часто обращались за советами и с разными поручениями. Особенно много ему не верили, потому что он часто врал; избегали также оставлять его одного в доме, потому что он склонен был к воровству; но с поручениями все охотно обращались к нему.

- Не знаете ли, Дергачев, какому бы портному мне отдать шить шубу? - спрашивал, например, кто-нибудь Дергачева, который только что вошел в дом с дрожжами.

- Позвольте, барин... Вы сказали шубу? Ну так лучше отдать Чижову... ох, мастер шубы шить... как вылитая!.. Поверьте: лучше Чижова нет в этом разе.

- А не украдет?

- Нет-с! Честное слово! Ведь крестьянин... Можно, конечно, Иванову отдать, да тот у вас обрежет и полы, и спину, и рукава. А Чижев уж нет! Малость разве какую... Честное слово.

Тогда Дергачеву поручали привести Чижова, за что давали ему пятак.

А другой раз кто-нибудь спросит у Дергачева:

- А не знаешь ли, Дергачев, нет ли где в ваших краях подержанного самовара?

- Позвольте, барин, дайте мне подумать... - И Дергачев принимался вслух думать.

- Ежели у Аникина... да нет, он еще не пропился... Вот тоже Петров

валяется в кабаке без просыпу, - ну, только до самовара дело еще не дошло, а дойдет уж... Да, вам скоро нужно... Мишка-кузнец запил и беспременно заложил самовар... вот вы к кому идите - дешево! Заложил он его не больше как за рубль, да вы рубль прибавите - отдаст!

Таким образом пробавлялся Дергачев. Собственно, существовал он не один, а с одной женщиной, которая была под стать ему. Им иногда удавалось найти определенное пристанище, - тогда они жили вместе, но больше врозь, каждый добывая пищу только про себя. Тем не менее они были по-своему привязаны друг к другу, не изменяли друг другу и нередко помогали друг другу.

Во время ярмарки Дергачев играл роль также фактора, но только в усиленных размерах. Терся он больше всего около приезжих купцов, а поручения ему давались больше всего на счет женского пола. Дергачев, знавший весь город, удовлетворял купеческие вкусы, за что получал иногда крупные для него куши.

Но однажды с ним случилась оказия, погубившая его бодрость. Взяв на себя обязанность “предоставить” особу, он никак не мог найти. А между тем купец обещал пять рублей за хорошую доставку, в противном случае - грозил избить. Дергачев метался, расспрашивал, обезумев от страха. Невзначай попала ему на глаза его неизменная подруга. Ему вдруг пришла в голову несчастная мысль ее послать.

- Иди, Даша... купец богатый... Сделай милость, выручи меня... Ну что там, лишь до утра.

Во время ярмарки все безумцы. Даша эта также обезумела и пошла.

Только когда уж дело сделано было, Дергачев опомнился. Как он послал! И он упал духом. В “ту” ночь он напился, пропив все деньги. А когда со светом Даша пришла от купчины, они оба напились. Пьяные, они плакали, укоряя друг друга.

- А, ты с лабазниками нынче уж! - говорил Дергачев, рыдая.

- А кто меня послал, жулик ты эдакий! - говорила Даша, также рыдая.

Так в этом и прошла вся ярмарка. Чтобы забыть свою подлость, он пропивал деньги, взятые у купцов, а потом плакал, рыдал и дрался с Дашей, которая также напивалась, плакала, дралась. Но все-таки они не расставались, укоряя друг друга.

Если бы только продажа этого рода захватывала одних городских обывателей, то не было бы большой беды; но все окрестные деревни сплошь заражены этой страстью нести на ярмарку все, что попадет под руку. Крестьяне ближайших деревень смотрят на ярмарку с той же жадностью, как и городские жители, и так же беснуются во время ярмарки, как и действительные торговцы. Барышничество так развито между ними, что нельзя встретить мужика, который тем или другим путем не примазался бы к торговле, но так как торговать мужику нечем, то ему приходится облизываться около чужого стола, а это только पुше развивает его аппетит.

Один знакомый пишущему эти строки крестьянин каждый год на время ярмарки нанимается к купцам не то в качестве приказчика, не то для роли ищейки, потому что его обязанность состоит в том, что он должен озираться по сторонам и подмечать - кто хочет купить, а кто только

украсть; но в то же время, в отсутствие хозяина и приказчиков, он обязан продавать; и вот за это он получает в неделю три-четыре рубля.

- И нынче ты наймешься на эту должность?

- Как бог пошлет. Да наймусь, надо быть. Меня принимают с охотой.

- Почему? Разве ты ловко торгуешь?

- Не то что торгую хорошо, а главное мое качество - глазастый я...

- Как глазастый?

- А так и глазастый. Потому что у меня глаза подозрительные, уж я не пропушу в лавку жулика, я его издали вижу! Оттого и берут меня, что будто подозрительность у меня большая...

Кроме глаз, продающихся таким образом, на ярмарке нужны и уши, и руки, и все прочие части крестьянского тела; вследствие этого здешнему крестьянину, при всех человеческих отношениях и делах, приходится отказывать в доверии; он так много и в таких разнообразных видах продавался во время ярмарки, что в нем осталось только ничтожный кусочек человека и крестьянина, и торгашество сделалось для него необходимой стихией. Взгляды на это дело у него очень просты: продать - значит обмануть.

До какой первобытной простоты доходит торговля во время ярмарки, показывает судьба здешних крестьянских девушек. На ярмарку собирается их много множество из деревень; одни нанимаются в кухарки, горничными. В большинстве идет в качестве “женского пола” - что выгоднее.

Живет такая деревенская в городе на месте в кухарках и довольствуется ничтожной месячной платой. Да другой платы она и не стоит, потому что ничего не умеет делать. “Свари рис”, - скажут ей, а она сварит лавровый лист, положив его целый фунт. И не из любви к рифмам, а просто потому, что слово рис ей решительно незнакомо; одним словом, с городской точки зрения, она полная дура, способная только болтываться в помоях. Таким образом, во время ярмарки она продать ничего не может, но, однако, это ровно ничего не значит.

Лишь только приближается ярмарка, как “дура” начинает соображать; по хозяйству делается еще глупее, на язык грубее и с необычайными претензиями. В конце концов она заявляет, что просит прибавки, иначе грозит уйти.

- Куда же ты уйдешь?

- Известно, на ярмынку...

- Как на ярмарку... наймешься?

- Известно, наймусь.

- Сколько же ты хочешь прибавки?

- Ежели пять рублей дадите за ярмынку, так останусь.

- Убирайся к черту! - говорит ей хозяйка.

- И уйду. Телятников набирает, к нему и пойду. (Телятников держит гостиницу и домик с женским персоналом). Там я пятнадцать целковых в неделю получу.

- Расчет, конечно...

- Известно, расчет - рупь у вас в месяц получать или там пятнадцать в неделю...

И действительно “дура” уходит, и уходит именно к Телятникову. Бывает хуже!

Многим в городе известна одна уже пожилая женщина, нанимающаяся осенью обмазывать дома глиной, - эта специальность ее и единственный, кажется, источник пропитания. Как она живет на свете - одному богу известно. Природа страшно оделила ее, не дав ей никаких орудий существования. Вид ее всего больше напоминает сову, нечаянно вылетевшую на солнечный свет и сразу потерявшую способность что-нибудь соображать: у Лукерьи, - так ее зовут, - лба нет, рот тонкий и беззубый, нос клювом, загнут книзу, а глаза большие и неподвижные; когда она говорит, то кажется, что она хочет напугать суеверных людей. Одевание ее вполне соответствует ее породе - оно пестрое, потому что состоит из разных лоскутков. Живет она в лачужке, в которой вместо стекол на окнах натянута пузыря. Некогда она торговала пряниками (тем родом пряников, который можно, конечно, раскусить, но когда раскусишь, то сейчас же покажется, что над тобой кто-нибудь глупо подшутил), но проторговалась благодаря несчастному качеству. Дело в том, что она умеет считать только до семидесяти, и если при размене рубля ей дать семьдесят одну копейку, то этим поставите ее в безвыходный тупик. Покупатели пользовались этим несчастием Лукерьи и обманывали ее.

Теперь эта Лукерья еще беспомощнее. Во время ярмарки она также пускает себя в продажу, но пользы ей мало от этого. Извозчики, которым она продается, зная ее слабости, обманывают ее и платят ей плохо, так что жить ей и после ярмарки обыкновенно нечем. И вот это несчастное существо, по ошибке брошенное на солнечный свет, медленно спускается в гроб, являясь жалкой жертвой ярмарки.

Сотни тысяч жертв требуют наша ярмарка! Говорят, что она необходима простому народу, давая ему заработок в виде извоза...

В самом деле, за полмесяца до ярмарки по всем дорогам, ведущим в наш город, движутся тысячи возов, а возле самого города тянутся вокруг беспрерывные ленты саней, нагруженных товарами. Но если взглянуть с другой стороны на эти сотни тысяч возов, если посмотреть, какой ценой достается каждому крестьянину ничтожный заработок, то вся промышленная поэзия пропадет.

Извозчику, прежде чем получить извозную плату, приходится испытать множество приключений, свойственных сибирским дорогам. Страшные морозы, случающиеся в это время, губят много людей и лошадей. Когда встречаешь обоз в дороге, то делается не по себе: измученные лошади едва передвигают ноги по изрытой дороге. Людей почти не видно: страшный мороз загнал их под кошмы, а если подле иного воза и идет человек, то он так замерз, что движется, как автомат, как ком снега, - и эти лошади, сани, люди, покрытые инеем, кажутся покрыты саваном. Но все это медленно движется, потому что если товар не представлен вовремя, то возчики платят неустойки.

Иногда во время дороги нападают грабители и отбивают несколько возов, и если наступает ночь, люди держатсястороже, сплочивая непрерывной цепью свои воза как бы в боевой порядок и поминутно

перекликаясь между собой тем печальным и тревожным криком, который всем сибирякам знаком; крик этот похож на крики журавлей во время их перелета в темные осенние ночи. Грабители все-таки очень часто успевают отбить несколько возов, - тогда ограбленные возчики пропали. Но если и получит крестьянин, наконец, свои деньги, то ярмарка поглотит их почти без остатка. Ночью в это время в каждом доме, в каждой лачуге идет безобразный разгул, против которого редкий устоит; деньги, таким образом, пропиваются и разбрасываются по разным притонам. Возчик, вынесший страшную дорогу, вымерзший, без всего едет домой, проклиная ярмарку.

Впрочем, мы имели в виду не эти материальные убытки, - бог с ними! Но ярмарка все здешнее население развратила; оподление здесь так глубоко проникло, что выработался особый тип здешнего обывателя, тип жадного, бесстыдного и пустого человека, котрый за грош готов продать - и действительно продает - все, что вообще есть у человека.

Плохая нынче была Ишимская ярмарка. Съезд был не такой огромный, как в прежние годы, да и товар привезен плохой; даже сделок на жирных товарах было меньше, тогда как и значение-то нашей ярмарке придают именно эти жирные товары. В прошлые годы продавалось без остатка миллионы кож, миллионы скотских туш, сотни тысяч пудов масла и сала и все десять тысяч наших обывателей. Ныне все это сократилось на одну треть, если не больше. Мужиков наехало мало, да и те слонялись по ярмарке без всякой надобности, ибо продать им было нечего, ввиду прошлогодних неурожаев, и купить им было также не на что; а так как мужики представляют собой сырье и это сырье есть единственный смысл нашей ярмарки, то ясно, что нынешняя ярмарка ни в каком случае не могла удасться; мужик не приехал.

Прежде наш город на неделю превращался в столицу и доставлял нам все развлечения, начиная с самых острых, назначенных, чтобы прошибить шкуру купцов, и кончая увеселениями благодущными; наезжали к нам хоры певчих, труппы артистов, музыканты, жулики из Москвы, шулера из Нижнего и головорезы со всей России. Нынче ярмарочнику негде было ночь провести.

Была, правда, гостиница с арфистками, но почему-то мало привлекала народу...

Приезжала откуда-то и труппа драматическая, но большинство актеров были настолько захудалыми и больными, что когда на сцене шла комедия, зрители готовы были рыдать.

Даже убили в нынешнем году только двух купцов - одного за городом, другого подле публичного дома, тогда как в былые годы убивали у нас за ярмарку по крайней мере десятков разного народа.

Но что никогда не бывало - это пустование многих домов. До нынешнего года каждая комната в каждом доме бралась с бою, причем за теплые углы платились баснословные цены; и никогда нашему обывателю не приходило в голову, что может прийти время, когда его дрянной домишка никому не будет нужен, кроме как ему одному, а ныне

такое время пришло, - хотя едва ли обывателю пришла идея бросить, наконец, надежду на свои голые стены и приняться за действительную работу. Точно так же едва ли нынешняя ярмарка внушила обывателю мысль перестать, наконец, продавать себя и не торговать больше всем своим существом; он так сжился с ярмаркой, что и не может представить себе другой жизни, - в обыкновенной жизни он так слаб и беспомощен, что отними у него ярмарку - он сразу почувствует, что у него под ногами нет земли.

Один знакомый пишущему эти строки домовладелец был просто только поражен результатом нынешней ярмарки, решительно недоумевая, что сей сон означает. Как и в прошлые годы, он приготовил весь свой дом к сдаче, постоянных жильцов выгнал и с спокойным сердцем стал ждать купцов. Но проходит день - купцы не едут; проходит другой день - нет купцов! Настает и самая ярмарка, а дом все стоит пустой. Домохозяин встревожился: он прислушивался к каждому звону колокольчиков, выбегал радостно на крыльцо, как только слышал приближение тройки, но тройки проезжали мимо. Пораженный обыватель, наконец, целый день стал торчать около своих ворот, снимал шапку. Когда мимо него скакали купцы с покрытыми снегом физиономиями, посылал работника заманивать жильцов в свой дом, но ничего из этого не вышло, - дом так и простоял всю ярмарку пустым. А что касается другого рода продажи, то и она ему не удалась.

И в таком положении очутились многие обыватели, которым не удалось сдать ни дома свои, ни самих себя.

- Конец скоро вашей ярмарке, - сказал я одному из этих несчастливцев.

- Ну, уж этому не бывать! Как у нас началась ярмарка, так она и всегда будет. Неладно вы изволите говорить... - сердитым тоном возразил обыватель.

- А вот плохая же нынче ярмарка; не лучше она будет и в будущем году.

- Это случай такой подошел... а чтобы совсем мы без ярмарки остались - нет это вы неладно...

- Да, она, быть может, и долго будет еще существовать, только кормить-то вас она уж не будет.

- Как не будет! Ярмарка-то?! Да чем же нам тогда кормиться-то, как не ярмаркой! Сторона наша гиблая, занятий у нас нет, так вот нам и послал бог ярмарку... Истинно бог послал, потому что других промыслов, кроме ярмарки, у нас не водится... А вы говорите - не будет ярмарки - очень это мне любопытно!..

И обыватель смотрел на меня уж не только сердито, но прямо как на человека, который от природы глуп. Напрасно я ему доказывал неизбежность падения ярмарки с развитием путей сообщения, когда из Тюмени сюда дойдет железная дорога, когда улучшатся другие пути сообщения, когда разовьется правильная торговля и установятся быстрые сообщения с Россией; напрасно я убеждал его, что всякая ярмарка есть беспорядок, а наша сибирская ярмарка в особенности, потому что на нее собираются наобум, не зная, что из этого выйдет; напрасно я

уверял его, что эта ярмарка только губит обывателя и что без нее он был бы честнее и совестливее, да и в материальном отношении жил бы лучше; совершенно напрасно я доказывал, что знаменитая наша ярмарка - сплошное распутство в общем значении и торговый разгул в экономическом смысле; все это обыватель выслушал с нескрываемым презрением и продолжал упорно возражать:

- Нет, это вы неладно...

И хотел, очевидно, этими словами сказать: "Нет, это вы даже глупо..."

Но из вежливости не говорил этого. Беспорядочность наживы, беделье в остальное время года, бедность - это такие черты здешнего обывателя, которые невозможно спрятать, да он и не скрывает их, считая все это неотъемлемыми свойствами человеческой природы. Мы говорим, впрочем, не о бедности экономической, материальной, которая каждому понятна, но о бедности душевной. И причина ее опять-таки ярмарка. Продав всего себя, обыватель ничего для себя не оставляет: ярмарка все у него купила - дом, стыд, гордость, двор, сердце, амбар, тело, так что ему самому для обихода ничего не осталось. Ярмарочники в десять дней загадят пивом и водкой стены его дома, опозорят его кровать, навалят кучи навозу во все углы его двора, забросав грязью его душу, и обыватель по окончании ярмарки чувствует себя по уши в грязи...

Здесь есть обыкновение после ярмарки поздравлять друг друга с ярмаркой, причем устраивают попойки и кутежи, оканчивающиеся иногда ужасным пьянством. Но мне кажется, что в этом случае обыватель пьет не от радости, а чтобы залить вином ту срамоту, какую оставила ярмарка во всем существе его.

Впрочем, лучше на живом лице показать, что у нас делается после ярмарки.

Знакомый мне старик имеет два хорошие дома, которыми во время ярмарки выручает рублей двести, а всего, с другими родами продажи, ярмарка дает ему до четырехсот рублей. Но, видно, деньги эти сколачиваются не особенно честными средствами, потому что у старика, сейчас вслед за ярмаркой, является страшнейшая хандра и скука, а затем - неодолимое желание пить. С течением времени у него образовался послепьяничный запой, преодолеть который он не в силах.

Пьет он до самого рождества, а иногда и рождество проводит в полнейшем безумии, разговаривая с чертями. Домашние отбирают от него все деньги и дают ему только водку, потому что было несколько случаев, когда он "пропивал и разбрасывал все деньги, какие только он зарабатывал" во время ярмарки. Несколько раз домашние пытались лишить его и водки, в полной уверенности, что, собственно, запоя у старика нет, что старичишка просто блажит. В самом деле, запой у него случался только после ярмарки, а во все остальное время года не повторялся. Но когда лишали его водки, с ним делались ужасные вещи. Он плакал, ползал на коленях у дочери и у жены - прося водки, и если получал отказ, то шел на улицу, падал на колени и просил одолжить ему, ради бога, двугривенный на водку.

*С. Каронин (Н.Е. Петропавловский)*  
**По Ишиму и Тоболу**

*Фрагмент*

Но проходила хандра, и старик делался самым трезвым человеком. Он был крайне работающим, хотя все его работы, как у большинства обывателей, поражали своей нелепостью. Однажды, в бурный зимний день, когда была вьюга, а снег густыми хлопьями валился на землю, я вошел во двор старика и поражен был, заметив, что он чистит снег. На мой вопрос, что это ему вздумалось чистить двор в то время, когда снег валится, он серьезно возразил, что он любит, чтобы у него везде было чисто на дворе. Эта нелепая работа продолжалась несколько дней; снег валится, а старик его сгребает в кучу, вывозит, потом метет метлой двор... А снег все сыплется, а старик все сгребает его лопатой и метет метлой... Ведь вот не пришло же ему в голову убрать сразу весь снег по окончании бурана! Ярмарка отняла у него способность даже к таким нехитрым соображениям.

Другие просто в это время пьянствуют, пропивают ярмарочную добычу, а в остальное время года колотятся кое-как.

Но большинство свой заработок прячет и перебивается на счет его круглый год, ничего не делая. Скряжничество и мелочность вследствие этого здесь небывалые; обыватели на грош не верят друг другу, и когда дело касается трех копеек, они делают просто отвратительными по своей мелочности. На днях только жена посадила мужа в каталажку за то, что он выкрал из ее тряпицы рубль серебром. Вообще отношения между горожанами невозможные, - каждый из них подозревает в другом мошенника и по всякому поводу обзывает его жуликом. И надо отдать справедливость этому убеждению: оно точно и истинно.

Это будет истинным счастьем для здешнего жителя, если наша безобразная ярмарка изведется измором, после чего исчезнет и этот отвратительный тип человека, пускающего в продажу все свое существо.

*Публикация по изданию: С. Каронин (Н.Е. Петропавловский). Сочинения в 2-х томах, т.2. - М.: Худож. лит., 1958, с.505-517.*

В Ишимском округе есть Старо-Локтевское село, населенное сибиряками с незапамятного времени. Но в шестидесятых годах сюда прибыла партия переселенцев из средней полосы России. Сначала они помещены были возле Локтинского на особом месте, но это место им не понравилось, и они перебрались со всеми постройками на другое место, также возле Локтинского, но по другую сторону его. В первые годы между старожилами и новоселами происходили частые недоразумения, из-за земли, тем более, что подлежащие власти долго не утверждали законным порядком факта переселения. Так например старожилы, зная наперед, что к ним назначены новоселы, поспешили вырубить лучшие деревья в лесу, жалея, что не могут вырубить всего леса. Но года через два, через три ввод во владение земель для новоселов совершен был, новая деревня названа Ново-Локтинской, отношения определились между старыми и новыми крестьянами, и недоразумения окончились.

Тем более, что пришлые люди были необыкновенно честны, мягки и добродушны. Приехали они, конечно, совершенно разоренными, оборванными, голодными, но ни один из них не запятнал себя воровством; старожилы удивлялись, видя, что в Новых Локтях ворота и двери не запирались, замков не было, и все оставалось целым. Когда богатому крестьянину надо было работника, он искал его прежде всего между новоселами; когда нужна была нянька, ее выбирали из новоселов; и это не потому, что там, в Новых Локтях, было много рабочих рук, а потому, что все без возражения признавали их честность, трудолюбивость, услужливость и - забитость...

Таким образом отношения между двумя деревнями установились самые дружеские. Но они долго не сливались, живя каждая по-своему. Пришельцы ничего не перенимали от старожилов. Вид Новых Локтей для сибиряка был просто нелепостью. Избушки маленькие, кособокие, безвременно пригнувшиеся к земле; дворишки непокрытые; телеги, сбруя, лошади - все это рваное, разбитое, убитое. Классическая грязь на улицах, во дворах, в домах; телята. Привязанные в передний угол, куры под лавкой; поросята в сенях. Пол чистят скребком, волосы чешут руками; моются и парятся в печках. Мужчины ходят в обычных полушубках, в которых, за множеством лохмотьев, нельзя разобрать покроя; женщины с раскрытыми грудями; а ребята без всякого одеяния, чумазы, грязные, как поросята. Ко всему этому надо прибавить лапти. Новоселы упрямо носили лапти, несмотря на то, что в Ишимском округе совсем нет липы, не продают лыка и на ярмарках. Не имея под руками лыка, новолоктинцы терпели из-за лаптей положительные страдания: они выписывали лыко из Тарского округа и даже далее, пока не убедились, что с таким же удобством, только с меньшими хлопотами, можно носить сапоги кожаные.

В земледельческих приемах новоселы также сначала держались того, что они вынесли из России; иногда пытались унавоживать поля, переворачивать сено, пахать настоящим плугом залежи и сохой возделанные земли, но скоро бросили все это, приглядывались к старожилам и, наконец, все делали так, как они.

Относительно землевладения новоселы еще скорее усвоили сибирские порядки. Когда земля была утверждена за ними, они разделили ее по душам, с намерением поделить ее, когда будет нужно, через несколько лет; но шли года, а участки не переделались; не переделены и теперь.

Ту же систему пользования, какая существует у старожил, восприняли ново-локтинцы и по отношению к другим угольям - лесам, лугам, выгонам, и проч. Оказались у них и вольные земли, но только ничтожное количество.

Итак, мы видим, что новая деревня не сливалась долгое время со старой, сибирской деревней, за исключением способов земледелия и форм землевладения, которые быстро усваивались новопришельцами. Они до последнего дня сохранили в неприкосновенности вынесенные из России обычаи и порядки. Старики, пришедшие уже сформировавшимися работниками, так и в могилу понесли лапти, и только молодежь мало-помалу, под давлением окружающего, подчинялась новым порядкам.

Теперь Ново-Локтинская имеет хороший вид; построенная на прекрасном месте, она весело глядит из-за зелени лесов, отражаясь в зеркальной поверхности окрестных озер. Половина домишек заменилась прочными избами, в которых введено разделение на две половины; наружный вид самих обитателей много переменялся. Молодежь, выросшую на месте, даже трудно отличить от сибиряков, от которых она заимствовала все, начиная от чисто выбеленной печки и вплоть до языка. Впрочем, нужно еще целое поколение, чтобы окончательно сгладить последние следы различия между Старой и Новой Локтинской.

*Публикация по изданию: Н. Петропавловский. По Ишиму и Тоболу (из путешествий и исследований крестьянского быта Западной Сибири) // Записки Западно-Сибирского отдела императорского русского географического общества, кн.8, в.1, Омск, 1886.*

□.□□□□□□ -

□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□□

Джордж Кеннан (1845-1924), американский публицист и путешественник неоднократно бывал в России. Впервые это произошло в 1864 году, когда он, девятнадцатилетний юноша, оказался в Восточной Сибири. Кеннан, уже имевший некоторый опыт работы телеграфистом, входил в состав экспедиции, занимавшейся изысканиями по проведению предполагавшейся телеграфной линии из Америки в Россию. Когда это предприятие расстроилось, в 1867 году вернулся в Америку через Охотск, Якутск, Иркутск, Томск и Петербург. В 1870 г. опять побывал в России (Волга, Кавказ, 4 месяца в горах Дагестана) и возвратился в Америку через Константинополь, Вену, Лондон весной 1871 г. Свои впечатления о стране он отражает в американских газетах.



*Джордж Кеннан.*

В 1884 г. он находится три месяца в России с целью подготовки путешествия в Сибирь, куда и отправляется в 1885 г. вместе с бостонским художником Джорджем Фростом для изучения русских политических тюрем и ссылки. В 1886 г. возвращается в США и составляет книгу “Сибирь и ссылка”. В 1890-98 гг. читает в Америке и Великобритании лекции о Сибири, России и о системе ссылки. Лекции и очерки Кеннана имеют разоблачительный характер и приводят к ссоре с русским правительством. Когда в 1901 году он делает попытку приехать в Россию, министр внутренних дел Сипягин издает распоряжение арестовать его и выслать за пределы империи в сопровождении стражи.

В России книга Кеннана “Сибирь и ссылка” была запрещена до самого начала XX века. За рубежом она появилась отдельным изданием во многих странах и в русских переводах (в вольной русской печати). Одним из таких изданий: Ж. Кеннан. Си-

бирь и ссылка, том II. Перев. с английского - без пропусков. Лондон. Вольная типография, 1890, пользовался А.П. Чехов, готовясь к своей поездке на Сахалин.

В книге американского журналиста мы находим выразительное описание нашего края. Одним из запоминающихся эпизодов путешествия стала встреча Д. Кеннана и Д. Фроста с главной святыней Ишимского округа - чудотворной иконой Богородицы Абалацко-Боровской. Яркая зарисовка крестного хода, увиденного вблизи Ишима, несомненное свидетельство писательского мастерства Кеннана, представившего эту картину в красках, звуках и движении, но при этом следует отметить неточность, правда, вполне простительную человеку, оказавшемуся здесь проездом. Чудотворная икона находилась не в Ишимском Богоявленском соборе, как пишет об этом Кеннан, а в храме Казанской Божьей Матери села Борового, расположенного в 16 верстах от Ишима. Из этого села икона ежегодно переносилась во время крестного хода 21 мая в Ишим, а затем в ближайшие села и деревни. 8 июля ее возвращали в Боровое. Для нью-йоркского издания книги Д.Фрост подготовил серию рисунков, один из которых с подписью “Возвращение чудотворной иконы” связан с данным эпизодом. Он интересен в качестве попытки воссоздания экзотического для американцев зрелища, но вместе с тем слишком условен, так как изображенные на нем храм и толпа народа мало соотносимы с реалиями сибирской архитектуры и быта.

*Д. Кеннан*

## Сибирь и ссылка

*- Фрагмент -*

Первая половина нашего путешествия из Тюмени в Омск была сравнительно не интересна и бедна событиями. Дорога шла по огромной болотистой равнине, полной топких озер и покрытой довольно редкой растительностью: ивой, ольхой, малорослыми березками, такими же приземистыми соснами и елями, со всех сторон суживающими поле зрения, закрывая линию горизонта. Вся эта часть Тобольской губернии, по-видимому, в еще сравнительно недавний геологический период представляла собою дно большого внутреннего моря, соединявшего Каспийское и Аральское моря с Ледовитым океаном и занимавшего собой котловину, по которой ныне протекают реки Обь и Иртыш. Повсюду между Тюменью и Омском мы видели доказательства этому в виде песчаных отмелей, солончаков, обнаженных пластов ила и топких озер,



свидетельствующих о том, что мы едем по наполовину высохшему морскому дну.

Отъехав с сотню верст от Тюмени, как раз за деревней Заводо-Уковской, мы под вечер сделали привал на 2 часа в имении богатого заводчика Колмакова, к которому у меня было рекомендательное письмо. Я очень удивился, найдя в этом глухом уголке столько удобств, вкуса, роскоши. Дом был бревенчатый, всего в два этажа, но большой и очень удобно обставленный; окна выходили на искусственное озеро и чудеснейший сад с подстриженными изгородями, извилистыми дорожками, обсаженными кустами крыжовника и смородины, с роскошными куртинами цветов. На одном конце сада находилась довольно большая тепличка, полная гераней, вербен, hydrangeas, кактусов, апельсиновых и лимонных деревьев и всевозможных сортов тропических и полутропических растений и тут же, вблизи, большой парник, где зрели огурцы и дыни-кенталупки. Посредине сада стояло четырехугольное здание футов 60 длины и 40-50 ширины, почти сплошь стеклянное и с земляным полом, служившее, по словам Колмакова, чем-то вроде зимнего сада и приютом в холодную или ветреную погоду. В этом миниатюрном хрустальном дворце приютилась целая роща пальм и бананов, среди которых бежали извилистые дорожки, окаймленные цветочными клумбами; там и сям в зелени виднелись удобные садовые кресла и скамейки. Деревья, цветы и кустарники росли не из кадок, а прямо из грунта, - получалось такое впечатление, как будто уголок тропического сада покрыт стеклом.

- Кто бы подумал, - сказал мне м-р Фрост, усаживаясь в плетеное кресло, рядом с куртиной цветущих вербен, - что мы в Сибири будем сидеть в тени пальм и банана?

Пройдясь по большому парку, примыкавшему к саду, мы вернулись в дом, где нам подали полдник или холодный ужин, состоящий из икры, маринованных грибов, лососины, холодной жареной птицы, белого хлеба, сладких пирожков и лесной земляники, а из напитков водки трех сортов, вина и чаю.

Лошади, заказанные нами в соседней деревне, приехали только к часам одиннадцати, когда уже совсем стемнело, простившись с нашими любезными хозяевами, мы влезли в тарантас и пустились в длинный, опасный ночной путь. Дорога, и вообще не очень хорошая, теперь была хуже, чем когда-либо, благодаря недавним проливным дождям. Ехали мы четверкой; ямщик гнал всю и от этой головоломной езды нас трясло, подбрасывало, кидало в разные стороны, так что трудно было усидеть на месте, не говоря уже уснуть. Рано утром, измученные, заспанные, страшно усталые, мы доехали до деревни Ново-Займской, вошли в избу "дружка", кинулись на голый пол, где уже лежало с полдюжины членов семейства хозяина, и часа три спали, как убитые, сном полного физического истощения, забыв о тяжелой боли в спине.

Весь следующий день и следующую ночь мы ехали без остановок и, разумеется, не спавши, по ужаснейшей степной дороге и к 6 час. утра четверга под проливной дождь и бурю въехали в уездный город Ишим.

Кто сам не испытал этого, тот не поймет, какое физическое страда-

ние, скакать день и ночь на почтовых по скверным сибирским дорогам. За полторы сутки мы сделали 200 верст от Тюмени до Ишима и спали только 4 часа; нас до того растрясло, что буквально каждая косточка ныла, и мы еле в состоянии были влезать обратно на почтовую станцию.

В Ишиме мы намеревались сделать короткий привал, но дурная погода привела нас в уныние и, напившись чаю в крестьянской избе на берегу Ишима, мы продолжали свой путь. За городом, в редкой березовой роще мы увидели большую толпу мужчин, женщин и детей, шлепавших по грязи в том же направлении, куда ехали мы. Большинство из них были обыкновенные мужики в штанах, забранных в сапоги, и рубахах навыпуск, или же загорелые крестьянские бабы в красных и синих платьях и белых платках на голове; но было среди них и несколько человек в обычном городском платье, очевидно принадлежавших к высшим классам общества, и даже с зонтиками.

Отъехав версты 4 от города, мы опять увидели множество мужчин и женщин, идущих навстречу нам густой шумной толпой, с большими трехконечными крестами, с белыми и цветными хоругвями, с огромными стеклянными фонарями на длинных черных шестах.

- Что это? - спросили мы ямщика.

- Мать Божья домой возвращается, - ответил он с благоговением и серьезностью.

Приглядевшись, я увидел, что толпа была всего гуще посредине грязной дороги, под большим образом в золоченой ризе, который несли высоко в воздухе на длинном, толстом деревянном шесте.

Нижний конец этого шеста был вставлен в отверстие посредине квадратной рамы, с ручками по углам, и несли его шесть крестьян с обнаженными головами. Массивная оправа изображения Божьей Матери была, очевидно, золотая или серебряная позолоченная и, видимо, очень тяжелая; у носильщиков пот градом катился с лица, и они гнулись под тяжестью ноши, хотя еще с полдюжины человек несли концы веревок от штандарта, поддерживающего икону. Впереди шел без шапки длинноволосый священник с книжкой в руках и по бокам его, с каждой стороны, 4-5 дьяконов или дьячков, несших вышитые шелковые хоругви, большие золоченые кресты и особого вида церковные фонари, походившие на обыкновенные уличные, с горящими в них свечами. Священник, дьякон и все, окружавшие образ, шли без шапок и пели в унисон сильными голосами какую-то монотонную песнь на низких нотах, все время шлепая по грязи; остальные мужчины и женщины поми-



*Возвращение чудотворной иконы.*

*Рис. Д. Фроста.*

нотно крестились и время от времени подтягивали пению. Многие крестьянские женщины снимали башмаки и чулки, перекинули их за плечи и шли босые по черной полужидкой грязи; дождь хлестал их по обнаженным головам и струился по суровым загорелым лицам, но никто на это не обращал никакого внимания. Толпа состояла, как мне кажется, из 400-500 человек, причем большая половина их были женщины, и, чем ближе к городу, тем больше росла от присоединения к ней виденных нами раньше встреченных групп пешеходов.

С самого приезда в Сибирь, я нигде еще не видал такой странной средневековой картины, как этот поп и дьяконы в черных ризах, вышитые хоругви, зажженные фонари, золотые кресты и огромная толпа босоногих, без шапок крестьян, идущие через лес, по грязной дороге, под проливным дождем, под однообразное церковное пение. Мне казалось, что я перенесен в XI век, вижу шествие отряда поселян, увлеченных красноречием Петра Пустынника и с крестами, хоругвями и церковными гимнами идущих, чтобы присоединиться к великой рати крестоносцев.

Когда хвост процессии скрылся из виду и хриплое монотонное пение замерло вдали, я повернулся к своему спутнику и спросил:

- Как вы думаете, что это значит?

- Понятия не имею. Очевидно, церковная процессия. Но что они делают тут, в лесу, - не могу себе представить.

Из расспросов у ямщика я, наконец, сообразил, в чем дело. В одной из ишимских церквей была старая чудотворная икона Божьей Матери, которую раз в год, или раз в два года носили по всем большим селам Ишимского округа для того, чтобы и деревенский люд, не имеющий возможности съездить в Ишим, мог поклониться чудотворной иконе и получить от нее исцеление. В сельских церквях служили особые молебны в честь этой иконы и сотни народа торжественно провожали ее из одной деревни в другую. Мы повстречали ее как раз на обратном пути в Ишимский собор.

Дождь, с небольшими перерывами, лил весь четверг, но мы все ехали по разлитой степной дороге по направлению к Тюкалинску, меняя лошадей на почтовых станциях Боровской, Тушновоблой, Абатской и Камышенке; на ночь мы останавливались в крестьянской избе в деревне Орловой. За 60 часов со времени выезда нашего из Тюмени мы проехали 280 верст, отдохнув только 4 часа, и так страшно устали, что без передышки не могли ехать дальше. Погода за ночь совсем прояснилась, и на другое утро, когда мы выехали, солнце уже ярко сияло на почти безоблачном небе; воздух был свежий, бодрящий, пропитанный ароматами.

Дорога все время была скверная, но местность, чем дальше к югу и к востоку, становилась тем красивее, и к полудню нас уже окружал необъятный простор лугов; линия горизонта лишь местами прерывалась группами невысоких березок или темной зелени ивы и ольхи. Степь вся пестрела цветами; там и сям пестрели широкие темные полосы только что вспаханной земли или же волнующиеся от ветра нивы, показывающие, что местность эта обитаема; но нигде, ни с какой стороны не видно было ни забора, ни риги, ни дома, и я невольно дивился, где же деревня, жители которой возделывают эти поля. Мое любопытство

скоро было удовлетворено. Через несколько минут наш возница собрал двухрядные вожжи, уселся покрепче на козлы, высоко над головою взмахнул тяжелым длинным кнутом, "вытянул" им всю четверку и крикнул высоким фальцетом, перешедшим вдруг в густой бас: "Гей-яя-го!" Вся четверка сразу пустилась бешеным галопом, так что у меня даже дыхание захватило, но тотчас же меня подбросило так, что я ударился головой о верх экипажа. И опять пошла невозможная тряска, от которой страдали голова и бока. Мне не нужно было дальнейших доказательств того, что мы подъезжаем к деревне.

Сибирская лошадь ни за что не покажет полностью своей рыси, пока до места назначения не останется всего каких-нибудь полверсты; зато тут она обнаруживает необычайную энергию. Я кричал ямщику: "Постой, тише!", но напрасно. И ямщик, и лошади знали, что это последнее усилие, и прилагали все старание; лошади прижали уши к голове и мчались, словно их преследовал луговой пожар; ямщик бешено хлестал их кнутом, сопровождая это свистом и какими-то дикими окриками. Нам оставалось только закрыть глаза и верить теперь Провидению. Тарантас был весь забрызган грязью и, когда я попробовал было высунуть голову, чтобы уговорить ямщика не гнать, мне чуть было не залепило рот огромнейшим комком полужидкой грязи, брошенным копытами пристяжной.

Минуту спустя мы увидели перед собой длинный плетень, тянувшийся больше, чем на версту вправо и влево, с узенькими воротами в том месте, где он перегораживал дорогу. Это была околица. Проскочив с диким гиканьем в открытые ворота, мы мельком увидели возле ворот курьезнейшую сторожку, наполовину вкопанную в землю, с крышей из ветвей и дерна; из сторожки вышел грязный захудалый сторож с воспаленными глазами, длинной седой бородой, напомнивший мне Рип Ван-Винкля после двадцатилетнего сна. Пока он успел поклониться нам, дотронувшись до своего головного убора, который когда-то был шляпой, мы уже пронеслись мимо и потеряли его из виду, жалея, что нельзя было остановиться и снять его, - так хорош был этот дед в своих живописных лохмотьях.

За воротами, внотри околицы, стоял некрашенный столб с прибитой к нему доской, на которой четко выведено было черными буквами:

*Деревня Крутая.*

Расстояние от С.-Петербурга ..... 2992 версты.



*Крестный ход в Ишиме.  
Фотография конца XIX века.*

Между околицей и деревней на полверсты тянулся покрытый травой выгон, на котором паслись рогатый скот и овцы. Там и сям виднелись высокие живописные ветряные мельницы, с огромными крыльями накрест. За мельницами виднелась деревня - кучка старых обветренных изб, крытых иные тесом, иные берестой, придерживаемой крепко привязанными к ней колыями, иные соломой; попадались и плоские крыши, покрытые степным черноземом, на котором выросла трава и полевые цветы. Эти серые избы были разделены одной центральной улицей без тротуаров, от края до края представлявшей собой сплошное море жидкой черной грязи. И по этой-то улице мы неслись безумным галопом. На стук лошадиных копыт по грязи, громыхание тарантаса, на дикое гиканье ямщика все население деревни кидалось к окнам посмотреть, не генерал ли губернатор, не царский ли гонец то бешено скачет по тихой улице деревушки. Наконец, ямщик остановил вспененных, тяжело дышавших лошадей перед домом “дружка” и крикнул: “Давай лошадей!”

Тут со всех сторон деревни стали сходить, шлепая по грязи, старики да и молодежь от безделья посмотреть, кто проезжие. Странные, живописные фигуры представляли собой старики со своими морщинистыми лицами, нечесаными, спутанными волосами и длинными седыми косматыми бородами. Многие были без шапок, иные босы, на некоторых были изорванные шубы и сапоги с отворотами; на других были длинные желтоватые армяки, стянутые в талии обрывками цветных поясков. Все они собрались около тарантаса. Наш ямщик слез с высоких козел и начал распрягать лошадей. Скоро появился и хозяин дома, у которого мы остановились, и спросил, хотим ли мы сейчас ехать, желаем ли отдохнуть и выпить чайку. Я сказал, что мы хотим ехать сейчас же. - “Андрей! - крикнул он одному из своих сыновей, - съезди на выгон, приведи лошадей”. Андрей вскочил на неоседланную лошадь, которую держал в поводу другой парень, и поскакал к выгону.

Тем временем собравшаяся толпа следила за каждым нашим движением, обмениваясь замечаниями насчет нашего “новомодного” тарантаса и выпытывая у нашего ямщика, кто мы такие и куда едем. Но ничего путного не добившись, один из них, седобородый старик без шапки, сказал:

- Барин, дозвоьте спросить, куда вас Бог несет?

Я ответил, что мы едем в Омск из Семипалатинска.

- А-а-а! - пронеслось в толпе, довольной тем, что мы удовлетворили ее любопытство.

- Откуда же вы изволите ехать? - продолжал допытываться старик.

- Из Америки.

- Это - что ж, русский город?

- Америка - не город!

- У-у! - крикнул бойкий румяный мальчуган из передних рядов. - Это страна. Весь свет, - продолжал он скороговоркой, словно читая по книжке выученный урок, делится на пять частей: Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия. Россия занимает половину Европы и две трети Азии.

Дальше этого его познания в географии, видно, не простирались, но, очевидно, взрослые обитатели деревни не слыхали и вовсе об Америке. Только один молодой парень, случайно бывший в Омске в то время, как через этот город провозили тела участников полярной экспедиции, погибших на “Жаннете”, начал просвещать толпу насчет американцев, говоря, что они самый умный народ из всех, сотворенных Богом, и единственный, осмелившийся пуститься в плавание по большому “Ледяному морю”. Один из стариков заспорил с ним, говоря, что русские пловцы ходили в Ледяное море и что хоть они, может быть, и не такие “умные”, как американцы, но на море справляются не хуже их. Завязался оживленный спор, посредине которого вернулся с гиканьем и свистом малый, посланный за лошадьми, гоня перед собою четверку; вскорее лошади были запряжены и привязаны к тарантасу длинными веревочными постромками. Новый ямщик влез на козлы, осведомился, готовы ли мы, подобрал вожжи, крикнул: “Но-о-о-о”, и снова с тем же позвякиванием бубенцов под дугой, с тем же “хлоп-хлоп” лошадиных копыт по грязи, мы покатали вон из деревни.

То же, с небольшими вариациями, было и во всех степных деревнях, где мы меняли лошадей, на пути от Тюмени до Омска. Деревни эти по большей части смотрели глухими, заброшенными, без дров, без тротуаров, без деревьев, без лужаек, покрытых травой, не говоря уж о садиках; глазу представлялись только две параллельных линии серых обветшалых бревенчатых изб и готовых развалиться заборов, словно выросших прямо из лоснящейся черной грязи, покрывавшей всю улицу.

С чувством огромного облегчения выезжаешь из такой деревушки на широкий простор степи, обвеянной вольным ветром, где воздух полон запахом клевера и пением птиц, где глаз ласкает бархатная зелень гладкого дерна и, волнуемый от ветра, степной ковыль, усеянный миллионами диких роз, белых маргариток, стройных колокольчиков и темно-красных, с белыми пятнами, лилий. Между деревнями “Крутая” и “Колмакова” степь буквально представляет собою сплошное море цветов. На пространстве квадратного ярда можно набрать двадцать различных пород. Время от времени мы сворачивали с грязной проезжей дороги и несколько верст подряд ехали целиной, каждым оборотом колеса губя траву и цветы. В одном месте я попросил ямщика остановиться и подождать меня; мне хотелось отдохнуть в этой цветочной пустыне, упиться ее ароматами, ее безмолвием, потонуть в этом море зелени, прорезанном извилистой черной лентой грязной дороги. Слева от меня, по ту сторону дороги, тянулась широкая котловина в 6-8 верст поперек, с противоположной стороны поднимавшаяся уступами, замыкаясь темно-синей линией леса, скрывавшего горизонт; вся эта котловина была сплошь покрыта зеленым дерном, на котором паслись коровы и овцы, издали казавшиеся пестрыми точками. Там и сям серебристыми пятнами блестели лужицы или маленькие озера. Около меня, по откосу, степь расстилалась цветочным ковром; среди цветов я заметил великолепные оранжевые астры, 2 дюйма в диаметре, пестрые пятнистые лилии, с сильно загнутыми назад лепестками, белый клевер, маргаритки, колокольчики, спирея, донник, бабовник и какие-то незнакомые мне цветы с длинными тонкими изогнутыми стеблями, и множество

маленьких ярко-красных цветочков сверху, похожих на ракеты, пушенные степными феями. В недвижимом и тихом воздухе стоял какой-то странный сладкий запах, который я могу сравнить с вкусом дикого меда.

Ни один звук не нарушал тишины, кроме усыпляющего гудения пчел, медного стрекотания кузнечиков в траве и жалобного крика степного ястреба, кружившего над гнездом полевой мыши. Такое наслаждение было лежать в этой траве, среди цветов, видеть, слышать, дышать.

Всю пятницу мы ехали степью, останавливаясь только затем, чтобы срисовать какой-нибудь уголок, набрать цветов или, пока меняют лошадей, порасспросить крестьян о ссыльных. Время от времени мы встречали одинокого путника в грязном тарантасе, едущего в Тюмень, или же партию ссыльных в серых армяках, тяжело шагавших по грязи, окруженных цепью солдат; но так как мы ехали не по большой проезжей дороге, то повозок встречали мало, кроме крестьянских телег, едущих из деревни в поле и обратно.

Часть Тобольской губернии от Тюмени до Омска гораздо богаче и плодороднее, чем может показаться поверхностному наблюдателю по внешности большинства деревень. Четыре уезда или округа\*: Тюменский, Ялуторовский, Ишимский и Тюкалинский, через которые лежал наш путь, заключают в себе около 4.000.000 акров годной к обработке земли, и населения в них 650.000 человек. Крестьяне в этих уездах владеют 1.500.000 голов скота; эти четыре уезда поставляют две трети всего собираемого в губернии хлеба - 30.000.000 четвериков. Ежегодно в 220 городах и деревнях этих четырех округов бывают местные ярмарки, на которых идет оживленный торг разным товаром. В Ялуторовском округе ежегодный оборот этих ярмарок исчисляется в 4.000.000 рублей, в Ишимском - 7.000.000 и во всей губернии в 28.000.000. Из этих статистических данных, а также из расспросов крестьян по дороге, я заключаю, что если бы в Тобольскую губернию назначить губернатором интеллигентного и честного человека, да освободить ее от тяжелого бремени уголовных ссыльных, она в короткое время сделалась бы одной из цветущих губерний во всей империи.

*Фрагмент книги публикуется по изданию: Д. Кеннан. Сибирь и ссылка. Т.1, пер. с английского З.Н. Журавской. - СПб. Издание С.Н. Салтыкова, 1906, с. 100-109.*

*\* Русский округ имеет такое же отношение к губернии, как американское графство к штатам, с той разницей, что в России все пропорционально много больше. Тобольская губ., занимающая пространство в 590.000 кв. миль, имеет 10 округов размером, приблизительно, с весь наш штат Мичиган. Если взять всю территорию от реки Огайо и Потомака и к востоку от Миссисипи и сделать из этого один штат, а все существующие штаты обратить в графства, тогда пропорциональное отношение такого штата и графств друг к другу и ко всем Соединенным Штатам было бы приблизительно то же, как Тобольская губ. к ее округам и к Сибири. Высшая административная власть - губернатор. В округе - исправник (прим. Д. Кеннана).*

Дайте место горю нежной –  
Сердце юное разбито.  
Бейся, бейся в муках, птичка,  
Умирай на ярком солнце,  
Только знай, что мы готовим  
Праздник мести за измену.  
Мечь Кодару, мечь злодею:  
Кровь джигита ждет отмщенья...

#### Примечания к тексту:

<sup>1</sup> Бейбак – бездельник, неповоротливый, ленивый человек.

<sup>2</sup> Шок-Терек – урочище на реке Аягуз.

<sup>3</sup> Клыш – сабля.

<sup>4</sup> Найза – пика.

*Текст публикуется по изданию: Сказание о Козы-Корпече и Баян-Слу. Перевод и обработка Г.Тверитина, - М. - Л.: Изд-во детской литературы, 1941.*

#### СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

|         |   |   |
|---------|---|---|
| РГИА    | - | Российский государственный исторический архив. Санкт-Петербург.     |
| РГАЛИ   | - | Российский государственный архив литературы и искусства. Москва.    |
| РНБ     | - | Российская национальная библиотека. Санкт-Петербург.                |
| РГБ     | - | Российская государственная библиотека. Москва.                      |
| ГАТО    | - | Государственный архив Тюменской области.                            |
| ТФ ГАТО | - | Тобольский филиал государственного архива Тюменской области.        |
| ТГИАМЗ  | - | Тобольский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. |
| ГАОО    | - | Государственный архив Омской области.                               |
| ИФ ГАТО | - | Ишимский филиал государственного архива Тюменской области.          |
| ИКМ     | - | Ишимский краеведческий музей.                                       |

Официальной причиной поездки А.П. Чехова в 1890 г. в Сибирь и на Сахалин было изучение быта переселенцев и каторжан. В качестве корреспондента газеты “Новое время” (редактор А.С. Суворин) Чехов должен был знакомить читателей с суровыми условиями жизни этих людей. Но чеховское путешествие было вызвано и рядом скрытых побудительных мотивов. Впоследствии писатель попытается объяснить свое решение ехать “на край света” желанием узнать жизнь России, запастись яркими впечатлениями, а самое главное, пережить новые ощущения. Эта цель, как, впрочем, и другие, была осуществлена в полной мере. Уже в письмах с дороги Антон Павлович говорил о “непонятном задоре”, заставлявшем его рисковать здоровьем, быть на грани между жизнью и смертью, испытывать множество физических неудобств и при этом чувствовать большую радость.



*А.П. Чехов.  
1890.*

В письме от 5 июня 1890 г. из Иркутска, обращенного к писателю и редактору журнала “Осколки” Н.А. Лейкину, он замечал: “Многое я видел и многое пережил, и все чрезвычайно интересно и ново для меня не как для литератора, а просто как для человека. Енисей, тайга, станции, ямщики, дикая природа, дичь, физические мучительства, причиняемые дорожными неудобствами, наслаждения, получаемые от отдыха, - все, вместе взятое, так хорошо, что и описать не могу. Уже одно то, что я больше месяца день и ночь был на чистом воздухе - любопытно и здорово; целый месяц ежедневно я видел восход солнца от ночи и до конца”<sup>1</sup>.

А в письме к брату Александру, написанном в тот же день, Чехов, называя Сибирь “холодной и длинной страной”, вновь говорит о своих эмоциях: “Интересного и нового вижу мало, зато чувствую и переживаю много. Воевал с разливами рек, с холодом, с невылазной грязью, с голодухой, с желанием спать... Такие ощущения, которые в Москве и за миллион не испытаешь”.

И уже после своего, почти восьмимесячного, путешествия Чехов пишет: “...тяжко ехать и ехать, но зато как легки и воздушны воспоминания обо всем пережитом!” (И.Л. Леонтьеву-Щеглову, 10 декабря 1890 г.).

А.П. Чеховым был проделан громадный и крайне нелегкий для человека слабого здоровья путь: от Москвы до Северного Сахалина, а самая тяжелая часть путешествия по Сибири началась для него от Тюмени. Первоначальному замыслу Чехова - плыть от Тюмени до Томска на пароходе - помешала поздняя навигация. Узнав, что первый пароход в Томск пойдет лишь 18 мая, Чехов принимает решение, не теряя времени зря, отправиться 3 мая из Тюмени по сибирскому тракту на лошадях. “Почтовым” ямщикам он предпочел “вольных” и в тарантасе, открытом всем ветрам, поехал по “самой большой и, кажется, самой безобразной дороге в мире” в сторону Ишима.

В Ишим Чехов прибыл 4 мая, а 5 мая он выехал из него в село Абатское, откуда после кратковременной остановки, необходимой для смены лошадей, продолжал свое странствие по земле сибирской. Именно здесь, по мнению исследовательницы очерков Чехова “Из Сибири” М.Л. Семановой, и были записаны первые впечатления о новом для него крае<sup>2</sup>. Окончательная же подготовка очерков к печати в газете “Новое время” состоялась несколько позднее в гостинице Томска.

Примечательно, что Ишим будет упоминаться уже в самом первом очерке, открывающем сибирский цикл. Возница Чехова, нанятый им в Тюмени, рассказывая свою “биографию”, упоминает родителей - “киржаков” (раскольников), которые “за всю свою жизнь не видали ни одного города, кроме Ишима”<sup>3</sup>.

Не менее значим и другой момент: образ чеховской Сибири, который останется фактически неизменным во всем цикле, за исключением последнего, девятого очерка, сформируется на пути

от Тюмени к Томску через Ишим и село Абатское. Из каких констант он складывается? На первый взгляд, достаточно традиционных: сумрака, ночи, холода, безлюдья. Традиционно и само противопоставление Сибири всей России в начальных строках первого очерка: “Да, уже май, в России зеленеют леса и заливаются соловьи, на юге уже давно цветут акация и сирень, а здесь, по дороге от Тюмени до Томска, земля бурая, леса голые, на озерах матовый лед, на берегах и в оврагах лежит еще снег...”<sup>4</sup>.

И все же чеховская эстетика нежных и прозрачных полутонов, в которой выполнены ландшафтные зарисовки его прозы: повестей и рассказов, - проявится и в очерках “Из Сибири” и определит новизну художественного образа нашего края: пустынной, грустной, но такой прекрасной земли. Один из самых дивных чеховских пейзажей всего цикла - “абатский”: “По сторонам дороги и вдали на горизонте змееобразные огни: это горит прошлогодняя трава, которую здесь нарочно поджигают. Она сыра и туго поддается огню, и потому огненные змеи ползут медленно, то разрываясь на части, то потухая, то опять вспыхивая. Огни искрятся, и над каждым из них белое облако дыма. Красиво, когда огонь вдруг охватит высокую траву: огненный столб вышиною в сажень поднимается над землей, бросит от себя к небу большой клуб дыма и тотчас же падает, точно проваливается сквозь землю. Еще красивее, когда змейки ползают в березняке, весь лес освещен насквозь, белые стволы отчетливо видны, тени от березок переливаются со световыми пятнами. Немного жутко от такой иллюминации”<sup>5</sup>.

Значимы в художественной системе сибирских очерков и звуковые образы. Глубокая, “тяжелая, гробовая тишина” сменяется криками ямщиков, бранью перевозчиков или наполняется голосами птиц, изобилие которых особенно поразило Чехова-путешественника: “...раздается знакомый мелодичный звук, глядишь вверх и видишь невысоко над головой пару журавлей и почему-то становится грустно. Вот пролетели дикие гуси, пронеслась вереница белых как снег, красивых лебедей... Стонут всюду кулики, плачут чайки”, “Где-то токуют тетерева”<sup>6</sup>.

Чехову-художнику достаточно нескольких штрихов, чтобы “закрепить” в своих очерках выразительные фигуры арестантов, паромщиков-ссылных, ямщиков, переселенцев. На основе ми-

молетного наблюдения создаются запоминающиеся образы людей, увиденных на сибирском тракте. К примеру, встреченный на пути в Ишим курский мужик “со скрипками” становится “героем” миниатюрной, но такой емкой по смыслу и печальной по интонации вставной “новеллы” о быбыле, живущем из милости у своего брата. С его семьей он отправляется в далекую Сибирь, где неминуемо зачахнет и умрет.

Сибирские впечатления писателя отражены и в письмах к родным и знакомым. Из Ишима Чехов отправляет так называемое “открытое письмо”. Оно содержит следующее сообщение: “4 мая. Я жив, здоров и благополучен. Кофе варить научился, но только у меня на стакан идут две ложки, а не одна. Клянюсь всем нашим и Линтварям. Зелени нет, морозно. Зябнут ноги. Будьте здоровы. Не скучайте. Ваш уважительный сын А. Чехов”. Постскрипту: “Зелени буквально еще нет ни капли”. На обороте указан адрес: г. Сумы (Харьковской губернии). Евгении Яковлевне Чеховой на Луке. На этой открытке, хранящейся в настоящее время в Российском государственном архиве литературы и искусства (Москва), имеется пять почтовых штемпелей. На трех из них указано: Ишим Тобольской губернии, почтово-телеграфная контора, 6 мая 1890 г. На двух других значится: г. Пермь, 11 мая 1890 г. и Сумы Харьковской губернии, 17 мая<sup>7</sup>.

Позднее Чехов в письме из Иркутска от 6 июня 1890 г. интересовался у родственников: “Получали ли из мелких городов мои открытые письма? Берегите их: по ним буду судить о скорости почты. А почта здешняя не спешит”. Самым первым “мелким” сибирским городом для Чехова стал Ишим.

О своей остановке в Ишиме А.П. Чехов расскажет подробнее в томском письме от 16 мая 1890 г., обращенном к матери Евгении Яковлевне, сестре Марии Павловне и брату Михаилу Павловичу. Жалуясь на холод и неудобные сапоги, Чехов говорит о покупке в Ишиме валенок, в которых он проделал путь до самого Томска, пока они “не раскисли от сырости и грязи”. Чуть ниже в своих рассуждениях о ссыльных поляках, попавших в Сибирь после подавления восстания 1863-1864 гг., он пишет: “В Ишиме один богатый пан Залесский, у которого дочь похожа на Сашу Киселеву, угостил меня за 1 рубль отличным обедом и дал мне комнату выспаться; он держит кабак, окулачился до

мозга костей, дерет со всех, но все-таки пан чувствуется и в манерах, и в столе, во всем. Он не едет на родину из жадности, из жадности терпит снег в николин день, когда он умрет, дочка его, родившаяся в Ишиме, останется здесь навсегда - и пойдут таким образом множиться по Сибири черные глаза и нежные черты! Эти случайные примеси крови нужны, ибо в Сибири народ некрасив. Брюнетов совсем нет”.

И, наконец, вспоминая в том же письме обед на берегу Томи, Чехов вновь называет фамилию “ишимского пана”: “...хозяйкина дочь подает мне отличных щей с прекрасным мясом и жареной картошки с огурцом. После пана Залесского я ни разу так не обедал”.

В письмах Чехова из Сибири содержится немало жалоб на всевозможные дорожные неудобства: невылазную грязь, голодуху, желание спать, “дождь, злющий ветер, холод”. Ишим же, один из немногих уездных городов, оставил у Чехова приятные впечатления. Здесь он получил кратковременный, но столь необходимый ему отдых, хорошую еду, тепло, участливое обхождение. А ишимские валенки Чехов будет вспоминать в течение целого месяца! В первом “последним ишимском” письме к М.В. Киселевой от 7 мая 1890 г. он заметит: “... день и ночь еду в полушубке и валенках”. В уже цитируемом послании из Томска он скажет о валенках семь раз! О валенках будет идти речь и в письмах к А.С. Суворину от 20 мая 1890 г. из Томска, Н.А. Лейкину от 5 июня 1890 г. из Иркутска, А.Н. Плещееву от 5 июня 1890 г.

А что же известно о “пане Залесском”, принявшем столь гостеприимно А.П. Чехова в Ишиме? В 80-90-е гг. это была достаточно заметная в городе фигура. Антонин Залесский или, что гораздо чаще, Антон Францевич Залевский (так называли его в городе и так писали его имя и фамилию в ряде документов), “политический ссыльный”, “польский переселенец”, “мещанин города Ишима”, занимался винной торговлей. Так, в журнале Ишимской городской Думы от 10 ноября 1889 г. есть следующая запись: “Ишимский мещанин Антон Францев Залевский обратился к господину Тобольскому губернатору с просьбой о разрешении ему открыть временную выставку с продажей пива, распивочно и на вынос, во время зимней Никольской ярмарки 1889 г. с 27 ноября по 15 декабря на площади, находящейся

за чертою г. Ишима и занимаемой во время ярмарки конным базаром”. Губернатор “препровождает” означенное решение к городскому Голове “для передачи на разрешение городской Думы”, которая постановляет: “разрешить Залевскому открыть временную выставку во время зимней Никольской ярмарки для продажи пива на конной площади, взыскав от него в пользу города за место 25 рублей”<sup>8</sup>.

В 1894 году он обращается в Думу с прошением “...о дозволении открыть трактирное заведение”. В Ишиме Залесский жил с 1871 года. Данный факт выясняется из двух его телеграмм губернатору от 27 апреля и 1 мая 1880 г. В этом году он, по неизвестной нам причине, был переведен из Ишима на другое местожительство - в Усть-Ламенское. Телеграмма от 27 апреля следующего содержания: “Проживая в Ишиме 9 лет имею домообзаводство скотоводство занимаюсь черным трудом полиция выслала меня в Устьламенское где не имею средств жизни разрешите возвратиться в Ишим где если нужно полиция может иметь надзор ответ уплочен Антон Залесский”<sup>10</sup>. Просьбу Залесского удовлетворили, и он был возвращен в Ишим.

Мы знаем также, что Залесский был в приятельских отношениях с почетным гражданином города, надзирателем тюремного замка Алексеем Терентьевичем Волохиным, который, будучи православного вероисповедания, избрал в качестве воспреемника для своей новорожденной дочери Аполлинии человека католической веры - поляка А.Ф. Залевского. В Ишимском архиве имеется Метрическая книга Градо-Ишимской Тюремной Богородице-Скорбященской церкви, где есть запись о крещении 7 января 1892 года Аполлинии Волохиной, родившейся 30 декабря 1891 года.

Впоследствии Аполлиния Алексеевна закончит ишимскую прогимназию, в советское время станет учительницей начальных классов и будет вспоминать, как в раннем детстве со своей матерью ходила в гости к крестному, дом которого находился за старым кладбищем.

В 1897 году в Тобольской губернии проходит всеобщая перепись населения. Переписные листы по Ишиму, сохранившиеся в Тобольском филиале архива Тюменской области, свидетельствуют о том, что А.Ф. Залевский владел двумя домами в раз-

ных частях города. Один из них находился в 1-й части, в 3-м квартале, в Дементьевском переулке (ул. Чкалова), а второй, состоящий из трех жилых строений, - во 2-й части, в 4-м квартале<sup>11</sup>. “Это дворовое место, представлявшее некий “островок” на пустынной окраине города, имело название “Заимка Залевского””.

Из переписного листа на дом Залевского в Дементьевском переулке можно почерпнуть следующие сведения о хозяине. Антону Францевичу уже 72 года, он родился около 1825 года в г. Владимире Волынской губернии. Принадлежит к мещанскому сословию, по вероисповеданию - католик. Родной язык - польский, грамоте обучался в домашних условиях, умеет читать. Главным средством существования является винная торговля. В графе “семейное положение” указано: “холост”, но следует учесть, что “при нем” в качестве квартирантки проживает ишимская мещанская девица Марфа Ивановна Баженова, пятидесяти лет.

В квартире Залевского значится еще шесть человек. Жильцы: Константин Григорьевич Свечников и Петр Алексеевич Калмыков, занимающиеся “письмоводством”. Две кухарки-прислуги и чернорабочий польского происхождения, а также “гостья”, мать М.И. Баженовой.

А на заимке Залевского проживает девять человек. Это молодые женщины с детьми, солдатские жены, мужья которых находятся, по всей видимости, в казармах, расположенных рядом с заимкой. Таким образом, наряду с винной торговлей вторым немаловажным источником доходов Антона Францевича была сдача квартир внаем.

Умер А.Ф. Залевский 4 мая 1899 года в Ишиме, был погребен 7 мая на местном кладбище по католическому обряду священником Корневским. Согласно духовному завещанию, составленному 30 апреля 1899 года, все свое движимое и недвижимое имущество он передал “в вечное и потомственное владение крестьянину Ишимского уезда, Боровской волости (село Боровое) Осипу Васильевичу Мартыновичу”, который должен был принять на себя платеж всех долгов Залевского, как в Ишимский городской общественный банк, так и частным лицам.

Именно такое условие было выдвинуто Залевским О.В. Мартыновичу, получившему в наследство “участок усадебной земли в конце города Ишима, в соседстве с городской больницей и казармами”, на котором находился “одноэтажный деревянный дом, такой же флигель и надворные постройки”. Ясно, что речь здесь идет о “Заимке Залевского”, а дом в Дементьевском переулке к этому времени уже не является собственностью Антона Францевича.

Указывая Мартыновича в качестве единственного своего наследника, Залевский уточняет: “Находящаяся же у меня в услужении ишимская мещанская девица Марфа Ивановна Баженова, как получившая полное вознаграждение движимостью при жизни моей заявлять претензии к Мартыновичу не должна”. В “Сведениях о наследственном имуществе”, представленных О.В. Мартыновичем в Тобольскую казенную палату, на вопрос: “Кто состоит или считает себя наследником умершего”, дается ответ: “Никто права из родственников на наследство не заявлял и неизвестно, имеются ли прямые наследники”<sup>12</sup>.

Вот здесь-то и возникает самый “загадочный” момент в биографии “пана Залесского”, который связан с его дочерью. Была ли она незаконнорожденным ребенком “холостого” Залевского и “мещанской девицы” М.И. Баженовой? А может быть, “жилицей” Залевского или дочерью квартирантов хозяина дома? Как сложилась ее судьба в дальнейшем? Умерла от эпидемии холеры в 1892 году? Навсегда уехала из Ишима? Никакого упоминания о ней в документах, связанных с А.Ф. Залевским, мы не обнаруживаем. Остается только надеяться на будущие архивные находки.

Одно можно уже сейчас сказать с уверенностью: единственная сибирская барышня, понравившаяся А.П. Чехову, была увидена им в доме “пана Залесского” в Ишиме. Она стала исключением из общего правила, так как в целом чеховское отношение к сибирским женщинам и, прежде всего, к их внешности было весьма далеким от восторженного. В очерках “Из Сибири” мы читаем: “Женщина здесь так же скучна, как сибирская природа; она не колоритна, холодна, не умеет одеваться, не поет, не смеется, не миловидна и, как выразился один старожил в разговоре со мной: “жестка на ощупь”. Когда в Сибири со временем наро-



дятся свои собственные романисты и поэты, то в их романах и поэмах женщина не будет героинею; она не будет вдохновлять, возбуждать к высокой деятельности, спасать, идти “на край света”.

А в письме к родным от 7 июня 1890 г. из Иркутска эта оценка принимает еще более уничижительный характер: “Я, должно быть, влюблен в Жамэ (московская знакомая Чехова Л.С. Мишинова - Т.С.), так как она мне вчера снилась. В сравнении с Парашами-сибирячками, со всеми этими рылами, не умеющими одеваться, петь и смеяться, наши Жамэ, Дришки и Гундасихи просто королевы. Сибирские барышни и женщины - это замороженная рыба. Надо быть моржом или тюленем, чтобы разводить с ними шпаков”.

И только черноглазая дочь ишимского “пана” оставила у Чехова приятные впечатления, вызвав ассоциации с Сашей Киселевой, дочерью владельцев имения Бабкино под Москвой - Марии Владимировны и Алексея Сергеевича Киселевых. А.П. Чехов любил Сашу за ее живой нрав, миловидность, остроумие и посвятил ей, одиннадцатилетней девочке, одну из немногих своих стихотворных миниатюр:

Милого Бабкина яркая звездочка!  
Юность по нотам *allegro* промчится:  
От свеженькой вишни останется косточка,  
От скучного пира - угар и горчица.

А. Чехонте

в минуты идиотски-философского настроения<sup>13</sup>.

Сравнение дочери “пана Залесского” с Сашей Киселевой (год рождения - 1875) в письме Чехова позволяет установить и приблизительный возраст девушки из Ишима: в 1890 г. ей около 16-17 лет.

И еще один вопрос, связанный с пребыванием А.П. Чехова в Ишиме. В каком доме А.Ф. Залевского останавливался писатель? Как уже отмечалось, документы свидетельствуют о наличии двух домов Антона Францевича, расположенных в разных частях города. Дом в Дементьевском переулке (1-я часть Ишима) указан только в переписном листе 1897 г. и не упоминается как собственность Залевского в деле о наследстве уже через два года. Второй дом - “Заимка Залевского” - во второй части горо-

да, переходит после смерти владельца его наследнику - Осипу Васильевичу Мартыновичу, поляку по происхождению.

Вступив в наследство 20 января 1902 года, О.В. Мартынович вскоре подарил этот дом с участком земли 36х34 сажени своей дочери Юлии, вышедшей замуж за Константина Николаевича Бакуса, поляка из Литвы. “Усадьба Бакусов” и останется в памяти старожилов как место остановки А.П. Чехова в нашем городе.

В очерке уже звучало имя крестницы Залевского - Аполлинии Алексеевны Волохиной, которая называла “заимку” единственно возможным местом остановки Чехова в Ишиме. Есть и другие свидетельства, подтверждающие данный факт. Так, в письме уроженки Ишима Валерии Прокопьевны Пахарь (в девичестве Артемьевой) от 4 сентября 1996 г., присланном из г. Кременчуга (Украина) автору данного исследования, рассказывалось о Елизавете Федоровне Неживых. Елизавета Федоровна (1880 г.р.) - тетя Валерии Прокопьевны, дочь ишимского купца Баженова, слышала от своих родственников о доме “Залевского-Бакусов”, в котором и останавливался по пути на Сахалин А.П. Чехов. Принадлежность этого дома Залевскому и вероятность пребывания в нем Чехова подтвердила уже самой Валерии Прокопьевне в конце 40-х гг. XX века дочь Осипа Васильевича Мартыновича - Юлия Иосифовна (Осиповна) Бакус, у которой Валерия Прокопьевна вместе с мужем снимали комнату.

Еще одним аргументом в пользу данной “версии” является местоположение “Заимки Залевского” на сибирском тракте. Этот небольшой “островок” из нескольких домиков на фоне лесного массива можно видеть на почтовой открытке начала XX века, представляющей панораму восточной части Ишима. Между заимкой и окраинными городскими постройками: “тюремным замком”, административным зданием “винных складов” (справа) и



Часть дома на “заимке” А.Ф. Залевского.  
Фото середины XX века.

двухэтажным домом Алексея Константиновича Постникова (слева) - около пятисот метров свободного пространства. Широкая лента дороги уходит на северо-запад сразу же от усадьбы Залевского. Уже в 20-30-е гг. XX столетия этот участок будет застраиваться и усадьба “Залевского-Бакусов” окажется на пересечении улиц Новой (Большевокзальной, К. Маркса) и Кирпичной (Суворова).

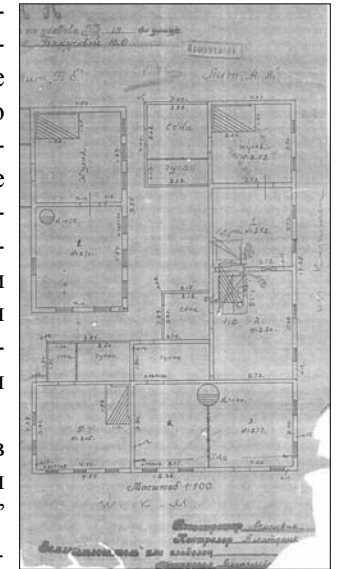
О том, как выглядела эта усадьба в 10-е гг. XX века, мы узнаем также из воспоминаний самой владелицы - Юлии Осиповны Бакус, урожденной Мартынович, которая делилась ими со своей дочерью Еленой. Елена Константиновна Бакус (1921-1996) слышала от матери, что дом на “перекрестке” был тогда подобием хутора и стоял в пустынном месте среди перелесков на дороге за кладбищем. Этот большой деревянный дом был окружен множеством построек, и приезжающие в Ишим на ярмарку купцы и торговцы часто оставляли здесь свои товары, которые затем постепенно перевозились на базар для продажи.

Сама Елена Константиновна в свои детские годы хорошо запомнила просторную завозню, где находились запасные колеса для телег, а по стенам висели хомуты и сбури. Зимой к потолку завозни подвешивались громадные туши мяса. Был здесь и глубокий погреб, в который к лету привозили с реки лед в коробах, сплетенных из тальника. В этом “холодильнике” хорошо сохранялось мясо, масло, молоко, а также соленые огурцы и квашеная капуста в деревянных бочонках. Завозня была под одной крышей с амбаром и баней. Все постройки казались основательными, так как были сложены из крупных бревен и крыты железом. Дом же на углу двух улиц таким крепким не представлялся и частично был разобран из-за своей ветхости в конце 50-х годов, а его флигели стали использоваться только в хозяйственных нуждах.

К сожалению, не сохранилось ни одной хорошей фотографии дома “пана Залесского”. В фотоальбоме Е.К. Бакус можно найти только небольшой любительский снимок небольшой части этого дома, сделанный в середине XX века со стороны двора. И все же относительно полное представление о его первоначальных размерах, количестве комнат, их распо-

ложении дает план из Бюро технической инвентаризации (в настоящее время находится в Ишимском краеведческом музее).

На нем мы видим, что дом своим южным фасадом выходил на улицу Большевокзальную (его протяженность - свыше 12 м), а восточным - на Кирпичную улицу (протяженность - около 17 м). В одной из двух комнат южной стороны находилось трактирное заведение, “преобразованное” в советское время в “Закусочную”. Достаточно просторными были три комнаты восточной стороны. В доме были русские и голландские печи, дощатый пол. Снаружи дом был обмазан глиной и побелен; окна с филленчатыми ставнями имели полуциркульную форму. Он был сложен из сосновых бревен и покрыт дерновой крышей, впоследствии замененной на тесовую.



*План дома  
А.Ф. Залевского.*

В 1961 году дом Залевского-Бакусов был снесен со всеми близлежащими строениями, в том числе и “новым” домом самой Юлии Осиповны на ул. Кирпичной (возведен в 1914 году), предприятием “Обувная фабрика” с целью постройки на этом месте каменного жилого дома. Ныне здесь возвышается типовая “пятиэтажка” (К. Маркса,9 / Суворова,33). Документы старых домов, отданных бывшими владельцами этому предприятию, не сохранились. И лишь чудом был спасен уже предназначенный к уничтожению в БТИ план дома Залевского. Его нашла в 1986 г. директор ишимского музея истории здравоохранения Тамара Васильевна Сажина.

Пребывание А.П. Чехова в Ишиме - лишь очень небольшой эпизод его жизни, но попытка осветить эти немногие проведенные здесь часы на основе вновь найденных документов, возможно, будет значимой для тех, кто интересуется сибирской страницей биографии писателя.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем в 30-ти тт. Письма в 12-ти тт. - М., 1976. - Т.4, с.101. Далее письма цитируются по данному изданию.
2. Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем в 30-ти тт. Сочинения в 18-ти тт. - М., 1978. - Т.14-15, с.765.
3. Чехов А.П. Из Сибири // Полное собрание сочинений и писем в 30-ти тт. Сочинения в 18-ти тт. - М., 1978. Т. 14-15, с.9.
4. Чехов А.П. Из Сибири, с.7.
5. Чехов А.П. Из Сибири, с.11.
6. Чехов А.П. Из Сибири, с.13.
7. РГАЛИ. Ф. 549. Открытое письмо А.П. Чехова Е.А. Чеховой. См. также "Письма в 12-ти тт.". - Т.4, с. 74-75.
8. ТФ ГАТО. Ф.152. Оп.35. Д.434. Л.87 (об).
9. Тобольские губернские ведомости, 1894, 9 марта.
10. ТФ ГАТО. Ф.152. Оп.8. Д.255.
11. ТФ ГАТО. Ф.417. Оп.2. Д.607-1. ЛЛ.62-62а; Д.607-П, ЛЛ.88, 88б.
12. ТФ ГАТО. Ф.154. Оп.15. Д.791.
13. Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем в 30-ти тт. Сочинения в 18-ти тт. - М., 1982. - Т.18, с.8.

*А.П. Чехов*

## Из Сибири

*- Фрагменты -*

### I

- Отчего у вас в Сибири так холодно?  
- Богу так угодно, - отвечает возница.

Да, уже май, в России зеленеют леса и заливаются соловьи, на юге давно уже цветут акация и сирень, а здесь, по дороге от Тюмени до Томска, земля бурая, леса голые, на озерах матовый лед, на берегах и в оврагах лежит еще снег...

Зато никогда в жизни не видал я такого множества дичи. Я вижу, как дикие утки ходят по полю, как плавают они в лужах и придорожных канавах, как вспархивают почти у самого возка и лениво летят в березняк. Среди тишины вдруг раздается знакомый мелодический звук, глядишь вверх и видишь невысоко над головой пару журавлей, и почему-то становится грустно. Вот пролетели дикие гуси, пронеслась вереница белых как снег, красивых лебедей... Стонут всюду кулики, плачут чайки...

Обгоняем две кибитки и толпу мужиков и баб. Это переселенцы.  
- Из какой губернии?  
- Из Курской.

Позади всех плетется мужик, не похожий на других. У него бритый подбородок, седые усы и какой-то непонятный клапан позади на сер-

мяге; под мышками две скрипки, завернутые в платки. Не нужно спрашивать, кто он и откуда у него эти скрипки. Непутевый, не степенный, хворый, чувствительный к холоду, равнодушный к водочке, робкий, всю свою жизнь прожил он лишним, ненужным человеком сначала у отца, потом у брата. Его не отделяли, не женили... Нестоящий человек! На работе он зябнул, хмелел от двух рюмок, болтал зря и умел только играть на скрипке да возиться с ребятами на печке. Играл он и в кабаке, и на свадьбах, и в поле, и ах как играл! Но вот брат продал избу, скот и все хозяйство и идет с семьей в далекую Сибирь. И бобыль тоже идет - деваться некуда. Берет он с собой и обе скрипки... А когда придет на место, станет он зябнуть от сибирского холода, зачахнет и умрет тихо, молча, так что никто не заметит, а его скрипки, заставлявшие когда-то родную деревню и веселиться и грустить, пойдут за двугривенный чужаку-писарю или ссыльному, ребята чужака оборвут струны, сломают кобылки, нальют в нутро воды... Вернись, дядя!

Переселенцев я видел еще, когда плыл на пароходе по Каме. Помнится мне мужик лет сорока с русой бородой; он сидит на скамье на пароходе; у ног его мешки с домашним скарбом, на мешках лежат дети в лапотках и жмутся от холодного, резкого ветра, дующего с пустынного берега Камы. Лицо его выражает: "Я уже смирился". В глазах ирония, но эта ирония устремлена вовнутрь, на свою душу, на всю прошедшую жизнь, которая так жестоко обманула.

- Хуже не будет! - говорит он и улыбается одной только верхней губой.

В ответ ему молчишь и ни о чем не спрашиваешь, но через минуту он повторяет:

- Хуже не будет!

- Будет хуже! - говорит с другой скамьи какой-то рыжий мужичонко-непереселенец с острым взглядом. - Будет хуже!

Эти, что плетутся теперь по дороге около своих кибиток, молчат. Лица серьезные, сосредоточенные... Я гляжу на них и думаю: порвать навсегда с жизнью, которая кажется ненормальной, пожертвовать для этого родным краем и родным гнездом может только необыкновенный человек, герой...

Затем, немного погодя, мы обгоняем этап. Звезя кандалами, идут по дороге 30-40 арестантов, по сторонам их солдаты с ружьями, а позади - две подводы. Один арестант похож на армянского священника, другого, высокого, с орлиным носом и с большим лбом, я как будто видел где-то в аптеке за прилавком, у третьего - бледное, истощенное и серьезное лицо, как у монаха-постника. Не успеваешь оглядеть всех. Арестанты и солдаты выбились из сил: дорога плоха, нет мочи идти... До деревни, где они будут ночевать, осталось еще десять верст. А когда придут в деревню, наскоро закусят, напьются кирпичного чаю и тотчас же повалятся спать, и тотчас же их облепят клопы - злейший, непобедимый враг тех, кто изнемог и кому страстно хочется спать.

Вечером земля начинает промерзать и грязь обращается в кочки. Возок прыгает, грохочет и визжит на разные голоса. Холодно! Ни жи-

ля, ни встречных... Ничто не шевелится в темном воздухе, не издает ни звука, и только слышно, как стучит венок о мерзлую землю да, когда закуриваешь папиросу, около дороги с шумом вспархивают разбуженные огнем две-три утки...

Подъезжаем к реке. Надо переправляться на ту сторону на пароме. На берегу ни души.

- Уплыли на ту сторону, язви их душу! - говорит возница. - Давай, ваше благородие, реветь.

Кричать от боли, плакать, звать на помощь, вообще звать - здесь значит реветь, и потому в Сибири режут не только медведи, но и воробы и мыши. "Попалась кошке - и ревет", - говорят про мышь.

Начинаем реветь. Река широкая, в потемках не видно того берега... От речной сырости стынут ноги, потом все тело... Ревем мы полчаса, час, а парома все нет. Надоедают скоро и вода, и звезды, которыми усыпано небо, и эта тяжелая, гробовая тишина. От скуки разговариваю я с дедом и узнаю от него, что женился он 16 лет, что у него было 18 детей, из которых умерло только трое, что у него живы еще отец и мать; отец и мать - "киржаки", то есть раскольники, не курят и за всю свою жизнь не видали ни одного города, кроме Ишима, а он, дед, как молодой человек, позволяет себе побаловаться - курить. Узнаю от него, что в этой темной, суровой реке водятся стерляди, нельмы, налимы, щуки, но что ловить их некому и нечем.

Но вот наконец слышится мерный плеск, и на реке показывается что-то неуклюжее, темное. Это паром. Он имеет вид небольшой баржи; на нем человек пять гребцов, и их два длинных весла с широкими лопастями похожи на рачьи клешни.

Пристав к берегу, гребцы первым делом начинают браниться. Бранятся они со злобой, без всякой причины, очевидно спросонок. Слушая их отборную ругань, можно подумать, что не только у моего возницы, у лошадей и у них самих, но и у воды, у парома и у весел есть мать. Самая мягкая и безобидная брань у гребцов - это "чтоб тебя уязвило" или "язвина тебе в рот!" Какая здесь желается язва, я не понял, хотя и расспрашивал. Я в полушубке, больших сапогах и в шапке; в потемках не видно, что я "ваше благородие", и один из гребцов кричит мне хриплым голосом:

- Эй ты, язва, что стоишь, рот разинул? Отпрягай пристяжную!

Въезжаем на паром. Перевозчики, бранясь, берутся за весла. Это не местные крестьяне, а ссыльные, присланные сюда по приговорам обществ за порочную жизнь. В деревне, где они приписаны, им не живется - скучно, пахать землю не умеют или отвыкли, да и не мила чужая земля, и пошли они сюда на перевоз. Лица у них испитые, истасканные, битые. А какие выражения на лицах! Видно, что эти люди, пока плыли сюда на арестантских баржах, скованные попарно наручниками, и пока шли этапом по тракту, ночуя в избах, где их тело невыносимо жгли клопы, одеревенели до мозга костей; а теперь, болтаясь день и ночь в холодной воде и не видя ничего, кроме голых берегов, навсегда утратили все тепло, какое имели, и осталось у них в жизни только одно: водка, девка, девка, водка... На этом свете они уже не люди, а звери, а

по мнению деда, моего возницы, и на том свете им будет худо: пойдут за грехи в ад.

## II

Из большого села Абатского (375 верст от Тюмени), в ночь под 6-е мая, везет меня старик лет 60; незадолго перед тем, как запрягать, он парился в бане и ставил себе кровососные банки. Для чего банки? Говорит, что поясница болит. Он боек не по летам, подвижен, словоохотлив, но ходит нехорошо: кажется, у него спинная сухотка.

Я сижу в высоком, некрытом тарантасике, везет пара. Старик помахивает кнутом и покрикивает, но уж не кричит по-прежнему, а только кряхтит или стонет, как египетский голубь.

По сторонам дороги и вдаль на горизонте змеобразные огни: это горит прошлогодняя трава, которую здесь нарочно поджигают. Она сыра и туго поддается огню, и потому огненные змеи ползут медленно, то разрываясь на части, то потухая, то опять вспыхивая. Огни искрятся, и над каждым из них белое облако дыма. Красиво, когда огонь вдруг охватит высокую траву: огненный столб вышиною в сажень поднимается над землей, бросит от себя к небу большой клуб дыма и тотчас же падает, точно проваливается сквозь землю. Еще красивее, когда змейки ползают в березняке; весь лес освещен насквозь, белые стволы отчетливо видны, тени от березок переливаются со световыми пятнами. Немножко жутко от такой иллюминации.

Навстречу, во весь дух, гремя по кочкам, несется почтовая тройка. Старик спешит свернуть вправо, и тотчас же мимо нас пролетает громадная, тяжелая почтовая телега, в которой сидит обратный ямщик. Но вот слышится новый гром: несется навстречу другая тройка и тоже во весь дух. Мы торопимся свернуть вправо, но, к великому моему недоумению и страху, тройка сворачивает почему-то не вправо, а влево и прямо летит на нас. А что, если столкнемся? Едва я успеваю задать себе этот вопрос, как раздается треск, наша пара и почтовая тройка мешаются в одну темную массу, тарантас становится на дыбы и я падаю на землю, а на меня все мои чемоданы и узлы... Пока я, ошеломленный, лежу на земле, мне слышно, что несется третья тройка. "Ну, думаю, эта наверно убьет меня". Но, слава богу, я ничего не сломал себе, ушибся не больно и могу встать с земли. Вскликаю, отбегаю в сторону и кричу не своим голосом:

- Стой! Стой!

Со дна пустой почтовой телеги поднимается фигура, берется за вожжи, и третья тройка останавливается почти у самых моих вещей.

Минуты две проходят в молчании. Какое-то тупое недоумение, точно все мы никак не можем понять того, что произошло. Оглобли сломаны, сбури порваны, дуги с колокольчиками валяются на земле, лошади тяжело дышат: они тоже ошеломлены и, кажется, больно ушиблены. Старик, кряхтя и охая, поднимается с земли: первые две тройки возвращаются, подъезжает еще четвертая тройка, потом пятая...

Затем начинается неистовая ругань. Чтоб тебя уязвило! - кричит ямщик, столкнувшийся с нами.

- Язвина тебе в рот! Где у тебя глаза были, старая собака?  
- А кто виноват? - кричит плачущим голосом старик. - Ты виноват, да ты же и ругаешься?

Как можно понять из ругани, причиною столкновения было следующее. Ехало в Абатское пять обратных троек, возивших почту; по закону, обратные ямщики должны ехать шагом, но передний ямщик, соскучившись и желая скорее попасть в тепло, погнал лошадей во весь дух, в задних же четырех телегах ямщики спали и некому было править тройками; за первую во весь дух побежали и остальные четыре. Если бы я спал в тарантасе или если бы третья тройка бежала тотчас же за второй, то, конечно, дело не обошлось бы для меня так благополучно.

Ямщики ругаются во все горло, так что их, должно быть, за десять верст слышно. Ругаются нестерпимо. Сколько остроумия, злости и душевной нечистоты потрачено, чтобы придумать эти гадкие слова и фразы, имеющие целью оскорбить и осквернить человека во всем, что ему свято, дорого и любо! Так умеют браниться только сибирские ямщики и перевозчики, а научились они этому, говорят, у арестантов. Из ямщиков громче и злее всех бранится виноватый.

- Ты не бранись, дурак! - защищается старик.

- А что? - спрашивает виноватый ямщик, мальчишка лет 19, с угрожающим видом подходит к старику и становится лицом к лицу. - А что?

- Ты не очень!

- А что? Отвечай: что же будет? Возьму обломок оглобли, да обломком тебя, язвина!

По тону судя, быть драке. Ночью, перед рассветом, среди этой дикой ругающейся орды, в виду близких и далеких огней, пожирающих траву, но ни на каплю не согревающих холодного ночного воздуха, около этих беспокойных, норовистых лошадей, которые столпились в кучу и ржут, я чувствую такое одиночество, какое трудно описать.

Старик, ворча и высоко поднимая ноги, - это он от болезни, - ходит вокруг тарантаса и лошадей и отвязывает, где только можно, веревочки и ремешки, чтобы связать ими сломанную оглоблю, потом он, зажигая спичку за спичкой, ползает на брюхе по дороге и ищет постромку. Идут в дело и мои багажные ремни. Уж занялась заря на востоке, уж давно кричат проснувшиеся дикие гуси, наконец уж уехали ямщики, а мы все еще стоим на дороге и починаемся. Пробовали было ехать дальше, но связанная оглобля - трах!.. и нужно опять стоять... Холодно!

Кое-как шагом доплетаемся до деревни. Останавливаемся около двухэтажной избы.

- Илья Иваныч, кони дома? - кричит старик.

- Дома! - отвечает кто-то глухо за окном.

В избе встречает меня высокий человек в красной рубахе и босой, сонный и чему-то спросонок улыбающийся.

- Клопы одолели, приятель! - говорит он, почесываясь и улыбаясь еще шире. - Нарочно горницу не топим. Когда холодно, они не ходят.

Здесь клопы и тараканы не ползают, а ходят; путешественники не

едут, а бегут. Спрашивают: "Куда, ваше благородие, бежишь?" Это значит: "Куда едешь?"

Пока на дворе подмазывают возок и позвякивают колокольчиками, пока одевается Илья Иваныч, который сейчас повезет меня, я отыскиваю в углу удобное местечко, склоняю голову на мешок с чем-то, кажется, с зерном, и тотчас же мною овладевает крепкий сон; уж снятся мне моя постель, моя комната, снится, что я сижу у себя дома за столом и рассказываю своим, как моя пара столкнулась с почтовой тройкой, но проходят две-три минуты, и я слышу, как Илья Иваныч дергает меня за рукав и говорит:

- Вставай, приятель, лошади готовы.

Какое издевательство над ленью, над отвращением к холоду, который змейкой пробегает по спине и вдоль и поперек! Опять еду... Уже светло, и золотится перед восходом небо. Дорога, трава в поле и жалкие, молодые березки покрыты изморозью, точно засахарились. Где-то токуют тетерева...

8-го мая.

### III

По сибирскому тракту, от Тюмени до Томска, нет ни поселков, ни хуторов, а одни только большие села, отстоящие одно от другого на 20, 25 и даже на 40 верст. Усадеб по дороге не встречается, так как помещиков здесь нет; не увидите вы ни фабрик, ни мельниц, ни постоянных дворов... Единственное, что по пути напоминает о человеке, это телеграфные проволоки, завывающие под ветер, да верстовые столбы.

В каждом селе - церковь, а иногда и две; есть и школы, тоже, кажется, во всех селах. Избы деревянные, часто двухэтажные, крыши тесовые. Около каждой избы на заборе или на березке стоит скворечня, и так низко, что до нее можно рукой достать. Скворцы здесь пользуются общено любовью, и их даже кошки не трогают. Садов нет.

Часов в пять утра, после морозной ночи и утомительной езды, я сижу в избе вольного ямщика, в горнице, и пью чай. Горница - это светлая, просторная комната, с обстановкой, о какой нашему курскому или московскому мужику можно только мечтать. Чистота удивительная: ни соринки, ни пятнышка. Стены белые, полы непременно деревянные, крашенные или покрытые цветными холщовыми постилками; два стола, диван, стулья, шкаф с посудой, на окнах горшки с цветами. В углу стоит кровать, на ней целая гора из пуховиков и подушек в красных наволочках; чтобы взобраться на эту гору, надо подставлять стул, а ляжешь - утонешь. Сибиряки любят мягко спать.

От образа в углу тянутся по обе стороны лубочные картины; тут портрет государя, непременно в нескольких экземплярах, Георгий Победоносец, "Европейские государи", среди которых очутился почему-то и шах персидский, затем изображения святых с латинскими и немецкими подписями, поясной портрет Баттенберга, Скобелева, опять святые... На украшение стен идут и конфетные бумажки, и водочные ярлыки, и этикетки из-под папирос, и эта бедность совсем не вяжется с

солидной постелью и крашеными полами. Но что делать? Спрос на художество здесь большой, но бог не дает художников. Посмотрите на дверь, на которой нарисовано дерево с синими и красными цветами и с какими-то птицами, похожими больше на рыб, чем на птиц; дерево это растет из вазы, и по этой вазе видно, что рисовал его европеец, то есть ссыльный; ссыльный же малевал и круг на потолке и узоры на печке. Немудрая живопись, но здешнему крестьянину и она не под силу. Девять месяцев не снимает он рукавиц и не распрямляет пальцев; то мороз в сорок градусов, то луга на двадцать верст затопило, а придет короткое лето - спина болит от работы и тянутся жилы. Когда уж тут рисовать? Оттого, что круглый год ведет он жестокую борьбу с природой, он не живописец, не музыкант, не певец. По деревне вы редко услышите гармонику и не ждите, чтоб ящик затянул песню.

Дверь открыта, и сквозь сени видна другая комната, светлая и с деревянными полами. Там кипит работа. Хозяйка, женщина лет 25-ти, высокая, худощавая, с добрым, кротким лицом, месит на столе тесто; утреннее солнце бьет ей в глаза, в грудь, в руки, и кажется, она замешивает тесто с солнечным светом; хозяйская сестра-девушка печет блины, стряпка обваривает кипятком только что зарезанного поросенка, хозяин катает из шерсти валенки. Ничего не делают только старики. Бабушка сидит на печке, свесив ноги, стонет и охает; дедушка лежит на полатях и кашляет, но заметив меня, сползает вниз и идет через сени в горницу. Ему хочется поговорить... Начинает он с того, что весна теперь холодная, какой давно не было. Помилуйте, завтра Николин день, послезавтра Вознесенье, а ночью шел снег, и по дороге к селу замерзла какая-то женщина; скот тощает от бескормицы, у телят от морозов понос... Потом он спрашивает меня, откуда я, куда бегу и зачем, женат ли я, и правду ли говорят бабы, что скоро будет война.

Слышится детский плач. Теперь только я замечаю, что между кроватью и печью висит маленькая люлька. Хозяйка бросает тесто и бежит в горницу.

- Однако какой у нас случай, купец! - говорит она мне, качая люльку и кротко улыбаясь. - Месяца два назад приехала к нам из Омска мещанка с ребеночком... Барыней одета, однако... Ребеночка она родила в Тюкалинске, там и крестила; после родов-то в дороге разнемоглась и стала жить у нас вот в этой горнице. Говорит, что замужняя, а кто ее знает? На лице не написано, а паспорта при ней нет. Может, ребеночек незаконный...

- Не наше дело судить, - бормочет дедушка.

- Прожила она у нас неделю, - продолжает хозяйка, - потом и говорит: "Я поеду в Омск к мужу, а мой Саша пусть у вас останется; я за ним через неделю приеду. Теперь боюсь, как бы не замерз дорогой..." Я ей и говорю: "Послушай, сударыня, бог посылает людям детей, кому десять, кому и двенадцать, а меня с хозяином наказал, ни одного не дал; оставь нам своего Сашу, мы его себе в сыночки возьмем". Она подумала и говорит: "Однако погодите, я мужа своего спрошу и через неделю вам письмо пришло. Без мужа не смею". Оставила нам Сашу и уехала. И вот уж два месяца прошло, а она ни сама не едет, ни письма

не шлет. Наказание господне. Полюбили мы Сашу, как родного, а сами теперь не знаем, наш он или чужой.

- Надо вам этой мещанке письмо написать, - советую я.

- Стало быть, надо! - говорит из сеней хозяин.

Он входит в горницу и молча смотрит на меня: не дам ли я еще какого-нибудь совета?

- Да как ты ей напишешь? - говорит хозяйка. - Фамилии своей она нам не сказывала. Марья Петровна - вот и все. А Омск, тоже сказать, город большой, не найдешь ее там. Ищи ветра в поле!

- Стало быть, не найдешь! - соглашается хозяин и смотрит на меня так, как будто хочет сказать: "Помоги же, бога ради!"

- Привыкли мы к Саше, - говорит хозяйка, давая ребенку соску. - Закричит днем или ночью, и на сердце иначе станет, словно и изба у нас другая. А вот, неровен час, вернется та и возьмет от нас...

Глаза хозяйки краснеют, наливаются слезами, и она быстро выходит из горницы. Хозяин кивает ей вслед, усмехается и говорит:

- Привыкла... Известно, жалко!

Он и сам привык. Ему тоже жалко, но он мужчина, и сознаться ему в этом неловко.

Какие хорошие люди! Пока я пью чай и слушаю про Сашу, мои вещи лежат на дворе, в возке. На вопрос, не украдут ли их, мне отвечают с улыбкой:

- Кому же тут красть? У нас и ночью не крадут.

И в самом деле, по всему тракту не слышно, чтоб у проезжего что-нибудь украли. Нравы здесь в этом отношении чудесные, традиции добрые. Я глубоко убежден, что если бы я обронил в возке деньги, то нашедший их вольный ящик возвратил бы мне их, не заглянув даже в бумажник. На почтовых я ездил мало и про почтовых ящиков могу сказать только одно: в жалобных книгах, которые я читал от скуки на станциях, мне попала на глаза только одна жалоба на покражу: у проезжего пропал мешочек с сапогами, но и эта жалоба, что видно из резолюции почтового начальства, оставлена без последствий, так как мешочек был скоро найден и возвращен проезжему. О грабежах на дороге здесь не принято даже говорить. Не слышно про них. А встречные бродяги, которыми меня так пугали, когда я ехал сюда, здесь так же страшны для проезжего, как зайцы и утки.

К чаю мне подают блинов из пшеничной муки, пирогов с творогом и яйцами, оладий, сдобных калачей. Блины тонкие, жирные, а калачи вкусом и видом напоминают те желтые, ноздреватые бублики, которые в Таганроге и в Ростове-на-Дону хохлы продают на базарах. Хлеб везде по сибирскому тракту пекут вкуснейший; пекут его ежедневно и в большом количестве. Пшеничная мука здесь дешевая: 30-40 коп. за пуд.

На одном хлебе сыт не будешь. Если в полдень попросишь чего-нибудь вареного, то везде предлагают одной только "утячьей похлебкой" и больше ничего. А эту похлебку есть нельзя: мутная жидкость, в которой плавают кусочки дикой утки и потроха, не совсем очищенные от содержимого. Невкусно, и смотреть тошно. В каждой избе - дичина.

В Сибири никаких охотничьих законов не знают и стреляют птиц в продолжение всего года. Но едва ли здесь скоро истребят дичь. На расстоянии 1500 верст от Тюмени до Томска дичи много, но не найдется ни одного порядочного ружья, и из ста охотников только один умеет стрелять влёт. Обыкновенно охотник ползет к уткам на животе, по кочкам и мокрой траве, и стреляет только из-за куста, в 20-30 шагах сидячую, причем его поганое ружье раз пять дает осечку, а выстрелив, сильно отдаст в плечо и в щеку; если удастся попасть в цель, то тоже немалое горе: снимай сапоги и шаровары и полезай в холодную воду. Охотничьих собак здесь нет.

9-го мая.

Публикация текста по изданию: А.П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем в 30-ти тт. Сочинения в 18-ти тт. - М., 1978. - т.14-15, с. 7-17.

□□□□□□ □□□□□□ -  
 □□□□ □□□□  
 □ □□□□ -□□□□□□ □ □□□□ -□□□

В числе выпускников Ишимского духовного училища 1907 года был Георгий Тверитин, будущий создатель поэмы о двух влюбленных Козы-Корпече и Баян-Слу, написанной им на основе ряда преданий и легенд тюркских народов. Большая часть его непродолжительной тридцатидвухлетней жизни была связана с югом Западной Сибири. Он родился 3 февраля 1889 года в станице Щучинской Кокчетавского уезда Акмолинской области, через пять лет его отца, священника Николая Тверитина, перевели в станицу Вознесенскую, расположенную на высоком берегу реки Ишим в 40 верстах от Петропавловска. В 1901 году Георгия отправили учиться в Ишимское духовное училище.



Г.Н. Тверитин.

В этом учебном заведении был неплохой преподавательский состав. Из неопубликованных воспоминаний соученика и приятеля Г. Тверитина Ивана Скосырева, написанных им уже на склоне лет, можно узнать о том, что немалый вклад в нравственное и интеллектуальное формирование мальчиков внесли учителя Павел Семенович Плетнев, Павел Николаевич Киселев и Николай Алексеевич Аравийский. П.С. Плетнев - учитель чистописания, воспитывал у своих питомцев и интерес к чтению, подбирая для них книги, журналы, газеты из училищной и городской библиотек. Под его руководством многие воспитанники научились переплетать книги. П.Н. Киселев живо и интересно преподавал русский, церковнославянский и латинский языки, а Н.А. Аравийский, закончивший Петербургскую духовную академию, - арифметику, географию, естествознание<sup>1</sup>.

Во время своей учебы в Ишиме Георгий Тверитин начинает заниматься творчеством. Он пишет рассказы, стихи, пародии, эпиграммы и издает вместе со своим другом Петром Гинцелем, впоследствии известным сибирским писателем, первый журнал в истории Ишимского духовного училища - "Литературные новости", переименованный в "Литературные наброски". Помощниками юных литераторов становятся мать Петра Гинцеля и тетя Георгия - Таисия Фарафонтова, о которых следует сказать особо.

Мать Гинцеля, родившегося в Ишиме 21 февраля 1889 года, работала фельдшером в Ишимской пересыльной тюрьме, а затем, переселившись в село Безруково, стала исполнять там должность волостного писаря. Она была единственной женщиной - волостным писарем не только в Сибири, но и в России<sup>2</sup>. Не менее значительной личностью являлась и Таисия Михайловна Фарафонтова. По окончании Тобольской гимназии она училась в Петербурге на Бестужевских курсах, а затем стала домашней учительницей в семье профессора С.П. Боткина. Боткины часто бывали в Париже, где старшие дочери со своей учительницей слушали лекции в Сорбонне. Из Парижа и Петербурга она высылала своему племяннику в Ишим книги. В середине 900-х годов она жила в Иркутске, работая в редакции газеты "Восточное обозрение" и принимая участие в научной работе исследователя Центральной Азии и Сибири Г.Н. Потанина<sup>3</sup>.

В 1907 году, закончив Ишимское училище, Георгий поступает в Тобольскую семинарию, из пятого класса которой его отчисляют с "волчьим билетом". Причиной столь сурового решения начальства явилась активная деятельность Тверитина в журнале "Овод". И.А. Скосырев, также продолжавший свое обучение в Тобольске, вспоминал: "Тверитин Георгий (мы звали его Гошей) был редактором семинарского подпольного рукописного журнала, в котором резко осмеивались новые порядки и в семинарии, и в городе, и даже в государстве. Гоша мне давал читать этот журнал, и мы, забравшись в музыкантскую, со смехом и грустью, что живем в таком мире, коллективно читали его..."<sup>4</sup>. У И. Скосырева долго хранилась групповая фотография воспитанников семинарии 1908 г., на которой можно было видеть невысокого серьезного юношу в очках и форме семинариста и (нео-

жиданная деталь!) изящной тонкой тростью в правой руке. Это одно из очень немногих изображений поэта было передано Иваном Алексеевичем в Тобольский краеведческий музей<sup>5</sup>.

Еще будучи семинаристом Г. Тверитин под псевдонимом Юрко-Сибирский начинает публиковать свои рассказы и стихотворения в газете "Омский вестник" и журнале "Задушевное слово". В его планы входит и создание романа о жизни интеллигента в духовном училище - "Жизнь Кедронского", по-видимому автобиографического характера. А в письме к Таисии Фарафонтовой того же времени он сообщает: "Пишу рассказы из степной жизни - воспоминания о различных событиях, о которых я слышал или которые видел. Мои работы в Омске одобряют"<sup>6</sup>. Пытается он публиковаться и в Петербурге, где учится после отчисления из Тобольской семинарии в Психо-неврологической институте В. Бехтерева, а затем, оставив его, на юридическом факультете университета.

Он занимается литературой и в последующие, совсем неблагоприятные для творчества годы - во время первой мировой войны и революции. В 1917 году Тверитин вступает добровольцем в Красную Армию, становится политработником, а вскоре комиссаром штаба 11-й (Южной) армии, принимает участие в создании Азербайджанской Советской республики. В своих письмах того времени он выражает желание вернуться в Сибирь и обратиться к книгам. Этим намерениям помешала обострившаяся болезнь (чахотка). 3 января 1922 года во время командировки в Петроград Георгий Тверитин умирает. Весь его архив оказался утра-



*Первое издание поэмы "Песнь о Козы-Корпече и Баян-Слу". Рисунок на обложке В. Бехтеева.*



ченным, не сохранилась и рукопись поэмы о Козы-Корпече и Баян-Слу, которая будет позднее напечатана с машинописного списка.

Над этой поэмой Г. Тверитин начал работать еще в 1913 году. 5 сентября этого года он сообщал Т. Фарафоновой: “Думаю переделать в стихи одну распространенную среди киргиз сказку о Козы-Корпеше и Баян-Слу. Очень хорошая сказка, имеющая в своем основании подлинную истину”. И в январе 1914 года к тому же адресату: “Сейчас снова берусь за киргизские сказки. Думаю послать в Москву в журнал “Вокруг света”, можно попытаться и в детские журналы”<sup>7</sup>.

Легенда, на основе которой формировалась поэма Тверитина, сложилась, по всей вероятности, еще в XVI-XVII вв. И существовала в большом числе вариантов среди казахов, башкир и тюркоязычных народов Сибири (алтайцев, барабинцев). В письменном виде казахский текст предания впервые появился в трудах академика В.В. Радлова в 1870 г. Говорится о нем и в исследовании Г.Н. Потанина “Восточные мотивы в средневековом европейском эпосе” (М., 1899). Запись легенды под названием “Предание киргиз... о романе Кусукурпеч”, “сделанная чернилами неизвестной рукой, на пяти листах большого формата” была найдена среди бумаг А.С. Пушкина<sup>8</sup>.

Создавая “Песнь о Козы-Корпече и Баян-Слу”, Г. Тверитин свободно соединил разные варианты сказания, дополняя их отдельными песнями собственного сочинения. Его “Песнь...” это не столько перевод и даже не переложение народных источников, сколько оригинальное авторское творение. Сюжет поэмы сводится к следующему:

Однажды на охоте два богатых бия - Кара-бай и Сары-бай встретили самку горного марала, ожидающую приплода. Кара-бай хотел убить ее, но Сары-бай призвал его не трогать животное, напомнив другу о том, что “...дома наши жены / Тоже плод под сердцем носят.../ Пощади же материнство, / И тогда хочу я верить, / Это даст, быть может, счастье / На земле новорожденным...” При этом они клянутся обручить детей, если Аллах дарует им сына и дочь. Вскоре прибывает гонец, сообщающий, что у Кара-бая родился сын, а у Сары-бая - дочь. Довольные отцы возвращаются домой, но по дороге происходит несчастье.

Конь Сары-бая спотыкается, и наездник разбивает голову об острый камень. Кара-бай совершает по другу поминальный обряд и устраивает пышный праздник в честь родившегося сына, а всем гостям он сообщает о клятве и своем решении взять на воспитание дочь друга. На пире присутствуют баксы (кудесники, предсказатели), все они льстят Кара-баю, говоря, что малютка ожидает счастье, но самый старый баксы предсказывает гибель сыну Кара-бая, получившему имя Козы-Корпеч. Кара-бай, желая уберечь сына от злого рока, принимает решение откочевать подальше в степь с тем, чтобы дети никогда не увиделись.

Проходят годы. Дочь Сары-бая по имени Баян-Слу привлекает своей необыкновенной красотой многих джигитов. Один из них - сильный, ловкий, статный, но при этом хитрый и завистливый, - Кодар-Куль, проявляет особую настойчивость. Но Баян-Слу, узнавшая от старого Апсе-бая о клятве, “что ее с Козы-Корпечем / С детских лет соединила”, решает ждать нареченного. Она должна узнать его по золотой пряди на голове. Мать Баян уговаривает свою дочь выйти замуж за Кодара, заявляя: “Кара-Бай бежал от клятвы, - / Мы его искать не станем”. Уговоры возымели свое действие, и Баян дает Кодару согласие, но при этом оттягивает свадьбу, заставляя жениха выполнить три задания: подсчитать все ее богатства, накопать везде колодцев “многоводных и глубоких”, заполнить котловину водой, превратив ее в озеро.

В это время Козы-Корпеч узнает от своей случайно проговорившейся бабушки о нареченной Баян-Слу и выражает желание разыскать ее. Мать пытается удержать сына от опасной поездки и с помощью старой колдуньи создает препятствия, имеющие магический характер. Корпечу преграждают путь разъяренная верблюдица, бурная река, дремучий лес. В последний момент колдунья превращается в золотошерстную лису, которая прячется в норе. Корпеч пытается ее достать, и все предметы, которые он туда засовывает, становятся золотыми. Начинает отливать золотом и косица на его голове. В пути ему встречается старик. Это Апсе-бай, рассказывающий Корпечу о Баян и ее скорой свадьбе и советующий юноше поторопиться.

Прибыв в аул, Козы-Корпеч выдает себя за безродного пастуха и нанимается на работу под именем Котыр-Таз (“Паршивый”).

Новый пастух умеет хорошо петь, и Баян просит привести табунщика к ней и исполнить песни. В третьей песне Котыр-Таз поет о Баян-Слу, а когда с головы его слетает шапка, девушка видит на макушке пришельца золотую косичку. Происходит узнавание жениха. Но вернувшийся с гор Кодар ищет причину изгнать безвестного табунщика и всячески оскорбляет его. Тогда Котыр показывает ему золотую косу и признается, что он - Козы-Корпеч. Соперники вступают в борьбу, побеждает Козы-Корпеч, великодушно отпускающий Кодара с миром. Но мстительный Кодар ищет возможность расправиться с Корпечем. Зная об этом, Баян советует своему возлюбленному временно покинуть аул и скрыться в уединенном месте. Кодар узнает о местонахождении Корпеча, коварно убивает его отравленной стрелой, отсекает голову и бросает под копыта коня Баян-Слу.

Баян решает отомстить Кодару за смерть Корпеча. Она объявляет всем джигитам, что готова выйти замуж за того, кто поможет ей избавиться от тоски по возлюбленному. Тот, кто зачерпнет своей шапкой воду из глубокого колодца и даст ей напиток, станет ее мужем. Первым вызывается сделать это Кодар. Он спускается в колодец по косе и ленте Баян, она же ножом перерезает ленту, а затем приказывает забросать колодец камнями. Через год Баян устраивает поминки по Корпечу, воздвигая на его могиле памятник, а затем, попрощавшись со всеми родными, солнцем и степью, закалывает себя кинжалом: “Так Баян, травинки нежной, / У степей родных не стало...”

Несомненно, что в работе над своим произведением Тверитин использовал не только богатейшие пласты тюркского фольклора, но и лучшие образцы мировой литературы. В частности, он обращался к “Песне о Гайавате” американского романтика Г. Лонгфелло, получившей широкую известность в России благодаря блистательному переводу И.А. Бунина. Следуя за Лонгфелло и Буниным, Тверитин избирает гибкий и легкий четырехстопный хорей, соответствующий лирико-романтическому содержанию его поэмы.

Работа над “Песней...” была завершена 5 апреля 1917 года, а первая ее публикация состоялась в 1927 году в Кызыл-Орде, через пять лет после смерти автора. Книга вышла тиражом в 3000 экземпляров<sup>9</sup>. Второе издание тиражом в 10000 экземпляров по-

явилось в Алма-Ате - Москве в 1953 году<sup>10</sup>, а третье - с предисловием Т. Фарафоновой и прекрасной графикой К. Клементьевой в Издательстве детской литературы в 1941-м<sup>11</sup>. Последнее - четвертое издание, состоялось в Алма-Ате по окончании Великой Отечественной войны<sup>12</sup>. Но после того, как в 1968 и 1984 годах были осуществлены новые переработки старинной легенды<sup>13</sup>, поэма Г.Н. Тверитина попала в число незаслуженно забытых произведений.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Фонд ИКМ. И. Скосырев. Ишимское духовное училище в 1901-1907 гг. Воспоминания (рукопись 1971 г.) См. также: Савченкова Т.П. Духовное училище // Ишим далекий-близкий. - Ишим, 1997, с.109-121.
2. Утков Г.Г. Предисловие // П.В. Гинцель. Заре навстречу. - Омск, 1951, с.3.
3. Дивинская Ф. Поэт и комиссар // Простор. Лит.-худож. журнал Союза писателей Казахстана, 1976, № 12, с.108.
4. Скосырев И. Ишимское духовное училище. Воспоминания, с.65.
5. Фонд Тобольского краеведческого музея-заповедника. КП 12144, № 24. И.А. Скосырев. Град есть Тобольск. Воспоминания о юности нашей. (рукопись 1968 г.).
6. Цит. по: Раппопорт Е.Г. Пушкина продолжил комиссар // Поэзия поиска. - Иркутск, 1980, с.80.
7. Цит. по: Дивинская Ф. Поэт и комиссар, с.108, 109.
8. Модзалевский Л.Б. Запись казахского предания в архиве Пушкина // Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, т. III - Л., 1937, с.323.
9. Тверитин Георгий. Песнь о Козы-Корпече и Баян-Слу. Казахская легенда. Предисловие и примечания Смагула Садвокасова. Издание Наркомпроса Казахстана, Кызыл-Орда, 1927. Набор и печать книжной фабрики Центрального издательства народов Союза ССР. Москва. Обложка художника В. Бехтеева.
10. Песнь о Козы-Корпече и Баян-Слу. Авторизованный перевод с казахского Г.Н. Тверитина. Предисловие И. Джансугурова. - Алма-Ата - Москва, 1935.
11. Сказание о Козы-Корпече и Баян-Слу. Перевод и обработка Г. Тверитина. - М.-Л.: Изд-во детской литературы, 1941.
12. Песнь о Козы-Корпече и Баян-Слу. Авторизованный перевод с казахского Г.Н. Тверитина. Илл. К. Баранов. - Алма-Ата, 1949.
13. Козы-Корпеш и Баян-Слу. Поэма. Пер. В. Потаповой. - Алма-Ата, 1968.
14. Саибаяев Сатимжан Козы Корпеш и Баян-Слу. - Алма-Ата, 1984.

*Г.Н. Тверитин*

## Сказание о Козы-Корпече и Баян-Слу

*Фрагменты*

### Вступление

1

Если ветер, с гор слетая,  
Замутит в Балхаше воду,  
Зашумит и забушует  
В побережьях Ала-Куля,  
Ты прислушайся, прохожий,  
Сказку он тебе расскажет:  
О прекрасной нежной травке,  
О Баян-Слу, о несчастной,  
Что была нежна, как голубь,  
Что любить и мстить умела.

2

Он расскажет о джигите,  
Молодце Козы-Корпече,  
Храбром сыне вольной степи,  
Что любил Баян безмерно;  
Да еще о Кодар-Куле,  
Гордом, злобном и хвастливым, -  
Как неправдой и изменой  
Он убил Козы-Корпеча,  
Как Баян-Слу он пытался  
Взять себе насильно в жены.

3

Если ветер тих, спокоен,  
Серебра озер не пенит  
И играет камышами  
Прибережными беспечно, -  
Он расскажет, как любила  
Больше жизни, больше степи  
Предназначенного роком  
Жениха Баян-невеста,  
Как искать ее он ездил,  
Не страшась невзгод попутных.

4

Если ветер зол и буен,  
Если волны круто пенит,  
Камыши вокруг ломая

300

Прибережные сурово, -  
Он расскажет, как отместила  
Черноглазая Кодару  
За свое девичье сердце,  
За разбитые надежды,  
Как отместила горькой мезью  
Больно раненого сердца.

5

Все равно, какой бы ни был  
Ветер, - тихий или буйный,  
Целовать ли будет волны,  
Иль свирепо станет пенить, -  
Ты его послушай сказку,  
Про любовь и мезь послушай,  
А коль в Кызыл-Кия приедешь,  
Где могила есть под камнем,  
Поклонись двум юным душам,  
Помолись за них Аллаху.

## Песнь о смерти Козы-Корпеча

1

Степь родная, ты прекрасна,  
Вся обласканная солнцем,  
С необъятным синим небом,  
Хороша ты и просторна!  
Птицы в небе, птицы в травах,  
В камышах и на озерах,  
Всюду песни, жизнь повсюду...  
И богат ковер зеленый,  
И цветы так пахнут пьяно,  
Так ласкающе дурманят.

2

Будешь ехать – конь устанет.  
Станешь птицей – высь бездонна.  
Не обскачешь степь-пустыню,  
Не достигнешь грани неба.  
Всадник, сядь сюда, на травку,  
Не гони коня напрасно,  
Не спеши вперед без цели  
И не спорь с свободным ветром,  
Лучше слушай: степь расскажет  
Старых сказок много-много...

3

Хорошо Козы-Корпечу  
Быть с Баген своей любимой.

301

Хорошо Баян, спокойно  
Рядом с милым и желанным.  
В зной в кибитке войлок поднят.  
Ветер веет. Тихо, тихо...  
Хорошо у ног прекрасной  
На ковре лежать пушистом,  
В сладкой дреме тихо грезить  
Нежной лаской ясных весен.

4

И, уснув, сквозь сон почуять  
Нежных губ прикосновение,  
Под горячим поцелуем  
Изомлеть и обессилеть.  
Прядь волос на лоб горячий  
Упадет и защекочет.  
Либо видеть пред собою  
Милых глаз огонь глубокий  
И шептать на ухо нежной:  
«О Баян, как ты прекрасна!»

5

Хорошо и ей спокойный  
Сон джигита караулить  
И о скором долгом счастье,  
О себе, о друге грезить.  
Прочь ушли тоска, сомненья,  
Рядом с ней – жених любимый.  
Побежден Кодар, унижен  
И ее не потревожит.  
И она, целуя, будит:  
«Мой джигит, о мой любимый!»

6

Хорошо обоим вместе,  
Подождав захода солнца,  
Убежать к стадам веселым  
Коз доить, играть на травке;  
Вечерами у кибитки,  
Близ костра, домбру настроить  
И запеть о тихом счастье,  
Что подкралось к ним любовно,  
Так запеть, чтоб песнь услышав,  
Степь завидовала юным.

7

Но порою в полдень знойный  
На Баян тоска спускалась.

302



*Рисунок К. Клементьевой  
к 3-му изданию "Песни о  
Козы-Корпече и Баян-Слу".*

«Мой джигит, я неспокойна,  
Я грущу, боюсь чего-то.  
Все Кодар... он зол, он страшен,  
Клятве я его не верю,  
Отомстит тебе, мой тополь!  
Страшно, милый, жутко, больно...  
Полюбила я – отнимет,  
Я цветок нашла – затопчет...»

8

«Не грусти, моя былинка, -  
Говорит Корпеч невесте. –  
Что Кодар! Ведь ты видала,  
Кто из нас кого осилил».  
«Господин мой, вспомни, вспомни,  
Как баксы мне при рождении  
Предсказал, что, не изживши  
Счастья, я его утрачу;  
Что оно, как ястреб с мышью,  
С сердцем девушки подшутит».

9

«Не тужи, моя невеста, -  
Был ответ Козы-Корпеча. –  
Коль над мышью шутит кобчик,  
То над ним стрела подшутит.  
К нашей свадьбе торопливо  
Уж идут приготовления,  
Скоро будет все готово,  
Скоро мы соединимся.  
Что баксы поют-ворожат,  
Не всегда бывает правдой.

10

Мы спокойно после свадьбы  
В наш аул с тобой поедем;  
По дороге ты отстанешь,  
Чтоб дожидаться пышной встречи.  
Сам в аул коня любимой  
Приведу я, наших женщин  
 Попрошу скорей развьючить  
Караван твоих верблюдов  
И для встречи молодухи  
Поскорей собрать кибитку.

11

Расскажу им, как доволен  
Я своей женою юной,

303

Как нежна ты и красива,  
Как друг друга крепко любим.  
 Попрошу их, чтоб приветно  
Все они тебя встречали,  
Как любимую хозяйку,  
Как хорошую подругу, -  
И они, я знаю, рады  
Будут, все тебя увидеть.

12

Выйду с песнями навстречу,  
За аул, к тебе, родная,  
И войдешь ты госпожою  
В нашу новую кибитку.  
Пировать мы будем долго  
Меж гостей своих веселых,  
Встретим радостно и ясно  
Утро нашей новой жизни.  
Будем жить мы там без горя,  
Без тревог и слез напрасных».

13

Между тем шайтан злорадный  
Овладел душой Кодара:  
Позабыл Кодар о клятве,  
Стал готовить месть Корпечу.  
Тетку старую невесты  
И родных ее смущая,  
Все твердил: «Не забывают  
О предсказанных несчастьях.  
Лучше мне вы помогите,  
Пусть Баян моею будет.

14

О, тогда Кодар сумеет  
Все несчастья пересилить:  
За могучими плечами  
Хорошо от бед укрыться».  
И родные согласились:  
Да, они ему помогут,  
Да, они согласье вырвут  
У Баян на брак с Кодаром.  
Коль баксы сулит несчастья,  
Надо людям бед избежать.

15

С той поры Кодар, уверясь,  
Что ему друзья помогут,

304

Зазнаваться стал и снова  
Силой стал своей кичиться.  
«Что Корпеч? Еще мальчишка!  
Я ему убавлю спеси!  
Голова его, пожалуй,  
Скоро свалится на землю.  
Пусть, бейбак!, куда не надо  
Необдуманно не лезет!»

16

Ах, недаром временами  
На Баян тоска сходила,  
Сердце чуяло недаром,  
Что гроза еще нагрянет.  
Услыхавши про угрозы,  
Просит девушка Корпеча:  
«Уезжай отсюда лучше,  
Мой любимый, поскорее,  
Схоронися от Кодара  
Ты на время в Шок-Тереке»<sup>2</sup>.

17

И Корпеч на просьбы милой,  
На мольбы ее склонился  
И уехал, с ней простившись,  
В Шок-Терек уединенный.  
И Баян тогда Кодару  
И родным своим сказала,  
Что Козы-Корпеч на время  
В свой родной аул уехал.  
Ликовал Кодар злорадно:  
«Испугался, трус несчастный!»

18

С той поры Баян под утро  
Раньше всех одна вставала  
И, внизу кибитки войлок  
Приподняв, ждала покорно.  
Тут в рукав ее сорочки  
Залетал скворец проворно:  
Приносил он юной вести  
От любимого Корпеча.  
Передаст ей все, что надо,  
И летит назад с ответом.

19

Услыхала как-то тетка  
Разговор Баян и птицы

305

И поймать скворца решила,  
Чтоб узнать чужие тайны.  
Как-то встала рано-рано  
И тихонечко подкралась,  
Подняла тяжелый войлок,  
Руку сунула в отверстие;  
И скворец в рукав ей прыгнул,  
И схватила жадно птицу.

20

Долго мучила старуха  
Птицу бедную напрасно,  
Перья теплые щипала,  
Чтобы вырвать пыткой тайны, -  
Не сказал скворец ни слова,  
Вынес стойко пытку злую,  
Только крикнул, умирая:  
«Шок-Терек!» - всего два слова.  
Чтобы скрыть свою проделку,  
Злая ведьма птицу съела.

21

Рассказала тут же тетка  
О словах скворца Кодару:  
«Так и знай! Корпеч, наверно,  
Схоронился в Шок-Тереке».  
И Кодар, друзей созвавши,  
Долго с ними вел беседу.  
Порешили ехать тайно,  
Чтоб убить Козы-Корпеча;  
А потом Баян поплачет,  
Да и выйдет за Кодара.

22

Безмятежно и спокойно,  
Никакой беды не чуя,  
Спал Козы-Корпеч на травке  
Возле тополя, под тенью,  
И не слышал, как листочки  
Осторожно шелестели,  
О беде ему шептали,  
Надвигающейся тучей.  
Сон у молодости крепок,  
И легки его виденья.

23

«Эй, джигит, проснись скорее,  
Эй, Корпеч, мы едем с миром! –

306

Закричали, подъезжая,  
Неожиданные гости. –  
Мы посланники Кодара,  
Передать тебе он просит,  
Что напрасно ты боишься  
И скрываешься напрасно».  
Между тем Кодар коварный  
Был за спинами их скрытан.

24

И едва Корпеч поднялся,  
Чтоб идти гостям навстречу,  
Был стрелой ядовитой  
В сердце юное пронзен он.  
То, коварный, из засады  
Так предательски-бесчестно  
Уложил Кодар джигита  
На постель-траву степную.  
«Вот конец тебе, собака,  
Получай свою невесту!»

25

Насмеявшись, надругавшись  
Над холодным трупом вдоволь  
И его клышом<sup>3</sup> точеным  
Обезглавив в знак победы,  
В свой аул Кодар поехал,  
С головой врага на найзе<sup>4</sup>.  
Ликовал злодей дорогой,  
Что легко далась победа:  
«Вот, Баян, тебе подарок –  
Голова Козы-Корпеча!»



*Рисунок К. Клементьевой  
к 3-му изданию "Песни о  
Козы-Корпече и Баян-Слу".*

26

Громче, громче пойте, струны:  
У акына мало силы  
Описать певучим словом  
Злобу гордого Кодара.  
Что ты сделал с бедной птичкой,  
Ты, изменник, ты, убийца!  
Что с насмешкой недостойной  
Приготовил ей в подарок!  
Прочь с дороги, хитрый хищник,  
Берегись, хвастун коварный!..

27

Тише, тише плачьте струны:  
Мы к тоске Баян подходим.

307

Дайте место горю нежной –  
Сердце юное разбито.  
Бейся, бейся в муках, птичка,  
Умирай на ярком солнце,  
Только знай, что мы готовим  
Праздник мести за измену.  
Месть Кодару, месть злодею:  
Кровь джигита ждет отмщенья...

#### Примечания к тексту:

<sup>1</sup> Бейбак – бездельник, неповоротливый, ленивый человек.

<sup>2</sup> Шок-Терек – урочище на реке Аягуз.

<sup>3</sup> Клыш – сабля.

<sup>4</sup> Найза – пика.

*Текст публикуется по изданию: Сказание о Козы-Корпече и Баян-Слу. Перевод и обработка Г.Тверитина, - М. - Л.: Изд-во детской литературы, 1941.*

#### СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- РГИА - Российский государственный исторический архив. Санкт-Петербург.
- РГАЛИ - Российский государственный архив литературы и искусства. Москва.
- РНБ - Российская национальная библиотека. Санкт-Петербург.
- РГБ - Российская государственная библиотека. Москва.
- ГАТО - Государственный архив Тюменской области.
- ТФ ГАТО - Тобольский филиал государственного архива Тюменской области.
- ТГИАМЗ - Тобольский государственный историко-архитектурный музей-заповедник.
- ГАОО - Государственный архив Омской области.
- ИФ ГАТО - Ишимский филиал государственного архива Тюменской области.
- ИКМ - Ишимский краеведческий музей.

## Вместо послесловия

Книга доцента, кандидата филологических наук Татьяны Павловны Савченковой посвящена изучению наиболее ярких и значимых в литературной истории Ишима и Приишимья страниц, так или иначе связанных с русской и зарубежной литературой XIX столетия.

Скрупулезные и многолетние архивные, библиографические и текстологические разыскания автора и умение представить "добытый" материал в почти романной форме увлекательного, захватывающего бесконечной чередой "загадок" и "интриг" неспешного классического детектива сделали ее интересной для всякого рядового образованного человека и полезной для специалиста как безукоризненно строгое и содержательное литературоведческое и краеведческое исследование.

Книга отличается четко выдержанной и несомненно эффективной для такого рода работ структурой, продиктованной тремя главными направлениями поисков автора: проследить, как судьбы многих русских и зарубежных писателей, очень известных - А.И. Одоевского, П.П. Ершова, А.П. Чехова, мало или вовсе неизвестных нашим современникам - М.-С. Коттен, К. де Местра, Д.Кеннана, Н.А. Полевого, А. Янушкевича, Г. Зелинского, С. Каронина, Г. Мачтета, Г. Тверитина, оказались связаны с Ишимом; как и каким этот город запечатлелся в их сочинениях, письмах, воспоминаниях; и, наконец, обнаружить и подготовить к публикации, с комментариями и примечаниями, отдельные сочинения, ставшие раритетами, чтобы сделать их доступными сегодняшнему читателю.

Наиболее ценными представляются публикации сочинений (или фрагментов из них) с сибирской тематикой и ишимскими мотивами зарубежных писателей: "Елизавета Л., или Ссылные в Сибири" М.-С. Коттен, "Юная сибирячка" К. де Местра, "Письма из степей киргизских" А. Янушкевича (последние в переводе с польского языка Т.П. Савченковой, который сделан весьма бережно и отличается высокими литературно-художественными достоинствами). Из редких текстов русской литературы особенно радует включение в книгу малоизвестной "кантаты" А. Одоевского, посвященной цесаревичу Александру Николаевичу по

случаю его прибытия в Тобольск, а также рассказа "Чудный храм" П. Ершова и пьесы Н. Полевого "Параша Сибирячка", не вписывавшихся в идеологию советского времени и по этой причине никогда не публиковавшихся в XX веке.

В очерках, предваряющих тексты, глубокое осмысление проблематики, возникающей на основе архивных документов, во многих случаях впервые выявленных самим автором, сочетается с дотошностью исследования и тщательностью "распутывания" всей цепочки связей известных и новых фактов.

Книга получилась доброй, теплой, пронизанной большим авторским чувством любви и интереса к исследуемому материалу, к родному краю - Сибири, Ишиму и, надо полагать, с таким же чувством и интересом будет прочитана читателями. Она, вне всякого сомнения, вызовет и чисто научный интерес, так как содержит немало новых сведений и гипотез для ершововедов, пушкинистов, ученых-славистов, краеведов, культурологов и будет также полезным и оригинальным пособием для учителя-словесника в преподавании литературного краеведения в школе.

**М.Ф. Калинина,**  
профессор Ишимского государственного  
института им. П.П. Ершова.



## Содержание

|   |     |
|---|-----|
| <b>От автора</b> .....  | 3   |
| <b>Прасковья Луполова в действительности и художественном<br/>воображении</b> ..... | 5   |
| <i>М.-С. Коттен</i> Елизавета Л., или Ссылные в Сибири.<br>Часть 1-я .....          | 18  |
| <i>К. де Местр</i> Юная сибирячка .....   | 47  |
| <i>Н. Полевой</i> Параша Сибирячка .....  | 85  |
| <b>Адольф Янушкевич на поселении в Ишиме</b> .....                                  | 111 |
| Из книги «Жизнь Адольфа Янушкевича<br>и его письма из степей киргизских» .....      | 116 |
| <b>Густав Зелинский – создатель «Киргиза»</b> .....                                 | 153 |
| <i>Г. Зелинский</i> Из поэмы «Киргиз» .....   | 161 |
| <b>А.И. Одоевский. Один год в Ишиме</b> .....                                       | 173 |
| <i>А. Одоевский</i> Стихотворения .....   | 178 |
| <b>Ершovy в Безруковой и Ишиме</b> .....  | 186 |
| <b>Петр Ершов и Петровская церковь на родине поэта</b> .....                        | 193 |
| <i>П. Ершов</i> Чудный храм .....   | 209 |
| <b>Писатель-народник Г.А. Мачтет</b> .....  | 220 |
| <i>Г. Мачтет</i> Вторая правда .....  | 226 |
| Мирское дело .....  | 237 |
| <b>С. Каронин (Н.Е. Петропавловский)</b> .....                                      | 247 |
| <i>С. Каронин</i> Торговля телом и душой<br>(Сибирские нравы) .....                 | 250 |
| По Ишиму и Тоболу (фрагмент) .....  | 261 |
| <b>Джордж Кеннан – журналист и путешественник</b> .....                             | 263 |
| <i>Д. Кеннан</i> Сибирь и ссылка (фрагмент) .....                                   | 264 |
| <b>А.П. Чехов. Остановка в Ишиме</b> .....  | 272 |
| <i>А. Чехов</i> Из Сибири (фрагменты) .....   | 284 |
| <b>Георгий Тверитин – автор поэмы о Козы-Корпече<br/>и Баян-Слу</b> .....           | 293 |
| <i>Г. Тверитин</i> Сказание о Козы-Корпече и Баян-Слу<br>(фрагменты) .....          | 300 |
| <b>Список сокращений</b> .....  | 308 |
| <i>М.Ф. Калинина</i> Вместо послесловия .....                                       | 309 |

Татьяна Павловна Савченкова

### Ишим и литература Век XIX-й

Очерки по литературному  
краеведению и тексты-раритеты

Издательская лицензия ЛР № 020036 от 22.11.1996

Набрано, сверстано и отпечатано в филиале  
"Ишимская типография" ГУП ТО "ТИД":  
627750, Тюменская область, ул. Чкалова, 17.

Подписано в печать 30.12.2003 г.  
Формат 60x84 1/16. Тираж 700 экз. Гарнитура Таймс.  
Печать офсетная. Бумага офсетная.  
Заказ № 2205. Усл. печ. л. 18,14.